В. А. ГИЛЯРОВСКИЙ

МОИ СКИТАНИЯ

«ФЕДЕРАЦИЯ»

[illegible]


ИЗДАТЕЛЬСТВО ФЕДЕРАЦИИ
Ф

Вл. ГИЛЯРОВСКИЙ

МОИ СКИТАНИЯ

ПОВЕСТЬ БРОДЯЖНОЙ ЖИЗНИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ФЕДЕРАЦИЯ»
МОСКВА

„Мосполиграф“ 14-я тип.
Бородинский мост,
Варгунихина гора, 8.
Главлит № А 13071.
Тираж 4.000. Фосп. № 114.
Заказ № 1052.
1928.

ГЛАВА I

ДЕТСТВО

Ушкуйник и запорожец. Мать и бабушка. Азбука. В лесах дремучих. Вологда в 60-х годах. Политическая ссылка. Нигилисты и народники. Губернские власти. Аристократическое воспитание. Охота на медведя. Матрос Китаев. Гимназия. Цирк и театр. «Идиот». Учителя и сальтомортале.

Бесконечные дремучие, девственные леса Вологодские сливаются на севере с тундрой, берегом Ледовитого океана, на восток, через Уральский хребет, с сибирской тайгой, которой, кажется, и конца-краю нет, а на западе опять до моря тянутся леса да болота, болота да леса.

И одна главная дорога с юга на север, до Белого моря, до Архангельска — это Северная Двина. Дорога летняя. Зимняя дорога, по которой из Архангельска зимой рыбу возят, шла вдоль Двины, через села и деревни. Народ селился, конечно, ближе к пути, к рекам, а там, дальше глушь беспросветная, да болота непролазные, диким зверем населенные... Да и народ такой же дикий блудился от рождения до веку в этих лесах... Недаром говорили:

— Вологжане в трех соснах заблудились.

И отвечали на это вологжане:

— Всяк заблудится! Сосна от сосны верст со сто, а меж соснами лесок строевой.

Родился я в лесном хуторе за Кубинским озером и часть детства своего провел в дремучих домшинских лесах,

где по волокам да болотам непроходимым — медведи пешком ходят, а волки стаями волочатся.

В Домшине пробегала через леса дремучие быстрая речонка Тошня, а за ней, среди вековых лесов, болота. А за этими болотами скиты раскольничьи [1]), куда доступ был только зимой, по тайным нарубкам на деревьях, которые чужому и не приметить, а летом на шестах пробираться приходилось, да и то в знакомых местах, а то попадешь в болотное окно, сразу провалишься — и конец. А то чуть с кочки оступишься — тина засосет, не выпустит сверху человека и затянет.

На шестах пробирались. Подойдешь к болоту в сопровождении своего, знаемого человека, а он откуда-то из-под кореньев шесты трехсаженные несет.

Возьмешь два шеста, просунешь по пути следования по болоту один шест, а потом параллельно ему, на аршин расстояния — другой, станешь на четвереньки — ногами на одном месте, а руками на другом — и ползешь боком вперед, передвигаешь ноги по одному шесту и руки, иногда по локоть в воде, по другому. Дойдешь до конца шестов — на одном стоишь, а другой вперед двигаешь. И это был единственный путь в раскольничьи скиты, где уж очень хорошими пряниками горячими с сотовым медом угощала меня мать Манефа.

Разбросаны эти скиты были за болотами на высоких местах, красной сосной поросших. Когда они появились — никто и не помнил, а старики и старухи были в них здесь родившиеся и никуда больше не ходившие... В белых рубахах, в лаптях. Волосы подстрижены спереди чолкой, а на затылке круглые проплешины до кожи выстрижены — «гуменышко», называли они это остриженное место. Бороды у них косматые, никогда их ножницы не касались —

---

[1]) Люди древнего благочестия — звали они себя.

и ногти на ногах и руках черные да закорузлые, вокруг пальцев закрюченные, отроду не стриглись.

А потому, что они веровали, что рай находится на высокой горе, и после смерти надо карабкаться вверх, чтобы до него добраться — а тут ногти-то и нужны [1]).

Так все веровали, и никто не стриг ногтей.

Чистота в избах была удивительная. Освещение — лучина в светце. По вечерам женщины сидят на лавках, прядут «куделю» и поют духовные стихи. Посуда своей работы, деревянная и глиняная. Но чашка и ложка была у каждого своя, и, если кто-нибудь посторонний, не их веры, поел из чашки или попил от ковша, то она считалась поганой, «обмирщенной» и пряталась отдельно.

Я раза три был у матери Манефы — ее сын Трефилий Спиридоньевич был другом моего «дядьки», беглого матроса, старика Китаева, который и водил меня в этот скит...

— Смотаемся в поморский волок, — скажет бывало он мне, и я радовался.

Волок — другого слова у древних раскольников для леса не было. Лес — они называли бревна да доски.

Да и вообще в те времена и крестьяне так говорили. Бывало спросишь:

— Далеко ли до Ватланова?

— Волок, да волок — да Ватланово.

— Волок, да волок, да Вологда.

Это значит, надо пройти лес, потом поле и деревушку, а за ней опять лес, опять волок.

Откуда это слово — а это слово самое что ни на есть древнее. В древней Руси назывались так сухие пути, соединяющие две водные системы, где товары, а иногда и лодки переволакивали от реки до реки...

---

1) Легенды искания рая с 12-го века.

Но в Вологодской губернии тогда каждый лес звался волоком. Да и верно: взять хоть поморский этот скит, куда ни на какой телеге не проедешь, а через болота всякий груз приходилось на себе волочь или на волокушах — нечто вроде саней, без полозьев, из мелких деревьев. Нарубят, свяжут за комли, а на верхушки, которые не затонут, груз кладут. Вот это и волок.

— Не бегай в волок, волк в волоке, — говорят ребятишкам.

Вологда. Корень этого слова, думаю, волок и только волок.

Вологда существовала еще до основания Москвы — это известно по истории. Она была основана выходцами из Новгорода. А почему названа Вологда — рисуется мне так.

Было на месте настоящего города тогда поселеньице, где жили новгородцы, которое, может быть, и названия не имело. И вернулся непроходимыми лесами оттуда в Новгород какой-нибудь поселенец и рассказывает, как туда добраться.

— Волок да волок, волок да волок, а там и жилье.

И невольно остается в памяти слушающего музыка слов, и безымянное жилье стало: — Вологда.

— Волок да волок...

***

Родился я в глухих Сямских лесах Вологодской губернии, где отец после окончания курса семинарии был помощником управляющего лесным имением графа Олсуфьева, а управляющим был черноморский казак Петро Иванович Усатый, в 40-х годах променявший кубанские плавни на леса севера и одновременно фамилию Усатый на Мусатов, так, по крайней мере, адресовали ему письма из барской конторы, между тем, как на письмах с Кубани значилось

Усатому. Его отец, запорожец, после разгрома Сечи в 1775 г. Екатериной ушел на Кубань, где обзавелся семейством и где вырос Петр Иванович, участвовавший в покорении Кавказа. С Кубани сюда он прибыл с женой и малолетней дочкой к Олсуфьеву, тоже участнику кавказских войн. Отец мой, новгородец с Белоозера, через год после службы в имении, женился на шестнадцатилетней дочери его Надежде Петровне.

Наша семья жила очень дружно. Отец и дед были заядлые охотники и рыболовы, первые медвежатники на всю округу, в одиночку с рогатиной ходили на медведя. Дед чуть не саженного роста, сухой, жилистый, носил всегда свою черкесскую косматую папаху и никогда никаких шуб, кроме лисьей домоткацкого сукна чамарки и грубой свитки, которая была так широка, что ей можно было покрыть лошадь с ногами и головой.

Моя бабушка, Прасковья Борисовна, и моя мать, Надежда Петровна, сидя по вечерам за работой, причем мама вышивала, а бабушка плела кружева, пели казачьи песни, а мама иногда читала вслух Пушкина и Лермонтова. Она и сама писала стихи. У нее была сафьянная тетрадка со стихами, которую после ее кончины так и не нашли, а при жизни она ее никому не показывала и читала только, когда мы были втроем. Может быть она сожгла ее во время болезни? Я хорошо помню одно из стихотворений про звездочку, которая упала с неба и погибла на земле.

Дед мой любил слушать Пушкина и особенно Рылеева, тетрадка со стихами которого, тогда запрещенными, была у отца с семинарских времен. Отец тоже часто читал нам вслух стихи, а дед, слушая Пушкина, говаривал, что Димитрий Самозванец был, действительно, запорожский казак, и на престол его посадили запорожцы. Это он слышал от своих отца и деда и других стариков.

«Бежал в сечь запорожскую
Владеть конем и саблей научился...»

Бывало читает отец, а дед положит свою ручищу на книгу, всю ее закроет ладонью, — и скажет:

— Верно! — и начнет свой рассказ о запорожцах.

Много лет спустя, будучи на турецкой войне, среди кубанцев-пластунов, я слыхал эту интереснейшую легенду, переходившую у них из поколения в поколение, подтверждающую пребывание в Сечи Лжедимитрия: когда на коронацию Димитрия, рассказывали старики-кубанцы, прибыли наши запорожцы почетными гостями, то их расположили возле самого Красного крыльца, откуда выходил царь. Ему подвели коня, а рядом поставили скамейку, с которой царь, поддерживаемый боярами должен был садиться.

— Вышел царь. Мы глядим на него и шепчемся, — рассказывали депутаты своим детям.

— Знакомое лицо и ухватка. Где-то мы его видали...

Спустился царь с крыльца, отмахнул рукой бояр, пнул скамейку, положил руку на холку да прямо, без стремени, прыг в седло — и как врос.

И все разом:

— Це наш Грицко!

А он мигнул нам: — Помалкивай, мол. Да и поехал.

И вспомнил я тогда на войне моего деда, и вспоминаю я сейчас слова старого казака и привожу их дословно. Впоследствии этот рассказ подтвердил мне знаменитый кубанец Степан Кухаренко.

***

Учиться читать я начал лет пяти. Дед добыл откуда-то азбуку, которую я помню и сейчас до мелочей. Каждая буква была с рисунком во всю страницу и каждый рисунок изображал непременно разносчика: А (тогда написано

было «аз») — Апельсины. Стоит малый в поддевке с лотком апельсинов на голове. Буки — торговец блинами, Веди — ветчина, мужик с окороком и т. д. На некоторых страницах три буквы на одной. Например: У, Ферт и Хер — изображен торговец в шляпе гречневиком с корзиной и подпись: «У меня Французские Хлебы». Далее следуют страницы складов: Буки—Аз — ба, Веди-Аз — ва, Глаголь-Аз— га. А еще далее нравоучительное изречение вроде следующего:

«Перед особами высшего нас состояния должно показывать, что чувствуешь к ним почтение, а с низшими надо обходиться особенно кротко и дружелюбно, ибо ничто так не отвращает от нас других, как грубое обхождение».

В конце книги молитвы, заповеди и краткая священная история с картинами. Особенно эффектен дьявол с рогами, копытами и козлиной бородой, летящий вверх тормашками с горы в преисподнюю.

Вскоре купил мне дед на сельской ярмарке другую азбуку, которая была еще интереснее. У первой буквы А изображен мужик, ведущий на веревке козу и подпись:

— Аз. Антон козу ведет.

Дальше под буквой Д изображено дерево, в ствол которого вставлен жолоб и по жолобу течет струей в бочку жидкость. Подписано:

— Добро. Деревянное масло.

Под буквой С — пальмовый лес, луна, показывающая, что дело происходит ночью, и на переднем плане спит стоя, прислоняясь к дереву, огромный слон, с хоботом и клыками, как и быть должно слону, а внизу два голых негра ручной пилой подпиливают пальму у корня, а за ними десяток негров с веревками и крючьями. Под картиной об'яснение: «Слово. Слон, величайшее из животных, но столь неуклюжее, что не может ложиться и спит стоя, прислонясь к де-

реву, отчего и называется слон. Этим пользуются дикие люди, которые подпиливают дерево, слон падает и не может встать, тут дикари связывают его веревками и берут.

Дальше в этой книге, обильной картинками, также священная история:

На горе Арарат стоит ковчег в виде огромной барки, из которой Ной выгоняет длинной палкой всевозможных животных от верблюда до обезьяны.

Помнится еще картина: облака, а по ним на паре рысаков в развевающихся одеждах мчится, стоя на колеснице, Илья пророк... Далее берег моря, на половину из воды высунулся кит, а из его пасти весело вылезает пророк Иона.

Хорошо помню, что одна из этих азбук была напечатана в Москве, имела синюю обложку, а вторая — красную с изображением восходящего солнца.

Потом меня стала учить читать мать по хрестоматии Галахова, заучивать стихотворения и писать с прописи тоже нравоучительного содержания.

Других азбук тогда не было, и надо полагать, что Лев Толстой, Тургенев и Чернышевский учились тоже по этим азбукам.

* * *

Отец вскоре получил место чиновника в Губернском правлении, пришлось переезжать в Вологду, а бабушка и дед не захотели жить в лесу одни и тоже переехали с нами. У деда были скоплены небольшие средства. Это было за год до об'явления воли во времена крепостного права. Крестьяне устроили нам трогательные проводы, потому что дед и отец пользовались особенной любовью. За все время управления дедом глухим лесным имением, где даже барского дома не было, никто не был телесно наказан, никто не был обижен, хотя кругом свистали розги, и управляю-

щими, особенно из немцев, без очереди сдавались люди в солдаты, а то и в Сибирь ссылались. Здесь в нашу глушь не показывались даже местные власти, а сами помещики ограничивались получением оброка да с'естных припасов и дичи к Рождеству, а сами и в глаза не видали своего имения, в котором дед был полным властелином, и воспитанный волей казачьей, не признавал крепостного права: жили по-казачьи, запросто и без чинов.

В Вологде мы жили на Калашной улице в доме купца Крылова, которого звали Василием Ивановичем. И это я помню только потому, что он бывал именинник под новый год, и в первый раз рождественскую елку я увидел у него. На лето мы уезжали с матерью и дедом в имение «Светелки», принадлежащее Наталии Александровне Назимовой.

Она была, как все говорили в Вологде, нигилистка, ходила стриженая и дружила с нигилистами. «Светелки» — крохотное именьице в домшинских непроходимых лесах, тянущихся чуть ли не до Белого моря, стояло на берегу лесной речки Тошни, за которой ютились раскольничьи скиты, куда добраться можно только было по затесам, меткам на деревьях.

Назимова, дочь генерала, была родственница исправника Беляева и родственница Разнатовских, родовитых дворян, отец которых был когда-то другом и сослуживцем Сперанского и занимал важное место в Петербурге. Он за несколько лет до моего рождения умер, а семья переселилась в Вологду, где у них было имение. Несмотря на родственные связи, все-таки Назимовой пришлось эмигрировать в Швейцарию вместе с доктором Коробовым, жившим в Вологде под строжайшим надзором властей. С тех пор ни она, ни Коробов в Вологде не бывали. В это время умерла моя

бабка, а вскоре затем, когда мне минуло восемь лет, и моя мать, после сильной простуды.

Мы продолжали жить в той же квартире с дедом и отцом, а на лето опять уезжали в «Светелки», где я и дед пропадали на охоте, где дичи всякой было невероятное количество, а подальше, к скитам, медведи, как говорил дед, пешком ходили. В «Светелках» у нас жил тогда и беглый матрос Китаев, мой воспитатель, знаменитый охотник, друг отца и деда с давних времен.

Еще при жизни матери отец подарил мне настоящее небольшое ружье мелкого калибра заграничной фабрики с золотой насечкой, дальнобойное и верное. Отец получил ружье для меня от Н. Д. Неелова, старика, постоянно жившего в Вологде в своем большом барском доме, наискось от нашей квартиры. Я бывал у него с отцом и хорошо помню его кабинет в антресолях с библиотечными шкафами красного дерева, наполненными иностранными книгами, о которых я после уже узнал, что все они были масонские, и что сам Неелов, долго живший за границей, был масон. Он умер в конце 60-х годов столетним стариком, ни у кого не бывал и никого кроме моего отца и помещика Межакова, своего друга, охотника и собачника, не принимал у себя, и все время читал старые книги, сидя в своем кресле в кабинете.

На охоту в «Светелки» приезжал и родственник Назимовой, Николай Разнатовский, отставной гусар, удалец и страстный охотник. Он меня обучал верховой езде и возил в имение своей жены, помнится, «Несвойское», где были прекрасные конюшни и много собак. Его жена, Наталья Васильевна, урожденная Буланина, тоже любила охоту и была наездницей. Носились мы как безумные по полям, да лугам — плетень не плетень, ров не ров — вдвоем с тетенькой, лихо сидевшей на казачьем седле — дамских седел не призна-

вала,—она на своем арабе Неджеде, а я на дядином стиплере Огоньке. Николай Ильич еще приезжал в город на день или на два, а Наталья Васильевна никогда: уже слишком большое внимание всего города привлекала она. Красавица в полном смысле этого слова, стройная с энергичными движениями и глубокими карими глазами, иногда сверкавшими блеском изумруда. На левой щеке, пониже глаза на матово-бронзовой коже темнело правильно очерченное в виде мышки, небольшое пятнышко, покрытое серенькой шерсткой.

Но главной причиной городских разговоров было ее правое ухо, раздвоенное в верхней части, будто кусочек его аккуратно вырезан.

Историю этого уха знала вся Вологда и знал Петербург.

Николай Ильич Разнатовский поссорился с женой при гостях, в числе которых была тетка моей мачехи, только кончившая институт и собиравшаяся уезжать из Петербурга в Вологду.

Она так рассказывала об этом.

...После обеда мы пили кофе в кабинете. Коля вспылил на Натали, вскочил из-за стола, выхватил пистолет и показал жене:

— Стреляй! Ну, стреляй! — поднялась со стула Натали, сверкая глазами и застыла в выжидательной позе.

Грянул выстрел. Звякнула разбитая ваза, мы замерли от страшной неожиданности. Кто-то в испуге крикнул «доктора», входящий лакей что-то уронил и выбежал из двери...

— Не надо доктора! Я только ухо поцарапал и Коля бросился к жене, подавая ей со стола салфетку.

А она, весело улыбаясь, зажала окровавленное ухо салфеткой, а другой рукой обняла мужа и сказала:

— Я, милый Коля, больше не буду! — и супруги расцеловались. Что значило это «не буду», так до сих пор никто и не знает. Дело разбиралось в Петербургском окружном суде, пускали по билетам. Натали показала, что она, веря в искусство мужа, сама предложила стрелять в нее и Коля заявил, что стрелял наверняка, именно желая отстрелить кончик уха.

Защитник потребовал, чтобы суд проверил искусство подсудимого и, действительно, бы сделан перерыв, назначена экспертиза и Коля на расстоянии десяти шагов всадил четыре пули в четырех тузов, которые держать в руках вызвалась Натали, но ее предложение было отклонено. Такая легенда ходила в городе.

***

Суд оправдал дядю, он вышел в отставку, супруги поселились в Вологодском имении, вот тогда-то я у них и бывал.

Когда отец мой женился на Марье Ильиничне Разнатовской, жизнь моя перевернулась. Умер мой дед и по летам я жил в Деревеньке, небольшой усадьбе моей новой бабушки Марфы Яковлевны Разнатовской, добродушнейшей полной старушки, совсем непохожей на важную помещицу барыню. Она любила хорошо поесть, и целое лето проводила со своими дворовыми, еще так недавно бывшими крепостными, варила варенья, соленья и разные вкусные заготовки на зиму. Воза банок отправлялись в Вологду. Бывшие крепостные не желали оставлять старую барыню и всех их ей пришлось одевать и кормить до самой смерти. Туда же после смерти моего деда поселился и Китаев. Это был мой дядька, развивавший меня физически. Он учил меня лазить по деревьям, обучал плаванию, гимнастике, и тем стремительным приемам, которыми я побеждал не только сверстников, а и великовозрастных.

— Храни тайно. Никому не показывай приемов, а то они силу потеряют, — наставлял меня Китаев, и я слушал его.

Но о нем будет речь особо.

**
*

Итак, со смертью моей матери перевернулась моя жизнь. Моя мачеха, добрая, воспитанная и ласковая, полюбила меня действительно как сына и занялась моим воспитанием, отучая меня от дикости первобытных привычек. С первых же дней посадила меня за французский учебник, кормя в это время конфетами. Я скоро осилил эту премудрость и, подготовленный, поступил в первый класс гимназии, но «светские» манеры после моего гувернера Китаева долго мне не давались, хотя я уже говорил по-французски. Особенно это почувствовалось в то время, когда отец с матерью уехали года на два в город Никольск на новую службу по судебному ведомству, а я переселился в семью Разнатовских. Вот тут-то мне досталось от двух сестер матери, институток: и сел не так, и встал не так, и ешь, как мужик! Допекали меня милые тетеньки. Как-то летом, у бабушки в усадьбе, младшая Разнатовская, Катя, которую все звали красавицей, оставила меня без последнего блюда. Обедаем. Сама бабушка Марфа Яковлевна, две тетеньки, я и призреваемая дама, важная и деревянная, Матильда Ивановна, сидевшая справа от меня, а слева красавица Катя. По обыкновению та и другая то и дело пияли меня: не ешь с ножа, и не ломай хлеб на скатерть, и ложку не держи, как мужик... За столом прислуживал бывший крепостной, одновременно и повар, и столовый лакей, плешивый Афраф. Какое это имя и было ли у него другое — я не знаю. В кухне его звали Афрафий Петрович. Афраф, стройный, с седыми баками, в коломенковой ливрее, чистый и выло-

щенный, никогда ни слова не говорил за столом, а только мастерски подавал кушанья и убирал из-под носу тарелки иногда с недоеденным вкусным куском, так что я при приближении бесшумного Афрафа оглядывался и запихивал в рот огромный последний кусок, что вызывало шипение тетенек и сравнение меня то с собакой, то с крокодилом. Бабушка была глуховата, не слышала их замечания, а когда слышала, заступалась за меня, и увещевала по-французски тетенек.

Вот с'ели суп. Подали отбивные телячьи котлеты с зеленым горошком... Поставили огромное блюдо душистой малины, мелкий сахар в вазах и два хрустальных кувшина с взбитыми сливками, — мое самое любимое лакомство. Я старался около котлеты, отрезая от кости кусочки мяса, так как глодать кость за столом не полагалось. Я не заметил, как бесшумный Афраф стал убирать тарелки, и его рука в нитяной перчатке уже потянулась за моей, а горошек я еще не трогал, оставив его, как лакомство, и когда рука Афрафа простерлась над тарелкой, я ухватил десертную ложку, приготовленную для малины, помог пальцами захватить в нее горошек и благополучно отправил его в рот, уронив два стручка на скатерть. Ловко убрав упавший стручек, Афраф поставил передо мной глубокую расписанную тарелку для малины, а тетенька ему:

— Афраф, переверните тарелку Владимиру Алексеевичу, он оставлен без сладкого блюда,—и рука Афрафа перевернула вверх дном тарелку, а ложку, только что положенную мной на скатерть, он убрал.

Я замер на минуту, затем вскочил со стула, перевернулся задом к столу и с размаху хлюпнул на перевернутую тарелку, которая разлетелась вдребезги, и под вопли и крики тетенек выскочил через балкон в сад и убежал в малинник, где досыта наелся душистой малины под крики

звавших меня тетенек... Я вернулся поздно ночью, а на утро надо мной тетеньки затеяли экзекуцию и присутствовали при порке, которую совершали надо мной, надо сказать, очень нежно, старый Афраф и мой друг — кучер Ванька Брязгин.

Защитником моим был Николай Разнатовский, иногда наезжавший из имения, да живший вместе с нами его брат, Семен Ильич, служивший на телеграфе, простой, милый человек, а во время каникул, третий брат, Саша Разнатовский, студент петербургского университета, тот прямо подружился со мной, гимназистом 2-го класса.

С гимназией иногда у меня бывали нелады: все хорошо, да математика давалась плохо, и из-за нее приходилось оставаться на второй год в классах. Еще со второго класса я увлекся цирком и за две зимы стал недурным акробатом и наездником. Конечно, и это отозвалось на занятиях, но уследить за мной было некому. Во время приезда Саши Разнатовского, он репетировал меня, но в конце концов исчез бесследно. Было известно, что он тоже замешан в политику и в один прекрасный день он уехал в Петербург и провалился как сквозь землю — никакие розыски не помогли. В семье Разнатовских, по крайней мере при мне, с тех пор не упоминали имени Саши, а ссыльный Николай Михайлович Васильев, мой репетитор, говорил, что Саша бежал за границу и переменил имя. И до сих пор я не знаю, куда девался Саша Разнатовский.

***

В это время Вологда была полна политическими ссыльными. Здесь были и по делу Чернышевского, и «Молодой России», и нигилисты, и народники. Всех их звали обыватели одним словом «нигилисты». Были здесь тогда П. Л. Лавров и Н. В. Шелгунов, первого, впрочем, скоро выслали

из Вологды в уездный городишко Грязовец, откуда ему при помощи богатого помещика Н. А. Кудрявого был устроен благополучный побег в Швейцарию. Дом Кудрявого был как раз против окон гимназии и во флигеле этого дома жили ссыльные, которым очень благоволила семья Кудрявых, а жена Кудрявого, Мария Федоровна, покровительствовала им открыто, и на ее вечерах, среди губернской знати, обязательно присутствовали важнейшие из ссыльных.

Вообще, тогда отношение к политическим во всех слоях общества было самое дружественное, а ссыльным полякам, которых, после польского восстания 1863 года, было наслано много, покровительствовал сам губернатор, заядлый поляк Станислав Фомич Хоминский. Ради них ему приходилось волей-неволей покровительствовать и русским политическим.

Ходили нигилисты в пледах, очках обязательно, и широкополых шляпах, а народники — в красных рубахах, поддевках, смазных сапогах, также носили очки синие или дымчатые, и тоже длинные, по плечам, волосы. И те и другие были обязательно вооружены самодельными дубинами — лучшими считались можжевеловые, которые добывали в дремучих Домшинских лесах.

Нигилистки коротко стриглись, носили такие же очки, красные рубахи-косоворотки, короткие черные юбки и черные, маленькие шляпки, вроде кучерских.

М. Ф. Кудрявая, по инициативе и при участии ссыльных, в своем подгородном имении завела большую молочную ферму, где ссыльные жили и работали. Выписаны были коровы-холмогорки, дело поставлено было широко и в продаже впервые в городе появилось сливочное и сметанное масло в фунтовых формах с надписью «Кудрявая». Вскоре это масло стало поступать в большом количестве в Москву, в Ярославль и другие города. Для Вологды цена за

фунт 25 копеек казалась дорогой — и масло это подавать на стол считалось особым шиком. Эта ферма была родоначальницей знаменитого и доныне вологодского масляного производства. Всякий ссыльный считал своим долгом первый визит сделать Кудрявой и нередко поселялся на ее ферме. Впоследствии, в 1882 году, приехав в Вологду, я застал во флигеле Кудрявой живших там Германа Лопатина и Евтихия Карпова, драматурга, находившихся здесь в ссылке.

Исправником в Вологде был А. И. Саблин. Его дети были Михаил (впоследствии сотрудник «Русских Ведомостей»), юрист Александр и Николай, застрелившийся в Тележной улице в Петербурге после «1-го марта» в момент ареста. В то время все трое были студентами, числились неблагонадежными, и отец, бывший под влиянием сыновей, мирволил политическим. Помощником исправника был П. В. Беляев, женатый на Анне Михайловне Васильевой, два брата которой, Николай и Александр, высланные в Вологду, ярые народники, с дубинами и в красных рубахах, и были, сперва один, а потом другой, моими репетиторами. Они жили у сестры, которая собирала у себя ссыльную молодежь и даже остриглась и надела синие очки — но проносила только один день — муж попросил снять.

— Сними, а то надо мной и так уже смеются!

При такой сочувствующей власти ссыльные не стеснялись.

Была еще крупная власть, — это полицмейстер, полковник А. Д. Суворов, бывший кавалерист, прогусаривший свое имение и попавший на эту должность по протекции. Страстный псовый охотник, не признававший ничего кроме охоты, лошадей, театра и товарищеских пирушек, непременно с жженкой и пуншем. Он носился на шикарной паре с отлетом по городу, кнутиком подхлестывал пристяжную,

сам не зная куда и зачем — только не в полицейское управление.

Как-то февральской вьюжной ночью, при переезде через реку Вологду, в его сани вскочил волк (они стаями бегали по реке и по окраинам). Лихой охотник, он принял ловкой хваткой волка за уши, навалился на него, приехал с ним на двор театра, где сострунил его, поручил полицейским караулить и как ни в чем не бывало, звякнул шпорами в зрительном зале и занял свое обычное кресло в первом ряду. Попал он к четвертому акту Гамлета. В последнем антракте публика, узнав о волке, надела шубы, устремилась на двор смотреть на это диво и уж в театр не возвращалась — последний акт смотрел только один Суворов в пустом театре.

Ну, какое дело Суворову до ссыльных? Если же таковые встречались у собутыльников за столом — среди гостей — то при встречах он раскланивался с ними как со знакомыми.

Больше половины вологжан-студентов были высланы за политику из столиц и жили у своих родных — и весь город был настроен революционно.

***

Около того же времени исчез сын богатого вологодского помещика, Левашов, большой друг Саши, часто бывавший у нас. Про него потом говорили, что он ушел в народ, даже кто-то видел его на Волге в армяке и в лаптях, ехавшего вниз на пароходе среди рабочих. Мне Левашов очень памятен — от него первого я услыхал новое о Стеньке Разине, о котором до той поры я знал, что он был разбойник и его за это проклинают анафемой в церквах великим постом. В гимназии о нем учили тоже не больше этого.

Я как-то зашел в комнату Саши — он жил совершенно отдельно на антресолях. Там сидели Саша, Н. А. Назимова, Левашов, оба неразлучные братья Васильевы и наш гимназист седьмого класса, тоже народник, Кичин, пили домашнюю поляничную наливку и шумно разговаривали. Пришел и я. Дали мне рюмку наливки и Наталья Александровна усадила меня рядом с собой на диван.

Меня вообще в разговорах не стеснялись. Саша и мой репетитор Николай Васильев раз навсегда предупредили меня, чтобы я молчал о том, что слышу и что все это мне для будущего надо знать. Конечно, я тоже гордо чувствовал себя заговорщиком, хотя мало что понимал. Я как раз пришел к разговору о Стеньке. Левашов говорил о нем с таким увлечением, что я сидел, раскрыв рот. Помню:

— Анафеме предали! Не анафеме, а памятник ему поставить надо! И дождемся, будет памятник! И не один еще Стенька Разин, будет их много, в каждой деревне свой Стенька Разин найдется, в каждой казачьей станице сыщется,—а на Волге сколько их! Только надо, чтобы их еще больше было, надо потом слить их — да и ахнуть! Вот только тогда-то все ненужное к чорту полетит!

Это был последний раз, когда я видел Сашу и Левашова.

Этот день крепко засел у меня в голове, и потом все чаще и чаще просвещал меня Васильев, но я все-таки мало понимал. Меня тянуло больше к охоте. Читал я тоже мало, и если увлекался, то более всего Майн-Ридом и Купером. Газет тоже никогда не читал, у нас получался «Сын Отечества», а я и в руки его не брал. Увидел раз в столе у отца «Колокол», и зная, что он запрещенный, начал читать, нашел скучным, непонятным, и бережно положил обратно. Слушал я умного много, но понимал все по-своему, и даже скучал, слушая непонятные разговоры.

Кружок ссыльных, в августе месяце, когда наши жили в деревне, собирался в нашем глухом саду при квартире. Я в августе жил в городе, так как начинались занятия. Весело проводили в этом саду время, пили пиво, песни пели, особенно про Стеньку Разина я любил; потом играли в городки на дворе, боролись, возились. Здесь я чувствовал себя в своей компании, отличался цирковыми акробатическими штуками, а в борьбе легко побеждал бородатых народников, конечно, пользуясь приемами, о которых они не имели понятия.

Мне было пятнадцать лет, выглядел я по сложению много старше. И вот как-то раз, ловким обычным приемом, я перебросил через голову боровшегося со мной толстяка Обнорского, и он, вставая, указал на меня:

— Вот он, живой Никитушка Ломов!

— Ушкуйник! — сказал Васильев.

А ушкуйником меня прозвали в гимназии по случаю того, что я в прошлом году убил медведя.

Вышло это так: осенью мне удалось убить из-под гончих на охоте у Разнатовского матерого волка.

Ясно, что после волка захотелось и медведя убить. Я к нему, прошу его: — Дядя Коля, возьми меня на медведя!

— Да ты с ума сошел? А что наши-то скажут?

Дядя по своему обыкновению выругался, прошелся раза два по комнате и сказал:

— Ладно. Про медведя молчи, а я скажу им, что мы в субботу на лосей едем, а у меня в Домшине берлоги обложены.

***

Мы долго ехали на прекрасной тройке во время вьюги, потом в какой-то деревнюшке, не помню уж названия, оставили тройку, и мужик на розвальнях еще верст двенад-

цать по глухому бору тащил нас до лесной сторожки, где мы и выспались, а утром, позавтракав, пошли. Дядя мне дал свой штуцер, из которого я стрелял не раз в цель.

Долго, помню, шли мы на лыжах по старому лыжному следу. Наконец, остановились у целой горы бурелома. Место кругом было заранее вытоптано, так что можно ходить без лыж. Меня поставили близ толстой сосны, как раз шагах в восьми от вывороченного и занесенного снегом корня дерева. Под ним-то и была берлога. Дядя стал правее, левее помещик-охотник Ираклион Корчагин, а сзади меня, должно быть, для моей безопасности, Китаев с рогатиной в руках и ножом за поясом. Когда все было готово, лесник влез на кучу бурелома и начал тыкать длинным шестом под коренья вывороченной вековой ели. Сначала щелкнули взводы курков... Потом дядя, улыбаясь, сказал мне:

— Смотри, целься в лопатку, не промахнись, — это твой медведь, целься, не горячись.

— Не зевай, — мигнул мне Корчагин.

Вдруг под снегом раздалось рычанье, а потом рев... Лесник, упершись шестом в снег, прямо с дерева перепрыгнул к нам на утоптанное место. В тот же момент из-под снега выросла почти до половины громадная фигура медведя. Я, не отдавая себе отчета, прицелился и спустил оба курка.

Гром выстрела и страшный рев... Я стоял, облокотясь об сосну, ни жив ни мертв и сразу ничего не видал сквозь дым.

— Браво, молодец! Наповал! — послышался голос дяди, а из берлоги рявкнул Китаев: — Есть!

Когда он успел туда прыгнуть, я и не видал. А медведя не было, только виднелась громадная яма в снегу, из которой шел легкий пар, и показалась спина и голова Китаева. Разбросали снег, Китаев и лесник вытащили громадного зверя, в нем было, как сразу определил Китаев, и ока-

залось верно, — шестнадцать пудов. Обе пули попали в сердце. Меня поздравляли, целовали, дивились на меня мужики, а я все еще не верил, что именно я, один я, убил медведя!

Но за то ни один триумфатор не испытывал того, что ощущал я, когда ехал городом, сидя на санях вдвоем с громадным зверем и Китаевым на козлах. Около гимназии меня окружили товарищи, расспросам конца не было, и потом как я гордился, когда на меня указывали и говорили: «Медведя убил!» А учитель истории Н. Я. Соболев на другой день войдя в класс, сказал, обращаясь ко мне:

— Здравствуй, ушкуйник! Поздравляю!

Так и пошло — ушкуйник. Да только не надолго!

Ушкуйник-то ушкуйником, а вот кто такой Никитушка Ломов, — заинтересовало меня. Когда я спросил об этом Николая Васильевича, то он сказал мне: — погоди, узнаешь! И через несколько дней принес мне запрещенную тогда книгу Чернышевского «Что делать?»

Я зачитался этим романом. Неведомый Никитушка Ломов, Рахметов, который пошел в бурлаки и спал на гвоздях, чтобы закалить себя, стал моей мечтой, моим вторым героем. Первым же героем все-таки был матрос Китаев.



Матрос Китаев. Впрочем, это было только его деревенское прозвище, данное ему по причине того, что он долго жил в бегах в Японии и в Китае. Это был квадратный человек, как в ширину, так и вверх, с длинными, огромными обезьяньими ручищами и сутулый. Ему было лет шестьдесят, но десяток мужиков с ним не мог сладить: он их брал, как котят и отбрасывал от себя далеко, ругаясь неистово не то по-японски, не то по-китайски, что, впрочем, очень смахивало на некоторые и русские слова.

Я смотрел на Китаева, как на сказочного богатыря, и он меня очень любил, обучал гимнастике, плаванию, лазанью по деревьям и некоторым невиданным тогда приемам, происхождение которых я постиг десятки лет спустя, узнав тайны джиу-джитсу. Я, начитавшись Купера и Майн-Рида, был в восторге от Китаева, перед которым все американские герои казались мне маленькими. И, действительно, они били медведей пулей, а Китаев резал их один на один ножом. Намотав на левую руку овчинный полушубок, он выманивал, растревожив палкой, медведя из берлоги, и когда тот, вылезая, вставал на задние лапы, отчаянный охотник совал ему в пасть с левой руки шубу, а ножом в правой руке наносил смертельный удар в сердце или в живот.

Мы были неразлучны. Он показывал приемы борьбы, бокса, клал на ладонь, один на другой, два камня и ударом ребра ладони разбивал их или жонглировал бревнами, приготовленными для стройки сарая. По вечерам рассказывал мне о своих странствиях вокруг света, о жизни в бегах в Японии и на необитаемом острове. Не врал старик никогда. И к чему ему врать, если его жизнь была так разнообразна и интересна. Многое, конечно, из его рассказов, так напоминавших Робинзона, я позабыл. Бытовые подробности японской жизни меня, тогда искавшего только сказочного героизма, не интересовали, а вот историю его корабельной жизни и побега я и теперь помню до мелочей, тем более, что через много лет я встретил человека, который играл большую роль в судьбе Китаева во время самого разгара его отчаянной жизни.

Надо теперь пояснить, что Китаев был совсем не Китаев, а Василий Югов, крепостной, барской волей сданный не в очередь в солдаты и записанный под фамилией Югов в честь реки Юг, на которой он родился. Тогда вологжан

особенно охотно брали в матросы. Васька Югов скоро стал известен, как первый силач и отчаянная голова во всем флоте. При спуске на берег в заграничных гаванях, Васька в одиночку разбивал таверны и уродовал в драках матросов иностранных кораблей, всегда счастливо успевая спасаться и являться иногда вплавь на свой корабль, часто стоявший в нескольких верстах от берега на рейде. Ему всыпали сотни линьков, гоняли сквозь строй, а при первом отпуске на берег повторялась та же история с эпилогом из линьков — и все как с гуся вода.

Так рассказывал Китаев:

— Бились со мной, бились на всех кораблях и присудили меня послать к Фофану на усмирение. Одного имени Фофана все, и офицеры и матросы, боялись. Он и вокруг света сколько раз хаживал и в Ледовитом океане за китом плавал. Такого зверя, как Фофан, отродясь на свете не бывало: драл собственноручно, меньше семи зубов с маху не вышибал, да еще райские сады на своем корабле устраивал.

Китаев улыбался своим беззубым ртом. Зубов у него не было: половину в рекрутстве выбили, да в драках по разным гаваням, а остатки Фофан доколотил. Однако отсутствие зубов не мешало Китаеву есть не только хлеб и мясо, но и орехи щелкать: челюсти у него давно закостенели и вполне заменяли зубы.

— А райские сады Фофан так устраивал: возьмет да и развесит провинившихся матросов в веревочных мешках по реям... Висим и болтаемся... Это первое наказание у него было. Я болтался-болтался как мышь на нитке... Ну, привык, ничего — заместо качели, только скрюченный сидишь, неудобно малость.

И он, скорчившись, показал ту позу, в какой в мешках сиживал.

— Фофан был рыжий, так, моего роста и такой же широкий, здоровущий и красный из лица, как медная кастрюля, вроде индейца. Пригнали меня к нему как раз накануне отхода из Кронштадта в Камчатку. Судно, как стеклышко, огнем горит — надраили. Привели меня к Фофану, а он уже знает.

— Васька Югов? — спрашивает.

— Есть! — отвечаю.

— Крузенштерн, — а я у Крузенштерна на последнем судне был, — не справился с тобой, так я справлюсь.

— И мигнул боцману. Ну, сразу за здраю-желаю полсотни горячих всыпали. Дело привычное, я и глазом не моргнул, отмолчался. Понравилось Фофану. Встаю, обеими руками согнувшись, подтягиваю штаны, а он мне: — Молодец, Югов.

— Бросил я штаны, вытянулся по швам и отвечаю: есть! А штаны-то и упали. Еще больше это понравилось Фофану, что штаны позабыл для ради дисциплины.

— На сальник! — командует мне Фофан.

— А потом и давай меня по вантам, как кошку, гонять. Ну, дело знакомое, везде первым марсовым был, понравился... С час гонял — а мне что! Похвалил меня Фофан и гаркнул:

— Будешь безобразничать — до кости шкуру спущу!

— И спускал. Вот, то-есть как, за всякие пустяки дерма-драл, да в мешках на реи подвешивал. Прямо зверь был. Убить его не раз матросы собирались, да боялись подступиться.

— Фофан меня лупил за всякую малость. Уж просто человек такой был, что не мог не зверствовать. И вышло от этого его характера вот какое дело: у берегов Японии, у островов каких-то, Фофан приказал выпороть за что-то молодого матроса, а он болен был, с мачты упал и кровью харкал. Я и встуипсь за него, говорю, стало-быть, Фофану,

что, лучше меня, мол, порите, а не его, он не вынесет... И взбеленился зверяга...

— Бунт? Под арест его. К расстрелу! Орет — и пена от злобы у рта.

— Бросили меня в люк, а я и уснул. Расстреляют-то завтра, а я пока высплюсь.

Вдруг меня кто-то будит:

— Дядя Василий, тебя завтра расстреляют, беги,—земля видна, доплывешь.

— Гляжу, а это тот самый матрос, которого наказать хотели... Оказывается, все-таки Фофан простил его по болезни... Поцеловал я его, вышел на палубу, ночь темная, волны гудят, свищут, море злое, да все-таки лучше расстрела... Нырнул на счастье, да и очутился на необитаемом острове... Потом ушел в Японию с ихними рыбаками, а через два года на «Палладу» попал, потом в Китай и в Россию вернулся.

***

Директором гимназии был И. И. Красов. В первый раз я его увидел в классе так:

— Иван Иванович... Иван Иванович... — зашептал класс и смолк. Я еще не знал, кто такой Иван Иванович, но слышал тяжелые, слоновьи шаги по коридору, и при каждом шаге вздрагивала стеклянная дверь нашего класса. Шаги смолкли, и в открытой двери появился сначала синий громадный шар с блестящими пуговицами, затем белая-белая коротенькая ручка и, наконец, синий шар сделал какое-то смешное движение, пролез в дверь и, вместе с ним, появилась добродушная физиономия с длинным утиным носом и едва заметными сонными глазками. Из-под шара и руки, оперевшейся на косяк, показалась не то тарелка киселя, не то громадное голое колено и выскочила маленькая стар-

ческая бритая фигура инспектора Игнатьева с седой бахромой под большими ушами. И ринулся маленький, семеня ножками, к доске, и вытащил из-за нее спрятавшегося Клишина.

— Уж тут себе... Уж тут себе... На колени, мерзавец!..

— Иван Иванович, простите... Иван Львович... — то в одну, то в другую сторону оборачивался с колен лунообразный купеческий сынок Клишин.

— Иван Иванович... У меня штаны новые, — отец драться будет.

— Потому что... да, да, да... — тоненьким тенорком раскатился Иван Иваныч и, повернувшись, стал вправлять свой живот в дверь, избоченился и скрылся.

— Уж тут себе... Уж тут себе... Вставай, скотина... Не тебя жалею, лупетка толстая, штанов твоих родительских... И засеменил за директором.

— Го-го-го... го-го-го... — раскатился басом зырянин Забоев. Четырехугольная фигура, четырехугольное лицо, четырехугольные лоб и нос. В первом классе он сидел 6 лет. Приезжал из сольвычегодского уезда по зимам, за тысячу верст, на оленях, его отец-зырянин, совершенный дикарь, останавливался за заставой на всполье, в сорокаградусные морозы, и сын ходил к нему ночевать и есть сырое мороженое оленье мясо. В этом же году его выгнали за скандал: он пьяный, ночью, побросал с соборного моста в реку патруль из четырех солдат, вместе с ружьями. А Клишин вышел из гимназии перед Рождеством и той же зимой женился. Таких великовозрастных было много в первом классе. Конечно, все они были поротые. Хотя телесное наказание было уже запрещено в гимназиях, но у нас сторожа Онисим и Андрей каждое воскресенье устраивали «парти плезиры» на всполье, в тундру, специально для заготовления розог, которые и хранили в погребе.

— Чтобы свежие были!

Употреблять их приходилось все-таки редко, но традиции велись. Оба сторожа, николаевские солдаты, никогда не могли себе представить, что можно ребят не пороть.

— Ум выгонять надо оттуда, чтобы он в голову шел,— совершенно безапелляционно заявлял Онисим и сокрушался, что «мало порют ныне».

Мой отец тоже признавал этот способ воспитания, хотя мы с ним были вместе с тем большими друзьями, ходили на охоту, и по несколько дней, товарищами, проводили в лесах и болотах. В 12 лет я отлично стрелял и дробью и пулей, ездил верхом и был неутомим на лыжах. Но все-таки я был такой безобразник, что будь у меня такой сын теперь, в XX веке — я, несмотря ни на что, обязательно порол бы его.

Когда отец женился во второй раз, муштровала меня аристократическая родня мачехи, ее сестры, да какая-то баронесса Матильда Ивановна, с коричневым старым псом «Жужу»!.. В первый раз меня выпороли за то, что я, купив сусального золота, вызолотил и высеребрил «Жужу» такие места, которые у собак совершенно не принято золотить и серебрить.



Сидели все на балконе и пили кофе. Были гости. Матильда Ивановна, сухая, чопорная, в шелковой косынке, что-то вязала. Вдруг вбегает «Жужу», на минутку садится, взвизгивает, вертится, поднимает ногу и тщетно старается слизнуть золото, а оно так и горит. Что тут было! Меня «тетеньки» поймали в саду, привели дворню и выпороли в беседке. Одна из тетенек, дева не первой свежести, собственноручно нарвала крапивы и велела ввязать ее в розги. Потом я ей за это жестоко отомстил. Стал

к нам ездить офицер, за которого она вышла потом замуж. По вечерам они уходили в старую беседку, в ту самую, где меня пороли, и мирно беседовали вдвоем. Я проломал гнилую крышу у беседки утром, а вечером, когда они сидели на диване и об'яснялись в любви, я влез на соседний высокий забор и в эту дыру на крыше, прямо на голову влюбленных, высыпал целую корзину наловленных в пруде крупных жирных лягушек, штук сто! Визг тети и оранье испуганного храброго вояки-жениха, гордившегося медалью за усмирение Польши, я услышал уже из конца чужого сада. Мне за это ничего не было. Жених и невеста молчали об этом факте, и много лет спустя, я, будучи уже самостоятельным, сознался тете, с которой подружился. Оказывается, что лягушки-то и устроили ее будущую счастливую семейную жизнь. Это был лягушечий период. Справа от нашего дома жил мальчик Костя. За то, что он фискалил и жаловался на меня — я посадил его в чан, где на дне была вода и куда я накидал полсотни лягушек. Конечно, Костя пожаловался, и я был сечен долго и больно. Это было требование отца Кости, старого бритого чиновника, ходившего в фризовой шинели и засаленном форменном картузе. Эту шинель потом я, в отместку за порку, всю разрисовал масляной охрой, все кругами, кругами. Догадывались, но уличить меня не смели. Для исполнения цели надо было рано утром влезть из сада в окно и в сенцах, где висела шинель, поработать над ней. Через неделю шинель поотчистили, но желтые круги все-таки были видны даже через улицу.

— Хорошенькие воспоминания детства: только одни шалости, а где же ученье?

— Извольте. Ученье? Да собственно говоря, — ученья-то у меня было мало.

Молодой ум вечно кипел сомнениями. Учишь в законе божием, что кит проглотил пророка Иону, а в то же время учитель естественной истории «Камбала» рассказывает, что у кита такое маленькое горло, что он может глотать только мелкую рыбешку. Я к о. Николаю. Рассказываю.

— И выходишь ты дурак! И кто тебя учит этой ереси — тоже дурак выходит; сказано: во чреве китове три дня и три нощи. А если еще будешь спрашивать глупости — в карцер. Написано в книге и учи. Что, глупее тебя, что ли, святые-то отцы, оболтус ты эдакий?

А «Камбала» — тот свое:

— И сравнению не подлежит! Это обыкновенный кит, и он может только глотать малую рыбешку, а тот был кит другой, кит библейский — тот и пророка может. А ты, дурак, за неподобающие вопросы выйди из класса!

И в конце концов, иногда при круглых пятерках по предметам, стояло три с минусом из поведения. Да еще на грех стал я стихи писать. И не мало пострадал за это...

***

В театр впервые я попал зимой 1865 года, и о театре до того времени не имел никакого понятия, разве кроме того, что читал афиши на стенах и заборах. Дома у нас никогда не говорили о театре и не посещали его, а мы, гимназисты первого класса только дрались на кулачки и делали каверзы учителям и сторожу Онисиму.

В один прекрасный день я вернулся из гимназии, и тетя сказала мене:

— Сегодня я беру тебя в театр, у нас ложа, — и указала на огромный зеленый лист мягкой бумаги, висевший на стене, где я издали прочел:

— Идиот.

Я потом подошел и прочел всю афишу, буквы которой до сих пор горят у меня в памяти, как начертанные огненные слова на стене дворца Вальтасара.

«Вологда. С дозволения начальства. Труппой известных артистов в бенефис Мельникова представлена будет трагедия в 5-ти действиях «Идиот» или «Тайна Гейдельбергского замка». Далее действующие лица, а затем и «Дон Ранудо де-Калибрадос», или «Что за честь, коли нечего есть», при участии известного артиста Докучаева».

Вот только эти два лица и остались тогда в моей памяти и с обоими из них я впоследствии не раз встречался и вспоминал то огромное впечатление, которое они на меня тогда произвели. И говорил мне тогда Мельников:

— Не удивительно, батенька! Такого Идиота, как я, вы не увидите. Нас только на всю Россию и есть два Идиота,— я, да Погонин.

Действительно, «Идиот» был коронной ролью того и другого. Мельников был знаменитость и Докучев тоже.

«После Докучаевской трепки, после историй в Курске — не жить», — говорит в «Свадьбе Кречинского» избитый за шуллерство Расплюев. Докучаев и его товарищ, актер Кулебякин, оба знаменитые в свое время силачи, на ярмарке под Курском, исколотили вдвоем шайку шуллеров, а Докучаев, пытаясь выбросить атамана этой шайки в узкое окно мазанки, мог просунуть только голову и плечи, — да так и оставил. Чтобы освободить злополучного, пришлось ломать стену.

Так вот какие две знаменитости того времени произвели на меня впечатление и заставили полюбить театр.

Когда мы пришли в зрительный зал, зажигали только еще свечи и лампы. Мы сидели в литерной бельэтажа, сбоку. Входила публика. В первый ряд прошел толстенный директор нашей гимназии И. И. Красов в форменном сюртуке,

за ним петушком пробежал курчавый, как пудель, француз Ранси. Полицмейстер с огромными усами, какой-то генерал, похожий на Суворова, и мой отец стояли, прислонясь к загородке оркестра, и важно оглядывали публику, пока играла музыка, и потом все они сели в первом ряду... Вдруг поднялся занавес — и я обомлел... Грозные серые своды огромной тюрьмы и по ней мечется с визгом и воем, иногда останавливаясь и воздевая руки к решетчатому окну, несчастный, бледный юноша, с волосами по плечам, с лицом мертвеца. У него ноги голые до колен, на нем грязная длинная женская рубашка с оборванным подолом и лохмотьями вместо коротких рукавов... И вот эта-то самая первая сцена особенно поразила меня, и я во все время учебного года носился во время перемен по классу, воздевая руки кверху и играл «Идиота», повторяя сцены по требованию товарищей. Это так интересовало класс, что многие, никогда не бывавшие в театре, пошли на «Идиота» и давали потом представление в классе. После окончания пьесы Мельникова вызывали без конца, и когда еще раз вызвали его перед началом водевиля и он вышел в сюртуке, я успокоился, убедившись, что это он «только представлял нарочно». Окончательно же успокоился на водевиле и выучил распевать товарищей некоторые запомнившиеся куплеты:

Нужно поручительство, —
Где порук найти, —
Ваше покровительство
Может нас спасти...

И после «Идиота» в классе копировал Докучаева, передавая важность Дона-Ранудо... И это увлечение театром продолжалось до следующего учебного года, когда я увлекся цирком и ради сальтоморталей забыл «Идиота» и важного Дона-Ранудо.

Представление «Царя Максемьяна» солдатами в казармах в 1866 году произвело на наших гимназистов впечатление неотразимое, и много фраз из этого произведения долго были ходячими, а некоторые сцены мы разыгрывали в антрактах. Представление это было всего только один раз, и гимназистов было человек десять, попавших на «Максемьяна» только благодаря тому, что они были или дети, или знакомые гарнизонных офицеров. Зато мы, т. е. каждый из этого десятка, были героями дня в классе, и нас заставляли разыгрывать сцены и рассказывать о виденном и слышанном.

— Не подходи ко мне с отвагою, а то проколю тебя сею шпагою, — повторяли ежедневно и много лет при всяком удобном случае, при чем шпагу изображала ручка или карандаш.

***

Из учителей останется в памяти у всех моих товарищей, которые еще есть в живых, учитель естественной истории —

— Порфирий Леонидович, прозванный Камбалой.

Это был длинный, худой, косой и лопоухий суб'ект, при ходьбе качавшийся в обе стороны. Удивительный мечтатель. Он вечно витал в эмпиреях, а может быть, вечно был влюблен. Никогда не садился на кафедру. Ему сносили кресло к первой парте, где он и располагался. Сядет, обоймет журнал. Закатит косые глаза в потолок и переносится в другой мир, как только ученик начнет отвечать. В мечтательном состоянии так и летели четверки и пятерки. Только надо было знать первые строки спрашиваемого урока, а там — барабань, что хочешь: он, уловив первые слова, уже ничего не слышит.

— Гиляровский.

Выхожу.

— Собака!

— Собака, Порфирий Леонидович.

— Собака!

— Собака — Canis familiaris.

— Вер-рно!..

И закатит глаза.

— Собака — Canis familiaris!.. Достигает величины семи футов, покровы тела мохнатые, иногда может летать по воздуху, потому что окунь водится в речных болотах отдаленной Аравии, где с'едает косточки кокосов, питающихся белугами или овчарками, волкодавами, бульдогами, догами, барбосками, моськами и канисами фамилиарисами...

Он прислушивается на момент.

— Собака, Порфирий Леонидович, водится в северных странах, у самоедов, где они поедают друг друга среди долины, ровной на гладкой высоте, причем торопливо не свивают долговечного гнезда... Собака считается лучшим другом человека.

— Я кончил, Порфирий Леонидович.

— А?... Что?... Кончил?

— Собака считается лучшим другом человека...

— Чело-ве-ека... О-ох!..

И закатит глаза.

— Хорошо, садись.

— Засецкий — окунь!

— Окунь, Порфирий Леонидович.

— Окунь!

— Окунь — Perca fluviatilis. Водится в реках и озерах средней России.

Засецкий, первый ученик, отвечает великолепно и получает ту же пятерку, что и я... Класс уже приучен, и что ни ври, — смеется тихо, чтобы не помешать товарищу. Так

преподавалась естественная история. Изучали мышей и крыс. Мы принесли с десяток мышей и мышат, опустили их в форточку между окнами, и они во мху, уложенному вместо ваты, жили прекрасно. На веревочке спускали им баночки с водой, молоко и бросали всякую снедь. И когда раз Камбала, поймав в незнании урока случайно остановившегося посреди ответа ученика, на него раскричался и грозил единицей, — мы отвлекли его гнев указанием на мышей. Камбала расчувствовался и долго рассказывал, стоя у окна, о мышах, потом перешел на муравьев, на слонов, и, наконец, когда уже раздался звонок к перемене, сказал:

— Милые зверьки... Только, я думаю, их сторожа разгонят...

— Да мы, Порфирий Леонидович, не покажем их...

Но как раз в эту минуту влетел инспектор, удивившийся, что после звонка перемены класс не выходит, — и пошла катавасия! К утру мышей не было.

— Гадов развели, озорники беспутные, — ругал нас сторож Онисим.

Но на класс кары не последовало. А сидели раз два часа без обеда всем классом за другое: тогда я был еще в первом классе. Зима была холодная. Нежностей, вроде нехождения в класс, не полагалось. В 40° слишком мы также бегали в гимназию, раза два по дороге оттирая снегом отмороженные носы и щеки, в чем также нередко помогали нам те же сторожа Онисим и Андрей, относясь к помороженным с отеческой нежностью. Бывали морозы и такие, что падали на землю замерзшие вороны и галки. И вот кто-то из наших второклассников принес в сумке пару замерзших ворон и, конечно, в класс, в парту. Птицы отогрелись, рванулись — и прямо в окно. Загремели стекла двойных рам, класс наполнился холодом, а птицы улетели. Тогда отпустили всех по домам, а на другой день второй класс и нас, почему-то, про-

держали два часа после занятий. За что наш класс,—так и не знаю. Но с тех пор в морозы больше 40° нас отпускали обратно. Распорядиться же не приходить в 40° совершенно в гимназию — было нельзя, потому что на весь наш губернский город едва ли был десяток градусников у самых важных лиц. Обыкновенные обыватели о градусниках и понятия не имели. Вешать же на каланчах морозные флаги — никто и не додумался тогда.

Кроме Камбалы, человека безусловно доброго и любимого нами, нельзя не вспомнить двух учителей, которых мы все не любили. Это были чопорные и важные иностранцы, совершенно непохожие на всех остальных наших милых чиновников, в засаленных синих сюртуках и фраках, редко бритых, говоривших на «о». Влетало нам от них иногда и легкие подзатыльники, и наказания в виде стояния на коленях. Но все это делалось просто, мило, по-отечески, без злобы и холодности. Учитель французского языка м-р Ранси, всегда в чистой манишке и новом синем фраке, курчавый, как пудель, — говорят, был на родине парикмахером. Его терпеть не могли. Немец Робст ни слова не знал по-русски, кроме: «Пошель, на уколь, свинь рюски», и производил впечатление самого тупоголового колбасника. Первые его уроки были утром, три раза во втором классе и три раза в третьем. Для первого начала, когда он появился в нашей гимназии, ему в третьем классе прочли вместо молитвы: «Чижик, чижик, где ты был» и т. д.

Это было в понедельник. Второй класс узнал — и тоже «чижика» закатил. Так продолжалось с месяц. Вдруг на наш первый урок вместе с немцем ввалился директор.

— Читай молитву, — приказал он первому ученику.

И тот начал читать молитву перед ученьем. Немец изумленно вытаращил белые глаза и спросил:

— Пашиму не тшиджик-тшиджик?

Дело раз'яснилось и вышел скандал. Конечно, я сидел в карцере, хотя ни разу не читал ни молитвы, ни чижика. В том же году, весной, во второй половине, к экзаменам приехал попечитель округа кн. Ливен. Железной дороги не было и по телеграфу заблаговременно, т. е. накануне приезда, узнало начальство о его прибытии. Пошли мытье и чистка. Нас выстраивали в классе и осматривали пуговицы. Мундиры с красными воротниками с шитьем за год перед этим отменили, и мы ходили в черных сюртуках с синими петлицами. Выстроили нас всех в актовом зале. Осмотрели маленьких. Подошли к шестому и седьмому классам директор с инспектором и заволновались, зажестикулировали. И смешно на них, маленьких да пузатеньких, было смотреть перед строем рослых бородатых юношей. Бородатые были и в младших классах. Так, во втором классе был старожил Гудвил, более похожий по длинным локонам и бородище на соборного дьякона.

— Потому что... Потому что... Я... да... да... Остричься!.. визжал директор.

— Уж тут себе... Уж тут себе... Обриться!.. — вторил Тыква.

Инспектора звали тыквой за его лысую голову. И посыпались угрозы выгнать, истолочь в порошок, выпороть и обрить на барабане всякого, кто завтра на попечительский смотр не обреется и не острижется. Приехал попечитель, длинный и бритый. И предстали перед ним старшие классы, высокие и бритые — в полумасках. Загорелые лица и белые подбородки и верхние губы свеже обритые... Смешные физиономии были.

***

Из того, что я учил и кто учил, осталось в памяти мало хорошего. Только историк и географ Николай Яко-

влевич Соболев был яркой звездочкой в мертвом пространстве. Он учил шутя и требовал, чтобы ученики не покупали пособий и учебников, а слушали его. И все великолепно знали историю и географию.

— Ну, так какое же, Ордин, озеро в Индии и какие и сколько рек впадают в него?

— Там... мо... мо... Индийский океан...

— Не океан, а только озеро... Так забыл, Ордин?

— Забыл, Николай Яковлевич. У меня книжки нет.

— На что книжка? Все равно забудешь... Да и не трудно забыть — слова мудреные, дикие... Озеро называется Манасаровар, а реки — Пенджаб, что значит пятиречье.... Слова тебе эти трудны, а вот ты припомни:

— Пиджак и мы на самоваре. Ну, не забудешь?

— Галахов! Какую ты Новую Гвинею начертил на доске? Это, братец, окорок, а не Новая Гвинея... Помни, Новая Гвинея похожа на скверного, одноногого гуся... А ты окорок.

В третьем классе явился Соболев на первый урок русской истории и спросил:

— Книжки еще не покупали?

— Не покупали.

— И не покупайте, это не история, в ней только и говорится, что такой-то царь побил такого-то, такой-то князь такого-то и больше ничего... Истории развития народа и страны там и нет.

И Соболев нам рассказывает русскую историю, давая записывать только имена и хронологические данные, очень ловко играя на цифрах, что весьма легко запоминалось.

— Что было в 1380 году?

Ответишь.

— А ровно через сто лет?

Все хорошо запоминалось. И самое светлое воспоминание осталось о Соболеве. Учитель русского языка, франтик Билевич, завитой и раздушенный, в полную противоположность всем другим учителям, был предметом насмешек за его щегольство.

— Они все женятся! — охарактеризовал его Онисим.

Действительно, это был «Жених из ножевой линии», и плохо преподавал русский язык. Мне от него доставалось за стихотворения-шутки, которыми занимались в гимназии двое: я и мой одноклассник и неразлучный друг Андреев Дмитрий. Первые силачи в классе и первые драчуны, мы вечно ходили в разорванных мундирах, дрались всюду и писали злые шутки на учителей. Все преступления нам прощались, но за эпиграммы нам тайно мстили, придираясь к рваным мундирам.

***

Вдруг, совершенно неожиданно, в два-три дня по осени выросло на городской площади высокое круглое деревянное здание с необ'ятной высотой.

«**ЦИРК АРАБА-КАБИЛА ГУССЕЙН БЕН-ГАМО**».

Я в дикий восторг пришел. Настоящего араба увижу, да еще араба-кабила, да еще — Гуссейн Бен-Гамо!..

И все, что училось и читалось о бедуинах и об арабах и о верблюдах, которые питаются после глотающих финики арабов косточками, и самум, и Сахара — все при этой вывеске мелькнуло в памяти, и одна картина ярче другой засверкали в воображении. И вдруг узнаю, что сам араб-кабил с женой и сыном живут рядом с нами. Какой-то черномазый мальчишка ударил палкой нашу черную Жучку. Та завизжала. Я догнал мальчишку, свалил его и побил. Оказалось,

что это Оська, сын араба-кабила. Мы подружились. Он родился в России и не имел понятия ни об арабах, ни об Аравии. Отец был обруселый араб, а мать совсем русская. Оська учился раньше в школе, и только что его отец стал обучать цирковому искусству. Два раза в неделю, по средам и пятницам с 9 часов утра до 2 часов дня, а по понедельникам и четвергам с 4 час. вечера до 6 часов отец Оську обучал. Араб-кабил был польщен, что я подружился с его сыном, и начал нас вместе «выламывать». Я был ловчее и сильнее Оськи и через два месяца мы оба отлично работали на трапеции, делали сальтомортале и прыгали без ошибки на скаку на лошадь и с лошади. В то доброе старое время не было разных предательских кондуитов и никто не интересовался — пропускают уроки или нет. Сказал: голова болела или отец не пустил — и конец, проверок никаких. И вот в два года я постиг, не теряя гимназических успехов, тайны циркового искусства, но таил это про себя. Оська уже работал в спектаклях («малолетний Осман»), а я только смотрел, гордо сознавая, что я лучше Оськи все сделаю. Впоследствии не раз в жизни мне пригодилось цирковое воспитание не меньше гимназии. О своих успехах я молчал и знание берег про себя. Впрочем, раз вышел курьез. Это было на Страстной неделе, перед причастием. Один, в передней гимназии я делал сальтомортале. Только что перевернувшись, встал на ноги, — передо мной законоучитель, стоит и крестит меня.

— Окаянный, как это они тебя переворачивают? А ну-ка еще!..

— Я не буду, отец Николай, простите.

— Вот и не будешь теперь!.. Вчера только исповедывались, а они уже вселились!

А сам крестит.

— Нет, ты мне скажи, отчего нечистая сила тебя эдак крутит?

Я сделал двойное. Батя совсем растерялся.

— Свят, свят... Да это ты никак сам...

— Сам.

— А ну-ка!

Я еще сделал.

— Премудрость...

— Вот что, Гиляровский, на Пасхе заходи ко мне, матушка да ребята мои пусть посмотрят...

— Отец Николай, уж вы не рассказывайте никому...

— Ладно, ладно... Приходи на второй день. Куличом накормим. Яйца с ребятами покатаешь. Ишь ты, окаянный! Сам дошел... А я думал уж — они в тебя, нечистые, вселились, да поворачивают... Крутят тебя.

ГЛАВА II

В НАРОД

Побег из дома. Холера на Волге. В бурлацкой лямке. Аравушка Улан и Костыга. Пудель. Понизовая вольница. Крючники. Разбойная станица. Артель атамана Репки. Красный жилет и сафьянная кобылка. Средство от холеры. Арест Репки. На выручку атамана. Холера и пьяный козел. Приезд отца. Встреча на пароходе. Кисмет!

Это был июнь 1871 года. Холера уже началась. Когда я пришел пешком из Вологды в Ярославль, там участились холерные случаи, которые, главным образом, проявлялись среди прибрежного рабочего народа, среди зимогоров-грузчиков. Холера помогла мне выполнить заветное желание попасть именно в бурлаки, да еще в лямочники, в те самые, о которых Некрасов сказал:

«То бурлаки идут бичевой»...

Я ходил по Тверицам, любовался красотой нагорного Ярославля, по ту сторону Волги, дымившими у пристаней пассажирскими пароходами, то белыми, то розовыми, караваном баржей, тянувшихся на буксире... А где же бурлаки?

Я спрашивал об этом на пристанях — надо мной смеялись. Только один старик, лежавший на штабелях теса, выгруженного на берег, сказал мне, что народом редко водят суда теперь, тащат только маленькие унжаки и коломенки, а старинных расшив что-то давно уже не видать, как в старину было.

— Вот только одна вчера такая вечером прошла, настоящая расшива, и сейчас, так версты на две выше Твериц стоит; тут у нас бурлацкая перемена спокон-веку была, аравушка на базар сходит, сутки, а то и двое, отдохнет. Вон гляди!..

И указал он мне на четверых загорелых оборванцев в лаптях, выходивших из кабака. Они вышли со штофом в руках и направлялись к нам, их, должно быть, привлекли эти груды сложенного теса.

— Дедушка, можно у вас тут выпить и закусить?

— Да пейте, кто мешает!

— Вот спасибо, и тебе поднесем!

Молодой малый, белесоватый и длинный, в синих узких портках и новых лаптях, снял с шеи огромную) вязку кренделей. Другой, коренастый мужик, вытащил жестяную кружку, третий выворотил из-за пазухи вареную печенку с хороший каравай, а четвертый, с черной бородой и огромными бровями стал наливать вино, и первый стакан поднесли деду, который на зов подошел к ним.

— А этот малый с тобой, что ли? — мигнул черный на меня.

— Так, работенку подыскивает...

— Ведь вы с той расшивы?

— Оттоль! — и поманил меня к себе.

— Седай!

Черный осмотрел меня с головы до ног и поднес вина. Я в ответ вынул из кармана около рубля меди и серебра, отсчитал полтинник и предложил поставить штоф от меня.

— Вот, гляди, ребята, это все мое состояние, пропьем, а потом уж вы меня в артель возьмите, надо и лямку попробовать... Прямо говорить буду, деваться некуда, работы никакой не знаю, служил в цирке, да пришлось уйти, и паспорт там остался.

— А на кой ляд он нам?

— Ну что ж, ладно! Айда с нами, по заре выходим.

Мы пили, закусывали, разговаривали... Принесли еще штоф и допили.

— Айда-те на базар, сейчас тебя обрядить надо... Коньки брось, на липовую машину станем!

Я ликовал. Зашли в кабак, захватили еще штоф, два каравая ситного, продали на базаре за два рубля мои сапоги, купили онучи, три пары липовых лаптей и весьма любовно указали мне, как надо обуваться, заставив меня три раза разуться и обуться. И ах, как легко после тяжелой дороги от Вологды до Ярославля показались мне лапти, о чем я и сообщил бурлакам.

— Нога-то как в трактире! Я вот сроду не носил сапогов, — утешил меня длинный малый.

***

Приняла меня оравушка без расспросов, будто пришел свой человек. По бурлацкому статуту не подобает расспрашивать, кто ты, да откуда?

Садись, да обедай, да в лямку впрягайся! А откуда ты, никому дела нет. Накормили меня ужином, кашицей с соленой судачиной, а потом я улегся вместе с другими на песке около прикола, на котором был намотан конец бичевы, а другой конец высоко над водой поднимался к вершине мачты. Я уснул, а кругом еще разговаривали бурлаки, да шумела и ругалась одна пьяная кучка, распивавшая вино. Я заснул как убитый, сунув лицо в песок — уж очень комары и мошкара одолевали, особенно, когда дым от костра несся в другую сторону.

Я проснулся от толчка в бок и голоса над головой:

— Вставай, ребятушки, встава-ай...

Песок отсырел... Дрожь проняла все тело... Только что рассвело... Травка не колыхнется, роса на листочке поблес-

кивает... Ветерок пошевеливает белый туман над рекой... Вдали расшива кажется совсем черной...

— Подходи к отвальной!

Около приказчика с железным ведром выстраивалась шеренга вставших с холодного песка бурлаков с заспанными лицами, кто расправлял наболелые кости, кто стучал от утреннего холода зубами.

Согреться стаканом сивухи — у всех было единой целью и надеждой. Выпивали... Отходили... Солили ломти хлеба и завтракали... Кое-кто запивал из Волги прямо в нападку водой с песочком и тут же умывался, утираясь кто рукавом, кто полой кафтана. Потом одежу, а кто запасливей, так и рогожку, на которой спал, валили в лодку, и приказчик увозил бурлацкое имущество к посудине. Ветерок зарябил реку... Согнал туман... Засверкали первые лучи восходящего солнца, а вместе с ним и ветерок затих... Волга — как зеркало... Бурлаки столпились возле прикола, вокруг бичевы, приноравливались к лямке.

— Хомутайсь! — рявкнул косной с посудины... Стали запрягаться, а косной ревел:

— Залогу!..

Якорные под'ехали на лодке к буйку, выбрали канаты, затянули дубинушку и, наконец, якорь показал из воды свои черные рога...

— Ходу, ребятушки, ходу! — надрывался косной.

— Ой, дубинушка, ухнем, ой, лесовая, подернем, подернем, да ух, ух, ух...

Расшива неслышно зашевелилась.

— Ой, пошла, пошла, пошла...

А расшива еще только шевелилась и не двигалась... Оравушка топталась на месте, скрипнула мачта...

— Ой, пошла, пошла, пошла...

**
*

То мы хлюпали по болоту, то путались в кустах.

Ну и шахма! Вся тальником заросла. То в болото, то в воду лезь.

Ругался «шишка» Иван Костыга, старинный бурлак, из низовых.

— На то ты и «гусак», чтоб дорогу-путь держать, — сказал «подшишечный» Улан, тоже бывалый.

— Да нешто это наш бичевник!.. Пароходы с'ели бурлака... Только наш Пантюха все еще по старой вере.

— Народом кормился и отец мой и я. Душу свою нечистому не отдам. Что такое пароходы? Кто их возит? Души утопленников колеса вертят, а нечистые их огнем палят...

Этот разговор я слышал еще накануне, после ужина. Путина, в которую я попал, была случайная. Только один на всей Волге старый «хозяин» Пантелей из-за Утки-Майны водил суда народом, по старинке.

Короткие путины, конечно, еще были: народом поднимали или унжаки с посудой или паузки с камнем, и наша единственная уцелевшая на Волге Крымзенская расшива была анахронизмом. Она была старше Ивана Костыги, который от Утки-Майны до Рыбны больше двадцати путин сделал у Пантюхи, и потому с презрением смотрел и на пароходы и на всех нас, которых бурлаками не считал. Мне посчастливилось, он меня сразу поставил третьим, за подшишечным Уланом, сказав:

— Здоров малай, — этот сдоржить!

И Улан подтвердил: сдоржить!

И приходилось сдерживать, — инда икры болели, грудь ломило и глаза наливались кровью.

— Суводь [1]), робя, доржись. О-го-го-го... — загремело с расшивы, попавшей в водоворот.

И на повороте Волги, когда мы переваливали песчаную косу, сразу натянулась бичева, и нас рвануло назад.

— Над-дай, робя. У-ух! — грянул Костыга, когда мы на момент остановились и кое-кто упал:

— Над-дай! Не засарива-ай!.. — ревел косной с прясла.

Сдержали. Двинулись, качаясь и задыхаясь... В глазах потемнело, а встречное течение, суводь — еще крутила посудину.

— Федька, пудиля! — хрипел Костыга.

И сзади меня чудный высокий тенор затянул звонко и приказательно:

— Белый пудель шаговит...

— Шаговит, шаговит... — отозвалась на разные голоса ватага — и я тоже с ней.

И установившись в такт шага, утопая в песке, мы уже пели черного пуделя.

— Черный пудель шаговит, шаговит... Черный пудель шаговит, наговит.

И пели, пока не побороли встречное течение.

А тут еще десяток мальчишек с песчаного обрывистого яра дразнили нас:

— Аравушка! аравушка! обсери берега!

Но старые бурлаки не обижались, и никакого внимания на них:

— Что верно, то верно, время холерное!

— Правдой не задразнишь, — кивнул на них Улан.

Обессиленно двигалась. Бичева захлюпала по воде. Расшива сошла со стержня...

— Не зас-сарива-ай!.. И бичева натягивалась.

---

1 Суводь — порыв встречного течения.

— Еще ветру нет, а то искупало бы! — обернулся ко мне Улан.

Почему Улан? — допытался я после у него. Оказывается, давно это было — остановили они шайкой тройку под Казанью на большой дороге, и по дележу ему достался кожаный ящик. Пришел он в кабак на пристани, открыл, — а в ящике всего-на-всего только и оказалась уланская каска.

— Ну и смеху было! Так с тех пор и прозвали Уланом.

Смеется, рассказывает.

Когда был попутный ветер — ставили парус и шли легко и скоро, торопком, чтобы не засаривать в воду бичеву.

***

Давно миновали Толгу — монастырь на острове.

Солнце закатывалось, потемнела река, пояснел песок, а тальники зеленые в черную полосу слились.

— Засобачивай!

И гремела якорная цепь в ответ.

Булькнули якоря на расшиве... Мы распряглись, отхлестнули чебурки лямочные и отдыхали. А недалеко от берега два костра пылали и два котла кипятились. Кашевар часа за два раньше на завозне прибыл и ужин варил. Водолив приплыл с хлебом с расшивы.

— Мой руки, да за хлеб — за соль!

Сели на песке кучками по восьмеро на чашку. Сперва хлебали с хлебом «юшку», т. е. жидкий навар из пшена с «поденьем», льняным черным маслом, а потом густую пшенную «ройку» с ним же. А чтобы сухое пшено в рот лезло — зачерпнули около берега в чашки воды: ложка каши — ложка воды, а то ройка крута и суха — в глотке стоит. Доели. Туман забелел кругом. Все жались под дым, а то комар заел. Онучи и лапти сушили. Я в первый раз в жизни надел лапти, и нашел, что удобнее обуви и не придумаешь: легко и мягко.

Кое-кто из стариков уехал ночевать на расшиву.

Федя затянул было «Вниз по матушке»... — да не вышло. Никто не подтянул. И замер голос, прокатившись по реке и повторившись в лесном овраге...

А над нами, на горе, выли барские собаки в Подберезном.

Рядом со мной старый бурлак, седой и почему-то безухий, тихо рассказывал сказку об атамане Рукше, который с бурлаками и казаками персидскую землю завоевал... Кто это завоевал?.. Кто этот Рукша? Уж не Стенька ли Разин? Рукша тоже персидскую царевну увез.

Скоро все заснули.

Моя первая ночь на Волге. Устал, а не спалось. Измучился — а душа ликовала — и ни клочка раскаяния, что я бросил дом, гимназию, семью, сонную жизнь и ушел в бурлаки. Я даже благодарил Чернышевского, который и сунул меня на Волгу своим романом «Что делать».

***

— Заря зарю догоняет! — вспомнил я деда, когда восток белеть начал — и заснул на песке, как убитый.

И как не хотелось вставать, когда утром водолив еще до солнышка орал:

— Э-ге-гей. Вставай, робя... Рыбна не близко еще...

Холодный песок и туман сделали свое дело: зубы стучали, глаза слипались, кости и мускулы ныли.

А около водолива два малых с четвертной водки и стаканом.

— Подходь, робя. С отвалом!

Выпили по стакану, пожевали хлеба, промыли глаза — рукавом кто, а кто подолом рубахи вытерлись...

Лодка подвезла бичеву. К водоливу подошел Костыга.

— Ты никак не с расшивы пришел? Опять что ли?

— Двоих... Одного, который в Ярославле побывшился, да сегодня ночью прикащиков племянник, мальченко... Вонища

в казенке у нас. Вон за косой, в тальниках, в песке закопали... Я оттуда прямо сюды.

— Н-да! Ишь ты, какая моровая язва пришла.

— Рыбаки сказывали, что в Рыбне не судом народ валит. Холера, говорят.

— И допрежь бывала она... Всяко видали... По всей Волге могилы-то бурлацкие. Взять Ширмокшанский перекат... Там, бывало, десятками в одну яму валили...

**
*

Уж я после узнал, что меня взяли в ватагу в Ярославле вместо умершего от холеры, тело которого спрятали на расшиве под кичкой — хоронить в городе боялись, как бы задержки от полиции не было... Старые бурлаки, люди с бурным прошлым и с юности без всяких паспортов, молчали: им полиция опаснее холеры. У половины бурлаков паспортов не было. Зато хозяин уж особенно ласков стал: три раза в день водку подносил: с отвалом, с привалом и для здоровья.

Закусили хлебца с водицей — кто нападкой попил, кто горсткой — все равно с песочком.

— Отда-ва-ай!

«Дернем — подернем, да ух-ух-ух!» — неслось по Волге, и якорь стукнул по борту расшивы.

— Не засарива-ай! О-го-го-го!

— Ходу, брательники, ходу!

— Ой, дубинушка — ухнем. Ой, зеленая, подернем, подернем — да ух!

Зашевелилась посудина... Потоптались минутку, покачались и зашагали по песку молча. Солнце еще не показывалось, а только еще рассыпало золотой венец лучей.

Трудно шли. Грустно шли. Не раскачались еще...

Укачала—уваляла,
Нашей силушки не стало...

Затягивает Федя, а за ним и мы.

О — о — ох.... О — о — ох....
Ухнем да ухнем.... У — у — у.... х!...
Укачала — уваляла,
Нашей силушки не стало....

Солнце вылезло и ослепило. На душе повеселело. Посудина шла спокойно, боковой ветерок не мешал. На расшиве поставили парус... Сперва полоскал — потом надулся, и как гигантская утка боком, но плавно покачивалась посудина и бичева иногда хлопала по воде.

— Ходу, ходу! Не засаривай!

И опять то натягивалась бичева, то лямки свободно отделялись от груди.

Молодой вятский парень, сзади меня уже не раз бегавший в кусты, бледный и позеленевший, со стоном упал... Отцепили ему на ходу лямку — молча обошли лежачего.

— Лодку! Подбери недужного! — крикнул гусак расшиве.

И сразу окликнул нас:

— Гляди! Суводь! Пудиля!

***

Особый народ были старые бурлаки. Шли они на Волгу — вольной жизнью пожить. Сегодняшним днем жили, будет день, будет хлеб!

Я сдружился с Костыгой, более тридцати путин сделавшим в лямке по Волге. О прошлом лично своем он говорил урывками. Вообще, разговоров о себе, в бурлачестве было мало — во время хода не заговоришь, а ночь спишь, как убитый... Но вот нам пришлось близ Яковлевского оврага за ветром простоять двое суток. Добыли вина, попили порядочно и две ночи Костыга мне о былом рассказывал...

— Эх, кабы да старое вернуть, когда этих пароходищ было мало! Разве такой тогда бурлак был? Что теперь бурлак? — из-за хлеба бьется! А прежде бурлак вольной жизни искал. Конечно, пока в лямке, под хозяином идешь, послухмян будь... Так разве для этого тогда в бурлаки шли, как теперь, чтобы получить путинные да по домам разбрестись? Да и дома-то своего у нашего брата не было... Хошь до меня доведись? Сжег я барина и на Волгу... Имя свое забыл: Костыга да Костыга... А Костыгу вся бурлацкая Волга знает. У самого Репки есаулом был... Вот это атаман! А тоже, когда в лямке, и он, и я хозяину подчинялись — пока в Нижнем али в Рыбне расчет не получишь. А как получили расчет — мы уж не лямошники, а станишники! Раздобудем в Рыбне завозню, соберем станицу верную, так, человек десять, и махить на низ... А там по островам еще бурлаки деловые, знаёмые, найдутся — глядь, около Камы у нас станица в полсотни, а то и больше... Косовыми разживемся с птицей — парусом... Репка, конечно, атаманом... Его все боялись, а хозяева уважали... Если Репка в лямке — значит посудина дойдет до места... Бывало-че идем в лямке, а на нас разбойная станица налетает, так, лодки две, а то три... Издаля атаман ревет на носу:

— Ложись, дьяволы!

— Ну, конечно, бурлаку своя жизнь дороже хозяйского добра. Лодка атаманская дальше к посудине летит:

— Залогу!

— Испуганный хозяин или прикащик видит, что ничего не поделаешь, бросит якорь, а бурлаки лягут носом вниз... Им что? Ежели не послушаешь, — самих перебьют да разденут до нага... И лежат, — а станица очищает хозяйское добро да деньги пытает у прикащика. Ну, с Репкой не то: как увидит атаман Репку впереди — он завсегда первым, гусаком ходил — так и отчаливает... Раз атаман Дятел,

уж на что злой, сунулся на нашу ватагу, дело было под Балымерами, высадился, да и набросился на нас. Так Репка всю станицу разнес, мы все за ним, как один, пошли, а Дятла самого и еще троих на смерть уложили в драке... Тогда две лодки у них отобрали, а добра всякого, еды и одежи было уйма, да вина два боченка... Ну, это мы подуванили... С той поры ватагу, где был Репка, не трогали... Ну вот, значит, мы соберем станицу так человек в полсотни и все берем: как увидит аравушка Репку-атамана, так сразу тут же носом в песок. Зато мы бурлаков никогда не трогали, а только уж на посуде дочиста все забирали. Ой и добра, и денег к концу лета наберем...

Увлекается Костыга — а о себе мало: все Репка да Репка.

— Кончилась воля бурлацкая. Все мужички деревенские, у которых жена да хозяйствишко... Мало нас, вольных, осталось. Вот Улан да Федя, да еще косной Никашка... Эти с нами хаживали...

А как-то Костыга и сказал мне:

— Знаешь что? Хочется старинку вспомнить, разок еще гульнуть. Ты, я гляжу, тоже гулящий... Хошь и молод, а из тебя прок выйдет... Дойдем до Рыбны, а там соберем станицу, да маханем на низ, а там уж у меня кое-что на примете найдется. С деньгами будем...

А потом задумался и сказал:

— Эх, Репка, Репка! Вот ежели его бы — ну прямо по шапке золота на рыло... Пропал Репка... Годов восемь назад его взяли, заковали и за бугры отправили... Кто он — не дознались...

И начал он мне рассказывать о Репке:

— Годов тридцать атаманствовал он, а лямки никогда не покидал, с весны в лямке, а после путины станицу поведет... У него и сейчас есть поклажи зарытые. Ему золото

плевать... Лето на Волге, а зимой у него притон есть, то на Иргизе, то на Черемшане... У раскольников на Черемшане свою избу выстроил, там жена была у него... Раз я у него зимовал. Почет ему ото всех. Зимой по степенному живет, чашкой-ложкой отпихивается, а как снег таять начал — туча тучей ходит... А потом и уйдет на Волгу...

— И знали раскольники — зачем идет?

— И ни-ни. Никто не знал. Звали его там Василий Ивановичем. А что он — Репка, и не думали. Уж после воли как-то летом полиция и войска на скит нагрянули, а раскольники в особой избе сожгли сами себя. И жена Репки тоже сгорела. А он опять с нами на Волге, как ни в чем не бывало... Вот он какой Репка! И все к нему с уважением, прикащики судовые шапку перед ним ломали, всяк к себе завет, а там власти береговые быдто и не видят его... — знали, кто тронет Репку, — тому живым не быть, коли не он сам, так за него пришибут...

***

И часто по ночам отходим мы вдвоем от ватаги и все говорит, говорит, видя, с каким вниманием я слушал его... Да и поговорить-то ему хотелось, много на сердце было всего, всю жизнь молчал, а тут во мне учуял верного человека. И каждый раз кончал разговор:

— Помалкивай. Быдто слова не слышал. Сболтнешь раньше, пойдет блекотанье, ничего не выйдет, а то и беду наживешь... Станицу собирать надо сразу, чтобы не остыли... Наметим, стало быть, кого надо, припасем лодку — да сразу и ухнем...

— Надо сразу! — Первое дело, не давать раздумываться. А в лодку сели, атамана выбрали, поклялись стоять всяк за свою станицу и слушаться атамана — дело пойдет. Ни один станишник еще своему слову не изменял.

Увлекался старый бурлак.

— Молчок! До Рыбна ни словечка... Там теперь много нашего брата, крючничают... Такую станицу подберем... Эх, Репки нет!

Этот разговор был на последней перемене перед самым Рыбинском...

— Ну, так идешь с нами?

— Ладно, иду, — ответил я, и мы ударили по рукам.

— Иду!

— Ладно.

И прижал Костыга палец к губам — рот запечатал.

А мне вспомнился Левашов и Стенька Разин.

***

Рассчитались с хозяином. Угостил он водкой, поклонился нам старик в ноги:

— Не оставьте напередки, братики, на наш хлеб-соль, на нашу кашу!

И мы ему поклонились в ноги: уж такой обычай старинный бурлацкий был.

Понадевали сумки лямошники, все больше мужички костромские были, — «узкая порка», и пошли на пароходную пристань, к домам пробираться, а я, Костыга, Федя и косной прямо в трактир, где крючники собирались. Народу еще было мало. Мы заняли стол перед открытым окном, выходящим на Волгу, где в десять рядов стояли суда с хлебом и сотни грузчиков с кулями и мешками быстро, как муравьи, сбегали по сходням, сверкая крюком, бежали обратно за новым грузом. Спросили штоф сивухи, рубца, воблы да яичницу в два десятка яиц заказали:

— С привалом!

— С привалом!

Не успели налить по второму стакану, как три широкоплечих богатыря в красных жилетках, обшитых галуном и рваных картузах ввалились в трактир. Как сумасшедший, вскочил Костыга, чуть стол не опрокинул. Улан за ним... Обнимаются, целуются... и с ними, и с Федей...

— Петля! Балабурда!! Вы откуда, дьяволы?

Составили стол. Сели. Я молчал. Пришедшие на меня покосились и тоже молчали — да выручил Костыга:

— Это свой... Мой дружок, Алеша Бешеный.

Нужно сказать, что я и в дальнейшем везде назывался именем и отчеством моего отца, Алексей Иванов, нарочно выбрав это имя, чтобы как-нибудь не спутаться, а Бешеным меня прозвали за то, что я к концу путины совершенно пришел в силу и на отдыхе то на какую-нибудь сосну влезу, то вскарабкаюсь на обрыв, то за Волгу сплаваю, на руках пройду или тешу ватагу, откалывая сальтомортале, да еще переборол всех по урокам Китаева. Пришедшие мне пожали своими железными лапами руку.

— Удалой станишник выйдет! — похвалил меня Костыга.

— Жидковат... Ручонка-то бабья, — сказал Балабурда.

Мне это показалось обидно. На столе лежала сдача — полового за горячими кренделями и за махоркой посылали. Я взял пятиалтынный, и на глазах у всех согнул его пополам — уроки Китаева, — и отдал Балабурде:

— Разогни-ка!

Дико посмотрели на меня, а Балабурда своими огромными ручищами вертел пятиалтынный.

— Ну тя к лешему, дьявол! — и бросил.

Петля попробовал — не вышло. Тогда третий, молодой малый, не помню его имени — попробовал, потом закусил зубами и разогнул.

— Зубами. А ты руками разогни, — захохотал Улан.

Я взял монету, еще раз согнул ее, пирожком сложил и отдал Балабурде, не проронив ни слова. Это произвело огромный эффект и сделало меня равноправным.

**
*

Пили, ели, спросили еще два штофа, но все были совершенно трезвы. Я тогда пил еще мало, и это мне в вину не ставили:

— Хошь пьешь — не хошь, как хошь, нам же лучше, вина больше останется.

Пили и ели молча. Потом, когда уже кончали третий штоф и доедали третью яичницу, Костыга и говорит, наклонясь, полушопотом:

— Вот што, робя! Мы станицу затираем. Идете с нами?

— Какая сейчас станица, ежели пароходы груз забрали. А ежели сунуться куда вглубь, народу много надо... Где его на большую станицу соберешь? — сказал Петля.

— Опять холера... теперь никакие богатства ни к чему... а с деньгами издыхать страшно.

— А ты носи медный пятак на гайтане, а то просто в лапте, никакая холера к тебе не пристанет... — посоветовал Костыга. — Первое средство, старинное... Холера только меди и боится, черемшанские старики сказывали.

Как-то на минуту все смолкли. А Петля нам вдруг:

— Брось станицу! Поступай к нам в артель крючничать.

— А ну вас! Пойду я крючничать! — рассердился Костыга.

— Ишь ты какой. Почище тебя крючничают. У нас сам Репка за старшего.

— Как, Репка?! — и Костыга звякнул кулачищем по столу, так что посуда запрыгала.

— Да так, сам атаман Репка...— подтвердили слова Петли его товарищи.

***

И выяснилось, что Петля встретил Репку весной в Самаре, куда он только что прибыл из Сибири, убежав из тюрьмы, и пробирался на Черемшаны, где в лесу у него была зарыта «поклажа» — золото и серебро. Разудалый Петля уговорил его «веселья для ради» поехать в Рыбну покрючничать — «все на народе», — а на зиму и в скит можно. И вот Репка и Петля захватили с собой слонявшегося по пристани Балабурду, добывшего где-то даже паспорт, подходящий по приметам, и все втроем прибыли в Рыбинск. В Рыбинске были хозяйские артели грузчиков, т. е. работали от хозяина за жалованье. К хозяевам обращались судовщики с заказом выгружать хлеб, который приходил то насыпью в судах, а то в кулях и мешках. В артелях грузчиков главной силой считались «батыри»; их обязанность была выносить с судна уже готовые кули и мешки на берег. Сюда брались самые ловкие и самые сильные: куль муки 9 пудов, куль соли 12 пудов и полукуль 6 пудов. Конечно, хозяева брали львиную долю и наживали с каждого рабочего иногда половину его заработка. Работать от хозяина Репке было не к лицу; он привык сам верховодить и атаманствовать над удалыми станицами и всю добычу рискованных набегов поровну тырбанить между товарищами. Собрал он здесь при помощи Петли и Балабурды человек сорок знакомых бурлаков и грузчиков, отобрав самых лучших, головку, основал неслыханную дотоль артель, которая работает скорее, берет дешевле, а товарищи получают вдвое больше, чем у хозяина. Репка, получая с хозяина деньги, целиком их приносит в артель и делит поровну и по заслугам: батыри, конечно, получают больше, а засыпки и выставка [1]), у которых работа

---

[1]) Засыпка—хлеб в кули насыпает, а выставка уставляет кули, чтобы батырю брать удобно.

легкая, — меньше. И сам он получает столько же, сколько батырь, потому что работает наравне с ними и, несмотря на свои почти семьдесят лет, еще шутки шутит: то два куля принесет, то на куль посадит здоровенного приказчика, и на диво всем, легко сбежит с ним по зыбкой сходне... Артель Репки щеголяла и наружным видом: на всех батырях были жилетки красного сукна, обшитые то золотым, то серебряным, смотря по степени силы, галуном, а на спине сафьянные кобылки, на которые ставили куль. Через плечо у каждого железный крюк. Артель Репки держалась обособленно, имела свой общий котел и питалась лучше всех других рабочих. Попасть в эту артель было почти невозможно. Только, когда разыгралась холера — пришлось добавлять народу. Вот в эту-то артель нам и предложили вступить... Костыга и Улан сперва отказались, хотя имя Репки заставило задуматься удал-добрых молодцов. Но и это, пожалуй, не удержало бы Костыгу, уже нашего атамана, и быть бы мне в разбойной станице — да только несчастье с Репкой спасло меня от этого.

Далее Петля нам рассказал, что на Репку, конечно, вз'елись все конкуренты-хозяева, которых рабочие начали попрекать новой артелью и лучшие батыри перешли в нее. Нашлись предатели, которые хозяевам рассказали о том, кто такой Репка и за два дня до нашего прихода в Рыбинск Репку подкараулили одного в городе, арестовали его, напав целой толпой городовых, заключили в тюремный замок, в одиночку, заковав в кандалы. И постановили старые его товарищи и станишники — во что бы то ни стало вызволить своего атамана. Через подкуп писаря в тюрьме узнали они, что Репку отправят в Ярославль только зимой, чтобы судить в окружном суде. И постановили его выручить, а для этого продолжали вести артель, чтобы заработать денег, напасть на конвой и спасти своего атамана. Только тут

Костыга отложил свою затею. Мы поступили в артель. Паспортов ни у кого не было, да и полиция тогда не смела сунуться на пристани, во-первых, потому, чтобы не распугать грузчиков, без которых все хлебное дело пропадет, а, во-вторых, боялись холеры. Кроме Репки, и то в городе взяли его, —так никого из нас и не тронули.

***

Дня через три я уже лихо справлялся с девятипудовыми кулями муки и хотя первое время болела спина, а особенно икры ног, через неделю получил повышение: мне предложили обшить жилет золотым галуном. Я весь влился в артель и, проработав с месяц, стал чернее араба, набил железные мускулы и не знал устали. Питались великолепно... По завету Репки не пили сырой воды и пива, ничего кроме водки-перцовки и чаю. Ели из котла горячую пищу, а в трактире только яичницу, и в нашей артели умерло всего трое — два засыпки и батырь не из важных. Заработки батыря первой степени были от 10 до 12 рублей в день и я, при каждой получке, по пяти рублей отдавал Петле, собиравшему деньги на побег атамана. Да я никакого значения деньгам не придавал, — а тосковал только о том, что наша станица с Костыгой не состоялась, а бессмысленное таскание кулей ради заработка все на одном и том же месте мне стало прискучать. Да еще эта холера. То и дело видишь во время работы, как поднимают на берегу людей и замертво тащат их в больницу, а по ночам под'езжают к берегу телеги с трупами, которые перегружают при свете луны в большие лодки и отвозят через Волгу зарывать в песках на той стороне или на острове.

Только и развлечения было, что в орлянку играли. Припомню один веселый эпизод из этой удалой нашей жизни среди кольца смерти. От 12 до 2 было время обеда. На берегу

кипели котлы и каждая артель питалась особо. По случаю холеры перед обедом пили перцовку. Сядем, принесут четвертную бутыль и чайный стакан. Как только сели артели за обед, на берегу появлялся огромный рыжий козел, принадлежавший пожарной команде. Козел был горький пьяница. Обыкновенно подходит к обедающим в то время, когда водку пьют, стоит, трясет бородой и блеет. Все его знали и первый стакан обыкновенно вливали ему в глотку. Выпьет у одних, идет к другой артели за угощеньем, и так весь берег обойдет, а потом исчезает вдребезги пьяный. И нельзя было не угостить козла. Обязательно, первый стакан ему, — а не поднести — налетит и разобьет бутыль рогами.

***

Куда бы повернула моя судьба — не знаю, если бы не вышло следующего: проработав около месяца в артели Репки, я, жалея отца моего и мачеху, написал таки им письмо, в котором рассказал в нескольких строках, что прошел бурлаком Волгу, что работаю в Рыбинске крючником, здоров, в деньгах не нуждаюсь, всем доволен и к зиме приеду домой.

Как-то после обеда артель пошла отдыхать, я надел козловые с красными отворотами и медными подковками сапоги, новую шапку и жилетку праздничную и пошел в город, в баню, где я аккуратно мылся, в номере, холодной водой каждое воскресенье, потому что около пристаней Волги противно да и опасно было по случаю холеры купаться. Поскорее вымылся, переоделся во все чистое, и в своей красной жилетке с золотым галуном иду по главной улице. Вдруг шагах в двадцати от меня из под'езда гостиницы сходит на тротуар знакомая фигура: высокий человек с усами, лаковые сапоги, красная рубаха, шинель в накидку

и белая форменная фуражка. Я, не помня себя от радости, подбегаю к нему:

— Папа, здравствуй!

Он поднял вверх руки и на всю улицу хохочет:

— Ах, чорт тебя дери! Вот так мундир! Ну и молодчик!

Мы обнялись, поцеловались и пошли к нему в номер.

— Я только что приехал и тебя искать пошел.

Отец меня осматривал, ощупывал, становил рядом с собой перед зеркалом и любовался:

— Ну и молодчик!

Заказали завтрак, подали водки и вина.

—Я уже обедал. Сейчас на работу... Пойдем вместе!

— Ну, это ты брось. Поедем домой. Покажись дома, а там поезжай куда хочешь. Держать тебя не буду. Ведь ты и без всякого вида живешь?

— На что мне вид! Твоей фамилии я не срамлю, я здесь Алексей Иванов.

— Умно. Ну, закусим да и поедем.

Я в чистом номере, чистый, — в перспективе поездка на пароходе, — чего я еще не испытывал и о чем мечтал.

— Ладно, поедем. Только сбегаю, прощусь с товарищами, славные ребята, да возьму скарб из мурьи.

— Плюнь на скарб! Товарищи не хватятся, подумают, что сбежал или от холеры умер.

— Там у меня сотенный билет в кафтане зашит.

— Ну и оставь его товарищам на пропой души. Добром помянут. А пока пойдем в магазин купить платье.

Пошли. Отец заставил меня снять кобылку. Я запрятал ее под диван и вышел в одной рубахе. В магазине готового платья купил поддевку, но отцу я заплатить не позволил — у меня было около ста рублей денег. Закусив, мы поехали на пароход «Велизарий», который уже дал первый свисток. За полчаса перед тем ушел «Самолет».

Вдруг отец вспомнил, входя на пароход:

— А ведь красную жилетку твою забыли!.. Куда ты ее засунул? Я не видал...

— Да под диван.

— Экая жалость! На век бы сохранил дорогую память.

Мы сидели за чаем на палубе. Разудало засвистал третий. Видим, с берега бежит офицер в белом кителе, с маленькой сумочкой и шинелью, переброшенной через руку. Он ловко перебежал с пристани на пароход по одной сходне, так как другую уже успели отнять. Поздоровавшись с капитаном за руку, он легко влетел по лестнице на палубу — и прямо к отцу. Поздоровались. Оказались старые знакомые.

— Садитесь, капитан, чай пить.

— С удовольствием... Никак отдышаться не могу... Опоздал... И вот пришлось ехать на этом проклятом «Велизарии»... А я торопился на «Самолет». Никогда с этим купцом не поехал бы... Жизнь дороже.

— А что?

— Не знаете?

В это время был подан третий стакан для чаю. Отец нас познакомил:

— Капитан Егоров.

Продолжался разговор о «Велизарии». Оказывается, что пароход принадлежит купцу Тихомирову, который, когда напьется, сгоняет капитана с рубки и сам командует пароходом, и во что бы то ни стало старается догнать и перегнать уходящий из Рыбинска «Самолет» на полчаса раньше по расписанию, и бывали случаи, что догонял и перегонял, одновременно приводя в ужас несчастных пассажиров.

— Шуруй! Сала в топку! Шуруй!

Неистово орет с капитанского мостика.

Пароход содрогается от непомерного хода, — а он все орет:

— Шуруй! сала в топку!

На его счастье оказалось, что Тихомиров накануне остался в Ярославле, и пассажиры успокоились...

Мы мило беседовали. Отец рассказал капитану, что мы были в гостях в имении, и, указав на меня, сказал:

— Все лето рыбачил да охотился сынок-то, видите, каким арабом стал.

И тут же добавил, что я вышел из гимназии и не знаю еще, куда определиться.

— Да поступайте же к нам в полк, в юнкера.... Из вас прекрасный юнкер будет. И к отцу близко — в Ярославле стоим.

После недолгих разговоров, тут же было решено, что мы остановимся в Ярославле, и завтра же Егоров устроит мое поступление.

— Вот и хорошо, что вы опоздали на «Самолет», а то я никогда и не думал быть военным — сказал я.

— Кисмет! — улыбнулся Егоров.

Он служил прежде на Кавказе и любил щегольнуть словечком.

— Да-с, Кисмет! По турецки значит — судьба.

Кисмет! Подумал и я, и часто потом вспоминал это слово:

— Кисмет!

***

Я сидел один на носу парохода и смотрел на каждое еще так недавно исшаганное местечко, вспоминал всякую мелочь, и все время неотступно меня преследовала песня бурлацкая:

Эх, матушка Волга,
Широка и долга
Укачала — уваляла,
Нашей силушки не стало...

И свои кое-какие стишинки мерцали в голове... Я пошел в буфет, добыл карандаш, бумаги, и сидя на якорном канате — отец и Егоров после завтрака ушли по каютам спать — переживал недавнее и писал строку за строкой мои первые стихи, если не считать гимназических шуток и эпиграмм на учителей... А в промежутки между написанным неотступно врывалось —

Укачала — уваляла,
Нашей силушки не стало...

Элегическое настроение иногда сменялось порывом. Я вскакивал, прыгал наверх к рулевому, и в голове бодро звучало:

— Белый пудель шаговит, шаговит...

И далее, в трудные миги моей жизни, там, где требовался под'ем порыва, звучал бодряще «белый пудель» и зажигал, а «черный пудель» требовал упорства и поддерживал настроение порыва...

— Вот здесь, в тальниках, под песчаной осыпью схоронили вятского паренька... Вот тут тоже закопали... Видишь знакомые места и что-то неприятное в голове... Не сообразить... А потом опять звучит: «Черный пудель шаговит, шаговит...»

С упорством черного пуделя я добивался во время путины, на переменах и ночевках у всех бурлаков — откуда взялся этот черный пудель. Никто не знал. Один ответ.

— Испокон так поют.

— Я еще ее молодым певал, — подтвердил седой Кузьмич, чуть не столетний, беззубый и шамкающий. Он еще до Наполеона в лямке хаживал и со всеми старыми разбойничьими атаманами то дрался за хозяйское добро, то дружил, как с Репкой, которого уважал за правду. И теперь он, бывший судовой приказчик, каждую путину от Утки-Майны до Рыбинска ходил на расшиве. Он только грелся

на солнышке и радовался всему знакомому кругом. Старик-хозяин, у отца которого еще служил Кузьмич и всю жизнь у него, брал его, одинокого, с собой в путину, потому что лучшего удовольствия доставить ему нельзя было. Назад из Рыбинска до Утки-Майны оба старика спускались в лодке, так как грехом считали ездить «на нечистой силе, пароходе, чортовой водяной телеге, колеса на которой кругят души грешных утопленников».

***

— Так искони веки вечинские пуделя пели! Уж оченно подручно — белый — рванешь, черный — устроишься... И пойдешь, и пойдешь, и все под ногу.

— Так, но меня интересует самое слово пудель. Почему именно пудель, а не лягаш, не мордаш, не волкодав...

— Потому что мордаши медведей рвут за причинное место, волкодавы волков давят... У нашего барина такая охота была... То собаки, — а это пудель.

— Да ведь пудель тоже собака, говорю.

— Ка-ак?.. А ну-ка, скажи еще... Я не дослышал...

Разговор происходил в яркий солнечный полдень. На горячем песке грел свои старые кости Кузьмич, и с нами сидел его старый друг Костыга и бывалый Улан. Улан курил трубку, мы с Костыгой табачок костромской понюхивали, а раскольник Кузьмич сторонился дыму от трубки — «нечистому ладан возжигаешь» — говорил Улану, а нам замечал, что табак — сатанинское зелье, за которое нюхарям на том свете дьяволы ноздри повыжгут и что этого зелья даже пес не нюхает... С последним я согласился, и повторил старику, что пудель — это собака, порода такая. Оживился старик, задергался весь и говорит:

— Врешь ты все! Наша песня исконная, родная... А ты ко псу применяешь. Грех тебе!

— Что-то, Алеша, ты заливаешь. Как это, песня — и пес? — сказал Костыга.

Но меня выручил Улан и доказал, что пудель — собака.

И уж очень грустил Кузьмич:

— Вот он грех-то! Как нечистой-то запутал! Про пса смердящего пели, — а не знали...

Потом встрепенулся.

— Врешь ты все... — и зашамкал, помня мотив:

«Белый пудель шаговит...».

И снова отдохнув, перешел на собачью тему:

— Вот Собака-барин, так это был. И сейчас так перемена зовется, к Костроме туда, Собака-барин.

— Кто не знает Собаку-барина!

Старики-бурлаки еще помнили Собаку-барина. Называли даже его фамилию. Но я ее не упомнил, какая-то неяркая. Его имение было на высоком берегу Волги, между Ярославлем и Костромой. Помещик держал псарню и на проходящих мимо имения бурлаков спускал собак. Его и прозвали собака-барин, а после него кличка так и осталась: Перемена — Собака-барин.

***

Я писал, отрывался, вспоминал на переменах, как во время дневки мы помогали рыбакам тащить невод, получали ведрами за труды рыбу и варили «юшку»... Все вспоминалось, и лились стихи строка за строкой, пока не подошел проснувшийся отец, а с ним и капитан Егоров. Я их увидал издали и спрятал бумагу в карман.

После, уже в Ярославле, при расставаньи с отцом, когда дело поступления в полк было улажено, а он поехал в Вологду за моими бумагами, я отдал ему оригинал моего стихотворения «Бурлаки», написанного на «Велизарии».

Грубовато оно было, слишком специально, много чисто бурлацких слов. Я тогда и не мечтал, что когда-нибудь оно будет напечатано. Отдал отцу — и забыл его. Только лет через восемь я взял его у отца, поотделал слегка, и в 1882 г. напечатал в журнале «Москва», дававшем в этот год премию — картину «Бурлаки на Волге».

А когда в 1893 году я издавал «Забытую тетрадь», мой первый сборник стихов, эти самые «Бурлаки» по цензурным условиям были из'яты и появились в следующих изданиях «Забытой тетради»...

Отец остался очень доволен, а его друзья, политические ссыльные, братья Васильевы, переписывали стихи и прямо поздравляли отца и гордились тем, что он пустил меня в народ, первого из Вологды... Потом многие ушли в народ, в том числе и младший Васильев, Александр, который был арестован и выслан в Архангельский уезд, куда-то к Белому морю...

* * *

Потом какой-то критик, разбирая «Забытую тетрадь» и расхваляя в ней лирику, выругал «Бурлаков»: «Какая-то рубленая грубая проза с неприятными словами, чтобы перевести которые надо бурлацкий лексикон издать...»

Отец просил меня, расставаясь, подробно описать мою бурлацкую жизнь и прислать ему непременно, но новые впечатления отодвинули меня от всякого писания, и только в 1874 году я отчасти исполнил желание отца. Летом 1874 года, между Костромой и Нижним, я сел писать о бурлаках, но сейчас же перешел на более свежие впечатления. Из бурлаков передо мной стоял величественный Репка и ужасы только что оставленного мной белильного завода.

Но писать правду было очень рискованно, о себе писать прямо-таки опасно, и я мои переживания изложил в форме

беллетристики: — «Обреченные», рассказ из жизни рабочих. Начал на пароходе, а кончил у себя в нумеришке, в Нижнем на ярмарке, и послал отцу с наказом никому его не показывать. И понял отец, что Луговский — его «блудный сын» и написал он это мне. В 1882 году, прогостив рождественские праздники в родительском доме, я взял у него этот очерк и целиком напечатал его в «Русских Ведомостях» в 1885 году.

***

Это было мое первое произведение, после которого до 1881 года, кроме стихов и песен, я не писал больше ничего.

Да и до писанья ли было в той кипучей моей жизни.

Началось с того, что надев юнкерский мундир, я даже отцу писал только по нескольку строк, а казарменная обстановка не позволила бы писать, если и хотелось бы.

Да и не хотелось тогда писать.

Да и до того ли было! Взять хоть полк. Ведь это был 1871 год, а в полку не то, что солдаты, и мы, юнкера, и понятия не имели, что идет Франко-прусская война, что в Париже коммуна... Жили своей казарменной жизнью и, кроме разве как в трактир, да и то редко, никуда не ходили, нигде не бывали, никого не видали, а в трактирах в те времена ни одной газеты не получалось — да и читать их все равно никто бы не стал...

ГЛАВА III

В ПОЛКУ

Житье солдатское. Офицерство. Казармы. Юнкера. Подпоручик Ярилов. Подземный карцер. Словесность. Крендель в шубе. Порка. Побег Орлова. Юнкерское училище в Москве. Ребенок в Лефортовском саду. Отставка.

Я был принят в полк вольноопределяющимся 3 сентября 1871 года. Это был год военных реформ: до сего времени были в полках юнкера с узенькими золотыми тесемками вдоль погон и унтер-офицерскими галунами на мундире. С этого года юнкеров переименовали в вольноопределяющихся, им оставили галуны на воротнике и рукавах мундира, а вместо золотых продольных на погонах галунов, нашили из белой тесьмы поперечные басончики. Через два года службы вольноопределяющихся отсылали в Москву и Казань в юнкерские училища, где снова им возвращали золотые басоны. В полку вольноопределяющиеся были на правах унтер-офицеров: их не гоняли на черные работы, но они несли всю остальную солдатскую службу полностью и первые три месяца считались рядовыми, а потом правили службу младших унтер-офицеров. В этом же году в полку заменили шестилинейные винтовки, заряжавшиеся с дула, винтовками системы Крнка, которые заряжались в казенной части. Затем уничтожили наспинные ранцы из телячьей шкуры, мехом вверх, на которых прежде в походе накатывались свернутые толстым жгутом шинели, что было и тяжело, и гро-

моздко, и неудобно. Их заменили холщевыми сумами, через правое плечо, а шинель стали скатывать и надевать хомутом через левое плечо. Кроме того, заменили жестяные манерки для воды, прикреплявшиеся сзади ранца, медными котелками с крышкой, в которых можно было даже щи варить. Вооружение вводилось не сразу: у некоторых батальонов были еще ружья, заряжавшиеся с дула, «на восемь темпов».

И вот я в полку. Был назначен в шестую роту капитана Вольского, отличавшегося от другого офицерства необычайной мягкостью и полным отсутствием бурбонства. Его рота была лучшая в полку, и любили его солдаты, которых он никогда не отдавал под суд и редко наказывал, так как наказывать было не за что. Бывали самовольные отлучки, редкие случаи пьянства, но буйств и краж не было. По крайней мере за все время моей службы у Вольского ни один солдат им не был отдан под суд. Он как-то по особенному обращался с ротой. Был такой случай: солдатик Велиткин спьяна украл у соседа по нарам, новобранца Уткина, кошелек с двумя рублями. Его поймали с поличным, фельфебель написал уже рапорт об отдании его под суд и аресте, который вечером и передал для подписи командиру роты. В восемь часов утра Вольский вошел как всегда в казарму, где рота уже выстроилась с ружьями перед выходом на ученье. При входе фельдфебель командовал: «Смирно». «Глаза направо».

— Здорово, ребята, кроме Велиткина!

— Здравия желаем — ваше благородие... — весело отчеканила рота, не разобрав в чем дело.

Как аукнется, так и откликнется. Вольский всегда здоровался веселым голосом, и весело ему они отвечали. Командир полка Беляев, старый усталый человек, здоровался глухо, протяжно:

— Здор-ово, ребята, нежинцы.

— Здраю желаем, васка-бродие...

Невольно в тон отвечал ему полк глухо и без солдатской лихости.

Вышла рота на ученье на казарменный плац. После ружейных приемов и построений рота прошла перед Вольским развернутым фронтом.

— Хорошо, ребята! Спасибо всем, кроме Велиткина.

На вечернем учении повторилось то же. Рота поняла в чем дело. Велиткин пришел с ученья туча-тучей, лег на нары лицом в соломенную подушку и на ужин не ходил. Солдаты шептались, но никто ему не сказал слова. Дело начальства наказывать, а смеяться над бедой, грех — такие были старые солдатские традиции. Был у нас барабанщик, невзрачный и злополучный с виду, еврей Шлема Финкельштейн. Его перевели к нам из пятой роты, где над ним издевались командир и фельдфебель, а здесь его приняли как товарища.

Выстроил Вольский роту, прочитал ей подходящее нравоучение о равенстве всех носящих солдатский мундир, и слово «жид» забылось, а Финкельштейна, так как фамилию было трудно выговаривать, все солдаты звали ласково: Шлема.

Надо сказать, что Шлема был первый еврей, которого я в жизни своей видал: в Вологде в те времена не было ни одного еврея, а в бурлацкой ватаге и среди крючников в Рыбинске и подавно не было ни одного.

Велиткин лежал целый день. Наконец, в девять часов обычная поверка. Рота выстроилась. Вошел Вольский.

— Здорово, шестая рота, кроме Велиткина!

— Здравия желаем, ваше благородие...

Велиткин, высокого роста, стоял на правом фланге третьим, почти рядом с ротным командиром. Вдруг он вырвался из строя и бросился к Вольскому. Преступление страшней-

шее, караемое чуть не расстрелом. Не успели мы прийти в себя, как Велиткин упал на колени перед Вольским и слезным голосом взвыл:

— Ваше благородие, отдайте меня под суд, пусть расстреляют лучше!

Улыбнулся Вольский.

— Встань. Отдавать тебя под суд я не буду. Думаю, что ты уже исправился.

— Отродясь, ваше благородие, не буду, простите меня!

— Проси прощения у того, кого обидел.

— Он, ваше благородие, больше не будет, — он уже плакал передо мной, — ответил из фронта Уткин.

— Прощаю и я. Марш во фронт! — а потом обратился к нам:

— Ребята, чтоб об этом случае забыть, будто никогда его и не было. Да чтоб в других ротах никто не знал!

Впоследствии Велиткина рота выбрала артельщиком для покупки мяса и приварка для ротного котла, а потом он был произведен в унтер-офицеры.

Этот случай, бывший вскоре после моего поступления, как-то особенно хорошо подействовал на мою психику, и я исполнился уважения и любви к товарищам солдатам.

Слово «вольноопределяющийся» еще не вошло в обиход, и нас все звали по-старому юнкерами, а молодые офицеры даже подавали нам руку. С солдатами мы жили дружно, они нас берегли и любили, что проявлялось в первые дни службы, когда юнкеров назначали начальниками унтер-офицерского караула в какую-нибудь тюрьму или в какое-нибудь учреждение. Здесь солдаты учили нас, ничего не знавших, как поступать и никогда не подводили.

Юнкеров в нашей роте было пятеро. Нам отвели в конце казармы нары, отдельные, за аркой, где с нами вместе помещались также четыре старших музыканта из музыкант-

ской команды и барабанщик Шлема, который привязался к нам и исполнял все наши поручения, за что в роте его и прозвали «юнкарский камчадал». Он был весьма расторопен и все успевал делать, бегал нам за водкой, конечно, тайно от всех, приносил к ужину тушоной картошки от баб, сидевших на корчагах, около ворот казармы, умел продать старый мундир или сапоги на толкучке, пришить пуговицу и починить штаны. Платье и сапоги мы должны были чистить сами, это было требование Вольского. Помещались мы на нарах, все вповалку, каждый над своим ящиком в нарах, аршина полтора шириной. У некоторых были свои присланные из дома подушки, а другие спали на тюфяках, набитых соломой. Одеяла были только у тех, кто получал их тоже из дома, да и то они то исчезали, то снова появлялись. Шлема по нашей просьбе иногда закладывал их и снова выкупал. Когда не было одеял, мы покрывались, как и все солдаты, у которых одеял почти не было, своими шинелями.

— Солдатик, ты на чем спишь?

— На шинели.

— А укрылся чем?

— Шинелью.

— А в головах у тебя что?

— Шинель.

— Дай мне одну, я замерз.

— Да у меня всего одна!

Никто из нас никогда не читал ничего, кроме гарнизонного устава. Других книг не было, а солдаты о газетах даже и не знали, что они издаются для чтения, а не для собачьих ножек под махорку, или для завертывания селедок.

Интересы наши далее казарменной жизни не простирались. Из всех нас был только один юноша, Митя Денисов, который имел в городе одинокую старушку бабушку, у которой и проводил все свободное время и в наших выпивках

и гулянках не участвовал. Так и звали его красной девушкой. Мы еще ходили иногда в трактиры, я играл на билиарде, чему выучился еще у дяди Разнатовского в его имении. В трактирах тогда тоже не получалось газет, и я за время службы не прочитал ни одной книги, ни одного журнала. В казарму было запрещено приносить журналы и газеты, да никто ими и не интересовался. В театр ходить было не на что, а цирка в эти два года почему-то не было в Ярославле. Раз только посчастливилось завести знакомство в семейном доме, да окончилось это знакомство как-то уж очень глупо.

На Власьевской улице, в большом двухэтажном доме жила семья Пуховых. Сам Пухов, пожилой чиновник и брат его — помощник капитана на Самолетском пароходе, служивший когда-то юнкером. Оба рода дворянского, но простые, гостеприимные, особенно младший, Федор Федорович, холостяк, любивший и выпить, и погулять. Дом, благодаря тому, что старший Пухов был женат на дочери петербургского сенатора, был поставлен по-барски и попасть на вечер к Пуховым, а они давались раза два в год для невыданных замуж дочек — было нелегко. Федя Пухов принимал нас, меня, Калинина и Розанова, бывшего семинариста, очень красивого и ловкого. Мы обыкновенно сидели внизу у него в кабинете, а Розанов играл на гитаре и подпевал басом. Были у него мы три раза, а на четвертый не пришлось. В последний раз мы пришли в восемь часов вечера, когда уже начали в дом с'езжаться гости на танцовальный вечер для барышень. Все-таки Федя нас не отпустил:

— Пусть они там пируют, а мы здесь посидим.

Сидим, пьем, играем на гитаре. Вдруг спускается сам Пухов.

— Господа, да что же вы танцовать не идете? Пойдемте!

— Мы не танцуем.

— Да и притом видите, какие у нас сапоги? Мы не пойдем.

Так и отказались, а были уже на втором взводе.

— А вы танцуете? — спросил он Розанова, взглянув на его чистенький мундирчик, лаковые сапоги и красивое лицо.

— Немного, кадриль знаю.

— Ну вот на кадриль нам и нехватает кавалеров.

Увел. Розанов пошел, пошатываясь. Мы сидим, выпиваем. Сверху пришли еще два нетанцующих чиновника, приятели Феди. Вдруг стук на лестнице. Как безумный влетает Розанов, хватает шапку, надевает тесак и испуганно шепчет нам:

— Бежим скорее, беда случилась!

И исчез.

Мы торопливо, перед изумленными чиновниками, тоже надели свои тесаки и брали кепи, как вдруг с хохотом вваливается Федя.

— Что такое случилось? — спрашиваю.

— Да ничего особенного. Розанов спьяна надурил... А вы снимайте тесаки, ничего... Сюда никто не придет.

— Да в чем же дело?

— В фанты играли... Соня загадывала первый слог, надо ответить второй. А он своим басом на весь зал рявкнул такое, что ха-ха-ха!

И закатился.

Мы ушли и больше не бывали. А Розанов, которому так нравилась Соня, оправдывался:

— Загляделся на нее, да и сам не знаю, что сказал, а вышло здорово, в рифму... Рядом со мной стоял шпак во фраке. Она к нему, говорит первый слог, он ей второй, она ко мне, другой задает слог, я и сам не знаю, как я ей ахнул тот же слог, что он сказал... Не подходящее вышло. Я бегом из зала!

***

Рота вставала рано. В пять часов утра раздавался голос дневального:

— Шоштая рота вставай!

А Шлема Финкельштейн наяривал на барабане утреннюю зорю. Сквозь густой пар казарменного воздуха мерцали красноватым потухающим пламенем висячие лампы с закоптелыми до-черна за ночь стеклами и поднимались с нар темные фигуры товарищей. Некоторые, уже набрав в рот воды, бегали по усыпанному опилками полу, наливали из рта в горсть воду и умывались. Дядькам и унтер-офицерам подавали умываться из ковшей над грудой опилок.

Некоторые из старых любили самый процесс умывания и с видимым наслаждением доставали из своих сундуков тканные полотенца, присланные из деревни и утирались. Штрафованный солдатик Пономарев, пропивавший всегда все, кроме казенных вещей, утирался полой шинели или суконным башлыком. Полотенца у него никогда не было...

— Ишь, лодырь, полотенца собственного своего не имеет, — заметил ему раз взводный.

— Так что, где же я возьму, Трифон Терентьич? Из дому не получаю денег, а человек я не мастеровой.

— Лодырь ты, дармоед, вот что. У исправного солдата всегда все есть; хоть Мошкина взять для примеру.

Мошкин, солдатик из пермских, со скопческим, безусым лицом, встал с нар и почтительно вытянулся перед взводным.

— Мошкин от нас же наживается, по пятаку с гривенника проценты берет... А тут на девять-то гривен жалованья в треть, да на две копейки банных не разгуляешься...

— Не разгуляешься! — поддержал Ежов.

Ежов считался в роте «справным» и «занятным» солдатом. Первый эпитет ему прилагали за то, что у него все

было чистенькое, и мундир, кроме казенного, срочного, свой имел, и законное число белья и пар шесть портянок. На инспекторские смотры постоянно одолжались у него, чтобы для счета в ранец положить, ротные бедняки, вроде Пономарева, и портянками и бельем. «Занятным» называли Ежова унтер-офицеры за его способность к фронтовой службе, к гимнастике и словесности, обыкновенно плохо дающиеся солдатам.

— Садись на словесность! — бывало командует взводный офицер из кантонистов, дослужившийся годам к пятидесяти до поручика, Иван Иванович Ярилов.

И садится рота кто на окно, кто на нары, кто на скамейки.

— Матюхин, что есть солдат?

— Солдат есть имя общее, именитое, солдат всякий носит от анирала до рядового... — вяло мнется Матюхин и замолкает.

— Врешь, дневальным на два наряда!

— Что есть солдат? Пономарев?

— Солдат есть имя общее, знаменитое, носит имя солдата... — весело отчеканивает спрашиваемый.

— Врешь! Не носит имя солдата, а имя солдата носит.

— Ежов, что есть солдат?

— Солдат есть имя общее, знаменитое, имя солдата носит всякий военный служащий от генерала до последнего рядового.

— Молодец!

Далее следовали вопросы, что есть присяга, часовой, знамя и, наконец, сигналы. Для этого призывался горнист, который дудил в рожок сигналы, а Ярилов спрашивал поочередно, какой сигнал что значит и заставлял спрашиваемого проиграть его на губах, или спеть его словами.

— Сурков, играй наступление! Раз, два, три! — хлопал в ладоши Ярилов.

— Та-ти-та-та, та-ти-та-та, та-ти-та-ти-та-ти-та-та-та!

— Верно, весь взвод!

И взвод поет хором: «За царя и Русь святую уничтожим мы любую рать врагов!» Если взвод пел верно, то поручик, весь сияющий, острил:

— У нас, ребята, при Николае Павлыче так певали: «У тятеньки, у маменьки просил солдат говядинки, дай, дай, дай»! Взвод хохотал, а старик не унимался, он каждый сигнал пел по-своему.

— А ну-ка, ребята, играй четвертой роте.

Та-та-ти-а-тат-та-да-да!

— Словами!

— Вот зовут четвертый взвод, — поют солдаты.

— А у нас так пели: «Наста-ссия — попадья», а то еще: «отрубили кошке хвост!»

Смеется, ликует, глядя на улыбающихся солдат.

Одного не выносил Ярилов — это, если на заданный вопрос солдат молчал.

— Ври, да говори!—требовал он.

Из-за этого «ври да говори» бывало не мало курьезов. Солдаты сами иногда молчали, рискуя сказать невпопад, что могло быть опаснее, чем дежурство не в очередь или стойка на прикладке. Но это касалось собственно перечислений имен царского дома и высшего начальства, где и сам Ярилов требовал ответа без ошибки и подсказывал даже, чтобы не получилось чего-нибудь вроде оскорбления величества.

— Пономарев! Кто выше начальника дивизии.

— Командующий войсками Московского округа, — чеканит ловкий солдат.

— А кто он такое?

— Его превосходительство.

— Генерал ад'ютант, генерал лейтенант...

— Ну?.. Не знаешь?

— Знаю, до по-нашему, по-русски.

— Ну!

— Генерал ад'ютант, генерал лейтенант...

— Ну!

— Крендель в шубе!

Уж через много лет, будучи в Москве я слыхал, что Гильденштуббе называли именно так, как окрестил его Пономарев: — Крендель в шубе!

***

За словесностью шло фехтование на штыках, после которого солдаты, спускаясь с лестницы, держались за стенку, ноги не гнутся! Учителем фехтования был прислан из учебного батальона унтер-офицер Ермилов, великий мастер своего дела.

— Помни, ребята, — об'яснял Ермилов на уроке, — ежели к примеру фихтуешь, так и фихтуй умственно, потому фихтование в бою — вещь есть первая, а, главное, помни, что колоть неприятеля надо на полном выпаде, в грудь, коротким ударом, и коротко назад из груди у его штык вырви... Помни: из груди коротко назад, чтоб ен рукой не схватил... Вот так! Р-раз—полный выпад и р-раз— коротко назад. Потом р-раз-два! р-раз-два! ногой коротко притопни, устрашай его, неприятеля, р-раз-д-два!

А у кого неправильная боевая стойка, Ермилов из себя выходит:

— Чего тебя скрючило? Живот что ли болит, сиволапый! Ты вольготно держись, как генерал в карете развались, а ты, как баба над подойником... Гусь на проволоке!

**
*

Мы жили на солдатском положении, только пользовались большей свободой. На нас смотрело начальство сквозь пальцы, ходили в трактир играть на биллиарде, удирая после поверки, а порою выпивали. В лагерях было строже. Лагерь был за Ярославлем, на высоком берегу Волги, наискосок от того места за Волгой, где я в первый раз в бурлацкую лямку впрегся.

Не помню, за какую проделку я попал в лагерный карцер. Вот мерзость! Это была глубокая яма в три аршина длины и два ширины, вырытая в земле, причем стены были земляные, не обшитые даже досками, а над ними небольшой сруб, с крошечным окошечком на низкой-низкой дверке. Из крыши торчала деревянная труба-вентилятор. Пол состоял из нескольких досок, хлюпавших в воде, на нем стояли козлы с деревянными досками и прибитым к ним поленом — постель и подушка. Во время дождя и долго после по стенам струилась вода, вылезали дождевые черви и падали на постель, а по полу прыгали лягушки.

Это наказание называлось — строгий карцер. Пища — фунт солдатского хлеба и кружка воды в сутки. Сидели в нем от суток до месяца,—последний срок по приговору суда. Я просидел сутки в жаркий день после ночного дождя, и ужас этих суток до сих пор помню. Кроме карцера суд присуждал еще иногда к порке. Последнее, — если провинившийся солдат состоял в разряде штрафованных. Штрафованного мог наказывать десятью ударами розог ротный, двадцатью пятью — батальонный, и пятидесятью — командир полка в дисциплинарном порядке.

Вольский никогда никого не наказал, а в полку были ротные, любители этого способа воспитания. Я раз присут-

ствовал на этом наказании, по суду, которое в полку называлось конфирмацией.

***

Орлов сидел под арестом, присужденный полковым судом к пятидесяти ударам розог «за побег и промотание казенных вещей».

— Уж и вешши: рваная шинелишка, вроде облака, серая, да скрозная, и притупея еще перегорелой кожи! — об'яснял наш солдат, конвоировавший в суд Орлова.

Побег у него был первый, а самовольных отлучек не перечтешь:

— Опять Орлов за водой ушел, — говорили солдаты.

Обыкновенно он исчезал из лагерей. Зимой это был самый аккуратный служака, но чуть лед на Волге прошел, — заскучает, ходит из угла в угол, мучится, а как перешли в лагерь, — он недалеко от Полушкиной рощи, над самой рекой, — Орлова нет, как нет. Дня через три-четыре явится веселый, отсидит, и опять за службу. Последняя его отлучка была в прошлом году, в июне. Отсидел он две недели в подземном карцере, и прямо из-под ареста вышел на стрельбу. Там мы разговорились.

— Куда же ты отлучался, запил где-нибудь?

— Нет, прост так, водой потянуло: вышел после учения на Волгу, сижу на бережку под лагерем... Пароходики бегут — посвистывают, баржи за ними ползут, на баржах народ кашу варит, косовушки парусом мелькают... Смолой от снастей потягивает... А надо мной в лагерях барабан: «Тра-та-та, тра-та-та», по пустому-то месту!.. И пошел я вниз по песочку, как матушка Волга бежит... Иду да иду... Посижу, водички попью — и опять иду... «Тра-та-та, тра-та-та», еще в ушах в памяти, а уж и города давно не видать, и солнышко в воде тонет, всю Волгу вызолотило... Остано-

вился, и думаю: на поверку опоздал, все равно, до утра уж, ответ один... А на бережку на песочке, огонек — ватага юшку варит. Я к ним: «Мир беседе, рыбачки честные»... Подсел я к казану... А в нем так белым ключом и бьет!.. Ушицы похлебали... Разговорились: так, мол, и так, дальше — больше, да четыре дня и ночи и проработал я у них. Потом вернулся в лагерь, фельдфебелю две стерлядки и налима принес, да на грех на Шептуна наткнулся: «Что это у тебя? Откуда рыба? Украл?..» Я ему и покаялся. Стерлядок он отобрал себе, а меня прямо в карцыю. Чего ему только надо было, ненавистному!

***

И не раз бывало это с Орловым — уйдет дня на два, на три; вернется тихий да послушный, все вещи целы — ну, легкое наказание; взводный его, Иван Иванович Ярилов, душу солдатскую понимал, и все по хорошему кончалось, и Орлову дослужить до бессрочного только год оставалось.

И вот завтра его порют. Утром мы собрались во второй батальон на конфирмацию. Солдаты выстроены в каре, — оставлено только место для прохода. Посередине две кучи длинных березовых розог, перевязанных пучками. Придут офицеры, взглянут на розги и выйдут из казармы на крыльцо. Пришел и Шептун. Сутуловатый, приземистый, исподлобья взглянул он своими неподвижными рыбьими глазами на строй, подошел к розгам, взял пучок, свистнул им два раза в воздухе и, бережно положив, прошел в фельдфебельскую канцелярию.

— Злорадный этот Шептун. И чего только ему надо везде нос совать.

— Этим и жив, носом да язычком: нанюхает и к начальству... С самим начальником дивизии знаком!

— При милости на кухне задом жар раздувает!

— А дома, — денщики сказывают, — хуже аспида, поедом ест, всю семью измурдовал...

Разговаривала около нас кучка капральных.

— Смирр-но! — загремел фельдфебель.

В подтянувшееся каре вошли ефрейторы и батальонный командир, майор — «Кобылья Голова», общий любимец, добрейший человек, из простых солдат. Прозвание же ему дали солдаты в первый день, как он появился перед фронтом, за его длинную лошадиную голову. В настоящее время он исправлял должность командира полка. Приняв рапорт дежурного, он приказал ротному:

— Приступите, но без особых церемоний и как-нибудь поскорее!

Двое конвойных с ружьями ввели в середину каре Орлова. Он шел, потупившись. Его широкое, сухое, загорелое лицо, слегка тронутое оспой, было бледно. Несколько минут чтения приговора нам казались бесконечными. И майор, и офицеры старались не глядеть ни на Орлова, ни на нас. Только ротный капитан Ярилов, дослужившийся из кантонистов и помнивший еще «сквозь строй» и шпицрутены на своей спине, хладнокровно, без суеты, распоряжался приготовлениями.

— Ну, брат, Орлов, раздевайся! Делать нечего, — суд присудил, надо!

Орлов разделся. Свернутую шинель положил под голову и лег. Два солдатика, по приказу Ярилова, держали его за ноги, два — за плечи.

— Иван Иванович, посадите ему на голову солдата! — высунулся Шептун.

Орлов поднял кверху голову, сверкнул своими большими серыми глазами на Шептуна и дрожащим голосом крикнул:

— Не надо! Совсем не надо держать, я не пошевелюсь.

— Попробуйте, оставьте его одного, — сказал майор. Солдаты отошли. Доктор Глебов попробовал пульс и, взглянув на майора, тихо шепнул:

— Можно, здоров.

— Ну, ребята, начинай, а я считать буду, — обратился Ярилов к двум ефрейторам, стоявшим с пучками по обе стороны Орлова.

— Р-раз.

— А-ах! — раздалось в строю.

Большинство молодых офицеров отвернулось. Майор отвел в сторону красавца-бакенбардиста Павлова, командира первой роты, и стал ему показывать какую-то бумагу. Оба внимательно смотрели ее, а я, случайно взглянув, заметил, что майор держал ее вверх ногами.

— Два. Три. Четыре, — методически считал Ярилов.

Орлов закусил зубами шинель и запрятал голову в сукно. Наказывали слабо, хотя на покрасневшем теле вспухли синие полосы, лопавшиеся при новом ударе.

— Ре-же! Креп-че! — крикнул Шептун, следивший с налитыми кровью глазами за каждым ударом.

Невольно два удара после его восклицания вышли очень сильны, и кровь брызнула на пол.

— Мм-мм... гы... — раздался стон из-под шинели.

— Розги переменить! Свежие! — забыв все, вопил Шептун.

У барабанщика Шлемы Финкельштейна глаза сделались совсем круглыми, нос вытянулся и барабанные палки запрыгали нервной дробью.

— Господин штабс-капитан! Извольте отправиться под арест.

Покрасневший, с вытянутой шеей, от чего голова стала еще более похожа на лошадиную, загремел огромный майор

на Шептуна. Все замерло. Даже поднятые розги на момент остановились в воздухе и тихо опустились на тело.

— Двадцать три... Двадцать четыре... — невозмутимо считал Ярилов.

— Извольте итти за ад'ютантом в полковую канцелярию и ждать меня!

Побледневший и перетрусивший Шептун иноходью затопился за ад'ютантом.

— Слушаюсь, г. майор!.. щелкая зубами, пробормотал он, уходя.

— Что, кончили, капитан? Сколько еще?

— Двадцать три осталось...

— Ну поскорей, поскорей...

Орлов молчал, но каждый отдельный мускул его богатырской спины содрогался. В одной кучке раздался крик.

— Что такое?

— С Денисовым дурно!

Наш юнкер Митя Денисов упал в обморок. Его отнесли в канцелярию. Суматоха была кстати, — отвлекла нас от зрелища.

— Орлов, вставай, братец. Вот молодец, лихо выдержал, — похваливал Ярилов торопливо одевавшегося Орлова.

Розги подхватили и унесли. На окровавленный пол бросили опилок. Орлов, застегиваясь, помутившимися глазами кого-то искал в толпе. Взгляд его упал на майора. Полузастегнув шинель, Орлов бросился перед ним на колени, обнял его ноги и зарыдал:

— Ваше... ваше... скоблагородие... Спасибо вам, отец родной.

— Ну, оставь, Орлов... Ведь ничего... Все забыто, прошло... Больше не будешь?.. Ступай в канцелярию, ступай!

— Макаров, дай ему водки, что ли... Ну, пойдем, пойдем...

И майор повел Орлова в канцелярию. В казарме стоял гул. Отдельно слышались слова:

— Доброта, молодчина, прямо отец.

— Из нашего брата, из мужиков, за одну храбрость дослужился... Ну и понимает человека!—говорил кто-то.

Ярилов подошел и стал про старину рассказывать:

— Что теперь! Вот тогда бы вы посмотрели, что было. У нас в учебном полку по тысячи палок всыпали... Привяжут к прикладам, да на ружьях и волокут полумертвого сквозь строй, а все бей! Бывало, тихо ударишь, пожалеешь человека, а сзади капральный чирк мелом по спине, — значит, самого вздуют. Взять хоть наше дело, кантонистское, закон был такой: девять забей на смерть, десятого живым представь. Ну, и представляли, выкуют. Ах, как меня пороли!

И, действительно, Иван Иванович был выкован. Стройный, подтянутый, с нафабренными черными усами и наголо остриженной седой головой, он держался прямо, как деревянный солдатик и был всегда одинаково неутомим, несмотря на свои полсотни лет.

— А это,—что Орлов? Пятьдесят мазков!

— Мазки! Кровищи-то на полу, хоть ложкой хлебай, — донеслось из толпы солдат.

— Этак-то нас маленькими драли... Да, вы, господа юнкера, думаете, что я, Иван Иванович Ярилов? Да?

— Так точно.

— Так, да не точно. Я, братцы, и сам не знаю, кто я такой есть. Не знаю ни роду, ни племени... Меня в мешке из Волынской губернии принесли в учебный полк.

— Как в мешке?

— Да так, в мешке. Ездили воинские команды по деревням с фургонами и ловили по задворкам еврейских ребятишек, благо их много. Схватят в мешок и в фургон. Мно-

гие помирали дорогой, а которые не помрут, привезут в казарму, окрестят и вся недолга. Вот и кантонист.

— А родители-то узнавали деток?

— Родители!.. Хм... Никаких родителей. Недаром же мы песни пели: «Наши сестры — сабли востры»... И матки и батьки — все при нас в казарме... Так-то-с. А рассказываю вам затем, чтобы вы, молодые люди, помнили да и детям своим передали, как в николаевские времена солдат выколачивали... Вот у меня теперь офицерские погоны, а розог да палок я с'ел — конца краю нет... Мне об это самое место начальство праведное целую рощу перевело... Так полосовали, не вроде Орлова, которого добрая душа, майор, как сына родного обласкал... А нас, бывало, выпорют, да в госпиталь на носилках или просто на нары бросят—лежи и молчи, пока подсохнет.

— Вы ужасы рассказываете, Иван Иванович.

— А и не все ужасы. Было и хорошее. Например, наказанного никто попрекнуть не посмеет, не как теперь. Вот у меня в роте штрафованного солдатика одного фельдфебель дубленой шкурой назвал... Словом он попрекнул, хуже порки обидел... Этого у нас прежде не бывало: тело наказывай, а души не трожь!

— И фельдфебель это?

— Да, я его сменил и под арест: над чужой бедой не смейся!.. Прежде этого не было, а наказание по закону, закон переступить нельзя. Плачешь, бывало, да бьешь.

— Вот Шептун бы тогда в своей тарелке был! — заметил кто-то.

— Таких у нас бывало. Да такой и не уцелел бы. Да и у нас ему не место.

— Эй, Коля! — крикнул он Павлову.

Русые баки, освещенные славными голубыми глазами, повернулись к нему.

— Дело, брат, есть. До свиданья, молодежь моя милая.

Вокруг Ярилова и Павлова образовался кружок офицеров. Шел горячий разговор. До нас долетали отрывистые фразы:

— Итак, никто не подает ему руки.

— Не отвечать на поклон.

— Ну, что такое, — горячился Павлов, — я просто вызову его и пристрелю... Мерзавцев бить надо...

— Ненормальный он, господа, согласитесь сами, разве нормальный человек так над своей семьей зверствовать будет... — доказывал доктор Глебов.

Повашему все — ненормальный, а понашему — зловредный и мерзавец, и я сейчас посылаю к нему секундантов.

— Нет, просто руки не подавать... Выкурим...

Из канцелярии выходил довольный и улыбающийся майор. Офицеры его окружили.

***

А Орлов бежал тотчас же после наказания. Так и пропал без вести.

— За водой ушел, — как говорили после в полку.

Вспомнились мне его слова:

— На низы бы податься, к Астрахани, на ватагах поработать... Приволье там у нас, знай, работай, а кто такой ты есть, да откуда пришел, никто не спросит. Вот ежели что, так подавайся к нам туда!

Звал он меня.

И ушел он, должно, быть, за водой: как вода сверху по Волге до моря Хвалынского, так и он за ней подался...

***

Первые месяцы моей службы нас обучали маршировать, ружейным приемам. Я постиг с первых уроков всю эту не-

мудрую науку, а благодаря цирку, на уроках гимнастики показывал такие чудеса, что сразу заинтересовал полк. Месяца через три открылась учебная команда, куда поступали все вольноопределяющиеся и лучшие солдаты, готовившиеся быть унтер-офицерами. Там нас положительно замучил муштровкой начальник команды, капитан Иковский, совершенно противоположный Вольскому. Он давал затрещины простым солдатам, а ругался, как я и на Волге не слыхивал. Он ненавидел нас, юнкеров, которым не только что в рыло заехать, но еще «вы» должен был он говорить.

— Эй, вы! — крикнет, замолчит на полуслове, шевеля беззвучно челюстями, но понятно всем, что он родителей поминает.

— Эй, вы, определяющиеся! — вольно! кор-ровы!!...

А чуть кто-нибудь ошибется в строю, вызовет перед линией фронта и командует:

— На плечо! Кру-гом!... В карцер на двое суток, шагом марш! И юнкер шагает в карцер.

Его все боялись. Меня он любил, как лучшего строевика, тем более, что по представлению Вольского я был командиром полка назначен взводным, старшим капральным, носил не два, а три лычка на погонах, и за болезнью фельдфебеля Макарова занимал больше месяца его должность; но в ротную канцелярию, где жил Макаров, «не переезжал», и продолжал жить на своих нарах, и только фельдфебельский камчадал каждое утро еще до свету, пока я спал, чистил мои фельдфебельские, достаточно стоптанные, сапоги, а ротный писарь Рачковский, когда я приходил заниматься в канцелярию, угощал меня чаем из фельдфебельского самовара. Это было уже на второй год моей службы в полку.

Пробыл я лагери, пробыл вторую зиму в учебной команде, но уже в должности капрального, командовал взводом, затем отбыл следующие лагери, а после лагерей нас,

юнкеров, отправили кого в Казанское, а кого в Московское юнкерское училище. С моими друзьями: Калининым и Павловым, с которыми мы вместе прожили на нарах, меня разлучили: их отправили в Казань, а я был удостоен чести быть направленным в Московское юнкерское училище.



Вместо грязных нар в Николомокринских казармах Ярославля, я очутился в роскошном дворце Московского юнкерского училища в Лефортове и сплю на кровати с чистым бельем.

Дисциплина была железная, свободы никакой, только по воскресеньям отпускали в город до девяти часов вечера. Опозданий не полагалось. Будние дни были распределены по часам, ученье до упаду, и часто, чистя сапоги в уборной еще до свету при керосиновой коптилке, вспоминал я свои нары, своего Шлему, который, еще затемно получив от нас пятак и огромный чайник, бежал в лавочку и трактир, покупал «на две чаю, на две сахару, на копейку кипятку», и мы наслаждались перед ученьем чаем с черным хлебом.

Здесь нас ставили на молитву, вели строем вниз в столовую и давали жидкого казенного чаю по кружке с небольшим кусочком хлеба. А потом ученье, ученье целый день! Развлечений никаких. Никто из нас не бывал в театре, потому что на это, кроме денег, требовалось особое разрешение. Всякие газеты и журналы были запрещены, да, впрочем, нас они и не интересовали. На меня начальство обратило внимание, как на хорошего строевика и гимнаста и, судя по приему начальства, мечта каждого из юнкеров быть прапорщиком мне казалась достижимой.

Но как всегда в моей прежней и будущей жизни, случайность бросила меня на другую дорогу.

Я продолжал переписываться с отцом. Писал ему подробные письма, картины солдатской жизни, иногда по десять страниц. Эти письма мне потом пригодились как литературный материал. Описал я ему и училищную жизнь, и в ответ мне отец написал, что в Никольском переулке, не помню теперь в чьем-то доме, около церкви Николы Плотника, живет его добрый приятель, известный московский адвокат Тубенталь. Написал он мне, что в случае крайней нужды в деньгах я могу обратиться к нему. Нужда скоро явилась. Выпивала юнкерация здорово. По трактирам не ходили, а доставали водку завода Гревсмюль в складе, покупали хлеба и колбасы и отправлялись в глухие уголки Лефортовского огромного сада и роскошествовали на раскинутых шинелях. Покупали поочередно, у кого есть деньги, пропивали часы, вторые мундиры — жили весело. И вот, в минуту «карманной невзгоды» вспомнил я об адвокате Тубентале, и с товарищем-юнкером в одно прекрасное солнечное воскресенье отправились мы занимать деньги, на которые я задумал справить день своего рождения, 26 ноября, о чем оповестил моих друзей. Мы перешли мост, вышли на Гороховую. Как сейчас помню — горбатый старик извозчик на ободранной кляче, запряженной в «калибер», экипаж, напоминающий гитару, лежащую на четырех колесах. Я никогда еще не ездил на таком инструменте и стал нанимать извозчика в Никольский переулок, на Арбат. Но когда он запросил страшную, по нашим тогдашним средствам, сумму, то мы решили итти пешком.

— Гривенник хочешь?— рискнул мой товарищ.

— Меньше двоегривенного не поеду, — заявил извозчик, и мы пошли.

Помню, как шли по Покровке, по Ильинке, попали на Арбат. Все меня занимало, все удивляло. Я в первый раз шел по Москве. Добрались до Николы-Плотника, и, нако-

нец, я позвонил у парадного Тубенталя. Мой товарищ остался ждать на улице, а меня провели в кабинет. Любезно и мило встретил меня приятель отца, небольшой, рыжеватый человек, предложил чаю, но я отказался. Я слишком волновался, потому что решил занять огромную сумму, 25 рублей, и не знал, как решительнее сказать это. Поговорили об отце, о службе и, наконец, я прямо выпалил:

— Одолжите мне 25 рублей. Я напишу отцу, и он вышлет вам.

— Пожалуйста... Может быть больше надо, пожалуйста, не стесняйтесь...

— Нет, больше не надо.

Я чувствовал себя на седьмом небе и, получив деньги, начал прощаться.

— Погодите, позавтракайте у меня...

— Нет, меня товарищ на улице ждет.

— Так можно его позвать к нам.

— Нет, уж я пойду в училище.

Милый Тубенталь очаровал меня своей любезностью, и через четверть века вспомнил я в Москве, при встрече с ним, эту нашу первую встречу.

Бомбой выскочив из под'езда, я показал товарищу кредитку.

— Костя, живем!

— Ох, пьем! А мне уж есть хочется.

Так и не пришлось мне угостить моих приятелей 26 ноября... В этот же день, возвращаясь домой после завтрака на Арбатской площади, в пирожной лавке, мы встретили компанию возвращавшихся из отпуска наших юнкеров, попали в трактир «Амстердам» на Немецком рынке, и к 8 часам вечера от четвертной бумажки у меня в кармане осталась мелочь. Когда мы подходили к училищу, чтобы явиться к сроку, к девяти часам, я, решив, что еще есть

свободные полчаса, свернул налево и пошел в сад. Было совершенно темно, кой-где, на главной аллее изредка двигались прохожие и гуляющие, но на боковых дорожках было совершенно пусто. В голове у меня еще изрядно шумело после возлияний в трактире, и я жадно вдыхал осенний воздух в глухих аллеях госпитального старинного сада. Сделав несколько кругов, я пошел в училище, чувствуя себя достаточно освежившимся. Вдруг передо мной промелькнула какая-то фигура и скрылась направо в кустах, шурша ветвями и сухими листьями. В полной темноте я не рассмотрел ничего. Потом шум шагов на минуту затих, снова раздался и замолк в глубине. Я прислушался, остановившись на дорожке и уже двинулся из сада, как вдруг в кустах, именно там, где скрылась фигура, услыхал детский плач. Я остановился — ребенок продолжал плакать близко-близко, как показалось, в кустах около самой дорожки рядом со мной.

— Кто здесь? — окликнул я несколько раз и, не получив ответа, шагнул в кусты. Что-то белеет на земле. Я нагнулся, и прямо передо мной лежал завернутый в белое одеяльце младенец и слабо кричал. Я еще раз окликнул, но мне никто не ответил.

— Подкинутый ребенок!

Та фигура, которая мелькнула передо мной, по всей вероятности, за мной следила раньше, и сообразив, что я военный, значит, человек, которому можно доверять, в глухом месте сада бросила ребенка так, чтобы я его заметил, и скрылась. Я сообразил это сразу и, будучи вполне уверен, что подкинувшая ребенка,—бесспорно, ведь это сделала женщина, — находится вблизи, я еще раз крикнул:

— Кто здесь? Чей ребенок!

Ответа не последовало. Мне жаль стало и ребенка и его мать, подкинувшую его в надежде, что младенец на-

шедшим не будет брошен, и я взял осторожно ребенка на руки. Он сразу замолк. Я решил сделать, что мог, и держа ребенка на руках в пустынной темной аллее, громко сказал:

— Я знаю, что вы, подкинувшая ребенка, здесь, близко, и слышите меня. Я взял его, снесу в полицейскую часть (тогда участков не было, а были части и кварталы) и передам его квартальному. Слышите. Я ухожу с ребенком в часть!

И понес ребенка по глухой заросшей дорожке, направляясь к воротам сада. Ни одной живой души не встретил, у ворот не оказалось сторожа, на улицах ни полицейского, ни извозчика. Один я, в солдатской шинели с юнкерскими погонами и плачущим ребенком в белом тканьевом одеяльце на руках. Направо мост — налево здание юнкерского училища. Как пройти в часть — не знаю. Фонари на улицах не горят — должно быть по думскому календарю в эту непроглядную ночь числилась луна, а в лунную ночь освещение фонарями не полагается. Приветливо налево горели окна юнкерского училища и фонарь против под'езда. Я как рыцарь на распутьи: пойдешь в часть с ребенком—опоздаешь к поверке — в карцер попадешь; пойдешь в училище с ребенком — нечто невозможное, неслыханное — полный скандал, хуже карцера; оставить ребенка на улице или подкинуть его в чей-нибудь дом — это уже преступление.

А ребенок тихо стонет. И зашагал я к под'езду и через три минуты в дежурной комнате стоял перед дежурным офицером, с которым разговаривал ротный командир, капитан Юнаков.

Часы били девять. Держа в левой руке ребенка, я правую взял под козырек и отрапортовал:

— Честь имею явиться, из отпуска прибыл.

Оба офицера были заняты разговором. Я стою.

— Ступайте же в роту, — сказал мне дежурный.

Я повернулся налево кругом и сообарзил: снесу младенца в роту и расскажу все, как было. И уже рисовал картину, какой произведу эффект.

А другая мысль в голове: надо доложить дежурному, но при Юнакове, строгом командире, страшно. Опять на распутьи, но меня вывел из этого заплакавший младенец.

— Э-то — что? — вскрикнул Юнаков, и оба они с дежурным выразили на своих лицах удивление, будто чорта увидали.

И я рассказал все дело, как оно было. Юнаков подошел и обнюхал меня.

— Да вы пьяны.

— Никак нет, г. капитан, водку пил, но не пьян.

— Кажется не пьян, но водкой пахнет, — согласился ротный командир.

В это время в под'езд вошли два юнкера, опоздавшие на десять минут, но их Юнаков без принятия рапорта прямо послал наверх, а меня и ребенка загородил своей широкой спиной. Юнаков послал сторожа за квартальным, но потом вернул его и приказал мне:

— Раз уж вы вмешались в дело, сами и выпутывайтесь. Идите с ним в квартал... А ты осторожно неси ребенка, — приказал он сторожу.

В полиции, под Лефортовской каланчей, дежурный квартальный, расправившись с пьяными мастеровыми, которых, наконец, усадили за решетки, составил протокол «о неизвестно кому принадлежащем младенце, по видимости, мужского пола и нескольких дней от рождения, найденном юнкером Гиляровским, остановившимся по своей надобности в саду Лефортовского госпиталя и увидавшим оного младенца под кустом». Затем было написано постановление и ребенка на извозчике немедленно отправили с мушкетером в воспитательный дом.

Часа через полтора я вернулся в училище, и дежурный, по распоряжению Юнакова, приказал мне никому не рассказывать о найденном ребенке, но на другой день все училище знало об этом и хохотали до упаду. Какое-то высшее начальство поставило это на вид начальнику училища и ни с того ни с сего меня отчислили в полк «по распоряжению начальства без указания причины». Я чувствовал себя жестоко оскорбленным, и особенно мучило меня, что это был удар, главным образом, отцу. Я хотел уж из Москвы бежать в Ригу или Питер, наняться матросом на иностранное судно и скрыться за границей. Но у меня не было ни копейки в кармане, а продать было нечего. Был узелок с двумя переменами белья, и только.

Я прибыл в полк и явился к моему ротному командиру Вольскому; он меня позвал на квартиру, угостил чаем, и я ему под великим секретом рассказал всю историю с ребенком.

— Знаете что, — сказал он мне, — хоть и жаль вас, но я, собственно, очень рад, что вы вернулись, — вы у меня будете только что прибывших новобранцев обучать, а на будущий год мы вас пошлем в Казанское училище, и вы прямо поступите в последний класс,—я вас подготовлю.

Я как-то сразу утешился, а он еще аргумент привел:

— Знаете наших дядек, которых приставляют к рекрутам — ведь грубые все. Вы видали, как обращаются с рекрутами... На что уж ротный писарь Рачковский, и тот дерет с рекрутов. Мне в прошлом году жаловались: призвал рекрута из богатеньких и приказывает ему:

— Беги, купи мне штоф водки, цельную колбасу, кренделей, пару пива, четверку чаю и фунт сахару... Вот тебе деньги, — и дает копейку.

— Слушаю-сь, — отвечает рекрут, догадавшись, в чем дело, повертывается и идет, а Рачковский ему вслед:

— Не забудь рупь сдачи принести!

— Да разве он один такой! Каждый дядька так обращается с рекрутами,— они уж знают этот обычай. А я что сделаю!!

**
*

Я все-таки вышел ободренным, и пришел на свои нары. Рота меня встретила сочувственно, а Шлема даже на свои деньги купил мне водки и огурцов, чтобы поздравить с приездом.

На нарах, кроме двух моих старых товарищей, не отправленных в училище, явились еще три юнкера и мой приезд был встречен весело. Но все-таки я думал об отце, и вместе с тем засела мысль о побеге за границу в качестве матроса и мечталось даже о приключениях Робинзона. В конце концов я решил уйти со службы и «податься» в Астрахань.

ГЛАВА IV

ЗИМОГОРЫ

Без крова и паспорта. Наследство Аракчеева. Загадочный дядька. Беглый пожарный. По морозцу. Иван Елкин. Украденный половик. Починка часов. Пропитая усадьба. Опять Ярославль. Будилов притон.

Стыдно было исключенному из училища! Пошел в канцелярию, взял у Рачковского лист бумаги, и на другой день подал докладную записку об отставке Вольскому, которого я просил даже не уговаривать. Опять он пригласил меня к себе, напоил и накормил, но решение я не переменил и через два дня мне вручили послужной список, в котором была строка, что я из юнкерского училища уволен и препровожден обратно в полк за неуспехи в науках и неудовлетворительное поведение. Дали мне еще аттестат из гимназии и метрическое свидетельство и два рубля 35 копеек, причитающегося мне жалованья и еще каких-то денег...

Мне стыдно было являться в роту, и я воспользовался тем, что люди были на учебных занятиях, взял узелок с бельем и стеганую ватную старую куртку, которую в холод одевал под мундир.

Зашел в канцелярию к Рачковскому, написал письмо отцу и сказал, что поступаю в цирк.

— Куда итти? Где прожить до весны? А там в Рыбну, крючником, — решил я.

***

Я не имел права носить шинель и погоны, потому что вольноопределяющиеся, выходя в отставку, возвращались в «первобытное состояние без права именоваться воинским званием». Закусив в трактире, я пошел на базар, где сменял шинель, совершенно новую, из гвардейского сукна, сшитую мне отцом перед поступлением в училище, и такой же мундир из хорошего сукна на ватное потрепанное пальто; кепи сменял, прибавив полтину, на ватную старую шапку и, поддев вниз теплую душегрейку, посмотрел:

— Зимогор! Рвань рванью. Только сапоги и штаны с кантом новые. Куда же итти? Где ночевать? В «Русский пир» или к Лондрону и другие трактиры, вблизи казармы, до девяти часов показаться нельзя — юнкера и солдаты ходят.

Рядом с «Русским пиром» был трактир Лондрона, отставного солдата из кантонистов, любителя кулачных боев. В Ярославле часто по зимам в праздники дрались — с одной стороны, городские, с другой, фабричные, главным образом, с корзинкиной фабрики. Бойцы-распорядители собирались у Лондрона, который немало тратил денег, нанимая бойцов. Несмотря на строгость, в боях принимали участие и солдаты обозной роты, которым мирволил командир роты, капитан Морянинов, человек пожилой, огромной физической силы, в дни юности любитель боев, сожалевший в наших беседах, что мундир не позволяет ему самому участвовать в рядах; но тем не менее он вместе с Лондроном в больших санях всегда выезжал на бои, становился где-нибудь в поле на горке и наблюдал издали. Он волновался страшно, дрожал, скрежетал зубами и раз, когда городских гнали фабричные по полю к городу, он, одетый в нагольный тулуп и самоед-

скую шапку, выскочил из саней, пересек дорогу бегущим и заорал своим страшным голосом:

— Ар-рнауты! Стой! Вперед! — бросился, увлек за собой наших, и город прогнал фабричных.

Из полка ходили еще только двое: я и Ларион Орлов. Лондрон нас переодевал в короткие полушубки, Орлову платил по пять рублей в случае нашей победы, а меня угощал, верил в долг деньги и подарил недорогие, с себя, серебряные часы, когда на мостике, близ фабрики Корзинкина, главный боец той стороны, знаменитый в то время Ванька Гарный во главе своих начал гнать наших с моста, и мне удалось сбить его с ног. Когда увидали, что атаман упал, фабричные ошалели, и мы их без труда расколотили и погнали. Лондрон и Морянинов ликовали. Вот в десятом часу вечера и отправился я к Лондрону, надеясь, что даст переночевать. Это был единственный мой хороший знакомый в Ярославле. Вхожу. Иду к буфету и с ужасом узнаю от буфетчика Семена Васильевича, что старик лежит в больнице, где ему сделали операцию. Семен меня угостил ужином, я ему рассказал о своей отставке, и он мне разрешил переночевать на диване в биллиардной.

**
*

На другой день я встретился с моим другом, юнкером Павликом Калининым, и он позвал меня в казарму обедать. Юнкера и солдаты встретили меня, «в вольном платье», дружелюбно, да только офицеры посмотрели косо, сказав, что вольные в казарму шляться не должны, и формалист-поручик Ярилов, делая какое-то замечание юнкерам, указал на меня, как на злой пример:

— До зимогора достукался!

И я, действительно, стал зимогором.

Так в Ярославле и вообще в верхне-волжских городах зовут тех, которых в Москве именуют хитровцами, в Самаре — горчичниками, в Саратове — галаховцами, а в Харькове — раклами, и всюду — «золотая рота».

Пообедав с юнкерами, я ходил по городу, забегал в биллиардную Лондрона и соседнего трактира «Русский пир», где по вечерам шла оживленная игра на биллиарде в так называемую «фортунку», впоследствии запрещенную. Фортунка состояла из 25 клеточек в ящике, который ставился на биллиард, и игравший маленьким костяным шариком должен был попасть в «старшую» клетку. Играло всегда не менее десяти человек, и ставки были разные, от пятака до полтинника, иногда до рубля.

Незадолго передо мной вышел в отставку фельдфебель 8-й роты Страхов, снял квартирку в подвале в Никитском переулке со своей женой Марией Игнатьевной и ребенком и собирался поступить куда-то на место. В полку были мы с ним дружны, и я отправился в Никитский переулок, думая пока у него пожить. Прихожу и вижу каких-то баб и двух портных, мучающихся с похмелья. Оказалось, что Страхов недавно совсем выехал в деревню вместе с женой. Я дал портным двугривенный на опохмелку и выпросил себе разрешение переночевать у них ночь, а сам пошел в «Русский пир», думая встретиться с кем-нибудь из юнкеров; их в трактире не оказалось. Я зашел в биллиардную и сел между довольно-таки подозрительными завсегдатаями, «припевающими», как зовут их игроки. Потом прошел в карточную рядом с биллиардной, где играли в карты, в «банковку». И вот входит высокий, молодой щеголь, с которым я когда-то играл на биллиарде и не раз он пил вино в нашей юнкерской компании. Его приняли игроки довольно подобострастно и предложили играть, но он, взглянув, что игра

была мелкая, на медные деньги, отказался и начал всматриваться в меня. Я готов был провалиться сквозь землю, благодаря своему костюму.

— Извините, кажется, вы зимой юнкером были и мы с вами играли и ужинали?

— Да... вот в отставке...

— Бросили службу?.. Ну что же, хорошо... Вот я зашел сюда, деваться некуда и здесь тоже никого... игра дешевая... Пойдемте в общий зал... Вообще вы не ходите в эту комнату, там шулера...

И об'яснил мне тайну банковки с подрезанными картами.

Подали водку, икру. Потом солянку из стерляди и пару рябчиков.

— Приехал с завода, удрал от отца,—поразгуляться, поиграть... Вы знаете, я очень люблю игру.. Чуть-что — сейчас сюда... А сейчас я с одной знакомой дамой на денек приехал и по привычке на минутку забежал сюда.

В этот день я первый раз в жизни ел солянку из стерляди. Выпили бутылку лафита, поболтали. Я рассказал моему собеседнику, что живу у приятеля в ожидании места — и затем попрощались.

— Позвольте мне вас довезти до дома, — предложил он мне, нанимая извозчика в лучшую в городе Кокуевскую гостиницу.

— Нет, спасибо, рядом живу... Вон тут...

Он уехал, а я сунул в карман руки и... нашел в правом кармане рублевую бумажку, а в ней два двугривенных и два пятиалтынных. И когда мне успел их сунуть мой собеседник, так и до сих пор не понимаю. Но сделал это он необычайно ловко и совершенно кстати.

Я тотчас же вернулся в трактир, взял бутылку водки, в лавочке купил 2 фунта кренделей и фунт постного сахару для портных и для баб. Я пришел к ним, когда они, пере-

ругиваясь, собирались спать, но когда я портным выставил бутылку, а бабам — лакомство, то стал первым гостем.

Уснул на полу. Мне подослали какое-то тряпье, под голову баба дала свернутую шубку, от которой пахло керосином. Я долго не спал и проснулся, когда уже рассвело и на шестке кипятили чугунок для чая.

***

Утром я пошел искать какого-нибудь места, перебегая с тротуара на тротуар, или заходя во дворы, когда встречал какого-нибудь товарища по полку или знакомого офицера — солдат я не стеснялся, солдат не осудит, а еще позавидует поддевке и пальтишку — вольный стал!

***

Где-где я не был, и в магазинах, и в конторах, и в гостиницы заходил, все искал место «по письменной части». Рассказывать приключения этой голодной недели и скучно, и неинтересно: кто из людей в поисках места не испытывал этого и не испытывает теперь. В лучшем случае — вежливый отказ, а то на дерзость приходилось натыкаться:

— Шляются тут. Того и гляди, стащут что...

Наконец повезло. Возвращаюсь в город с вокзала, где мне добрый человек, услыхав мою просьбу, сказал, что без протекции и не думай попасть.

Вокзал тогда был один, Московский, и стоял, как и теперь стоит, за речкой Которослью.

От вокзала до Которосли, до американского моста, как тогда мост этот назывался, расстояние большое, а на середине пути стоит ряд одноэтажных, казарменного типа, зданий — это военная прогимназия, переделанная из школы военных кантонистов, о воспитании которых в полку нам еще капитан Ярилов рассказывал. И он такую же школу

прошел, основанную в Аракчеевские времена. Да и долго еще по пограничным еврейским местечкам ездили отряды солдат с глухими фурами и ловили еврейских ребятишек, выбирая, которые поздоровее, сажали в фуры, привозили их в города и рассылали по учебным полкам, при которых состояли школы кантонистов. Здесь их крестили, давали имя и фамилию, какая на ум придет, но, впрочем, не мудрствовали, а более называли по имени крестного отца. Отсюда много меж кантонистов было Ивановых, Александровых и Николаевых...

Воспитывали жестоко и выковывали крепких людей, солдат, ничего не признававших, кроме дисциплины. Девизом воспитания был девиз, оставленный с Аракчеевских времен школам кантонистов:

— Из десятка девять убей, а десятого представь

И выдерживали такое воспитание только люди выносливости необыкновенной.

Вот около этого здания, против которого в загородке два сторожа кололи дрова, лениво чмокая колуном по полену, которое с одного размаха расколоть можно, я остановился и сказал:

— Братцы, дайте погреться, хоть пяток полешек расколоть, я замерз.

— Ну ладно, погрейся, а я покурю.

И старый солдат с седыми баками дал мне колун, а сам закурил носогрейку.

Ну и показал я им, как колоть надо. Выбирал самые толстые, суковатые — сосновые были дрова — и пока другой сторож возился с поленом, я расколол десяток...

— Ну и здоров, брат, ты! На-ко вот, покури.

И бакенбардист сунул мне трубку и взялся за топор.

Я для виду курнул раза три и к другому:

— Давай, дядя, я еще бы погрелся, а ты покури.

— Я не курю. Я по сухопутному.

Вынул из-за голенища берестяную тавлинку, постучал указательным пальцем по крышке, ударил тремя пальцами раза три сбоку, открыл, забрал в два пальца здоровую щепоть, склонил голову вправо, прищурил правый глаз, засунул в правую ноздрю.

— А ну-ка табачку носового, вспомни дедушку Мосолова, Луку с Петром, попадью с ведром!

Втянул табак в ноздрю, наклонил голову влево, закрыл левый глаз, всунул в левую ноздрю свежую щепоть и потянул, приговаривая:

— Клюшницу Марью, птишницу Дарью, косого звонаря, пономаря-нюхаря, дедушку Якова... — и подает мне: не угощаю всякого, а тебе почет: нюхани да пэрни, узнаем, какой губерни...

Я вспомнил шутку старого нюхаря Костыги, захватил большую щепоть, засучил левый рукав, насыпал дорожку табаку от кисти к локтю, вынюхал ее правой ноздрей и то же повторил с правой рукой и левой ноздрей...

— Эге, да ты нашенский, нюхарь взаправдошной. Такого и угостить не жаль.

Подружились со стариком. Он мне рассказал, что этот табак с фабрики Николая Андреевича Вахрамеева, духовитый, фабрика вон там, недалече, за шошой, а то еще есть в Ярославле фабрика другого Вахрамеева и Дунаева, у тех табак позабористей, да не так духовит...

— Даром у меня табачок-то, на всех фабриках приятели, я к ним ко всем в гости хожу. Там все Мартыныча знают...

Я колол дрова, а он рассказывал, как прежде сам табак из махорки в деревянной ступе ухватом тер, что, впрочем, для меня не новость. Мой дед тоже этим занимался, и рецепт его удивительно вкусного табака у меня до сей поры цел.

— А ты сам откелева?

— Да вот места ищу, прежде конюхом в цирке был.

— А сам по цирковому ломаться не умеешь... Страсть люблю цирк, — сказал Ульян, солдатик помоложе.

— Так, малость... Теперь не до ломанья, третий день не жрамши.

— А ты к нам наймайся. У нас вчерась одного за пьянство разочли. Дело немудрое, дрова колоть, печи топить, за опилками с'ездить на пристань, да шваброй полы мыть...

Тут же меня представили вышедшему на улицу эконому, и он после двух-трех вопросов принял меня на пять рублей в месяц на казенных харчах.

И с каким же удовольствием я через час ужинал горячими щами и кашей с поджаренным салом. А на утро уж тер шваброй коридоры и гимнастическую залу, которую оставили за мной на постоянную уборку...

Не утерпел я. Вынес опилки, подмел пол — а там на турник и давай сан-туше крутить, а потом в воздухе сальтомортале и встал на ноги...

И вдруг аплодисменты и крики:

Оглянулся — человек двадцать воспитанников старшего класса из коридора вывалили ко мне.

— Новый дядька? А ну-ка еще!.. еще!..

Я страшно переконфузился, захватил швабру и убежал.

И сразу разнесся по школе слух, что новый дядька замечательный гимнаст, и сторожа говорили, но не удивлялись, зная, что я служил в цирке.

На другой день во время большой перемены меня позвал учитель гимнастики, молодой поручик Денисов, и после разговоров привел меня в зал, где играли ученики, и заставил меня проделать приемы и на турнике, и на трапеции, и на параллельных брусьях; особенно поразило всех, что я поднимался на лестницу, притягиваясь на одной руке. Меня

ощупывали, осматривали, и установилось за мной прозвище:

— Мускулястый дядька.

Денисов звал меня на уроки гимнастики и заставлял проделывать разные штуки.

А по утрам я таскал на себе кули опилок, мыл пол, колол дрова, вечером топил четыре голландских печи, на вьюшках которых школьники пекли картошку.

Ел досыта, по вечерам играл в свои козыри, в «носки» и в «козла» со сторожами и уж радовался, что дождусь навигации и махну на низовья Волги в привольное житье...

С дядьками сдружился, врал им разную околесицу, и больше все-таки молчал, памятуя завет отца, у которого была любимая пословица:

— Язык твой — враг твой, прежде ума твоего рыщет.

А также и другой завет Китаева:

— Нашел — молчи, украл — молчи, потерял — молчи.

И об'яснение его к этому:

— Скажешь, что нашел — попросят поделиться, скажешь, что украл — сам понимаешь, а скажешь, что потерял — никто ничего, растеряха, тебе не поверит... Вот и помалкивай, да чужое послухивай, что знаешь, то твое, про себя береги, а от другого дурака может что и умное услышишь. А главное, не спорь зря — пусть всяк свое брешет, пусть за ним последнее слово останется!

Никто мне, кажется, не помог так в жизни моей, как Китаев своим воспитанием. Сколько раз все его науки мне вспоминались, а главное, та сила и ловкость, которую он с детства во мне развил. Вот и здесь, в прогимназии, был такой случай. Китаев сгибал серебряную монету между пальцами, а мне тогда завидно было. И стал он мне развивать пальцы. Сперва выучил сгибать последние суставы, и стали они такие крепкие, что другой всей рукой последнего

сустава не разогнет; потом начал учить постоянно мять концами пальцев жевку-резину — жевка была тогда в гимназии у нас в моде, а потом и гнуть кусочки жести и тонкого железа...

— Потом придет время, и гривенники гнуть будешь. Пока еще силы мало, а там будешь. А главное, силой не хвастайся, знай про себя, на всяк случай, и никому не рассказывай, как что делаешь, а как проболтаешься, и силушке твоей конец, такое заклятие я на тебя кладу...

И я поклялся старику, что исполню заветы.

В последнем классе я уже сгибал легко серебряные пятачки и с трудом гривенники, но не хвастался этим. Раз только, сидя вдвоем с отцом, согнул о стол серебряный пятачок, а он, просто, как будто это вещь уж самая обыкновенная, расправил его, да еще нравоучение прочитал:

— Не делай этих глупостей. За порчу казенной звонкой монеты в Сибирь ссылают.

***

Покойно жил, о паспорте никто не спрашивал. Дети меня любили и прямо вешались на меня.

Да с'озорничать дернула нелегкая.

Принес в воскресенье дрова, положил в печи, иду по коридору, вижу — класс отворен, и на доске написаны мелом две строчки:

De ta tige détachée
Pauvre feuille dessechée...

Это Келлер, только что переведенный в наказание сюда из военной гимназии, единственный, который знал французский язык во всей прогимназии, собрал маленькую группу учеников и в свободное время обучал их по-французски, конечно, без ведома начальства.

И дернула меня нелегкая продолжить это знакомое мне стихотворение, которое я еще в гимназии перевел из учебника Марго стихами по-русски:

Я взял мел и пишу:

Oú, vas tu? je n'en sais rien.
L'orage a brisé le chêne,
Qui...

И вдруг сзади голоса:

— Дядя Алексей по-французски пишет.

Окружили — что, да как...

Наврал им, что меня учил гувернер сына нашего барина и попросил никому не говорить этого:

— А то еще начальство заругается.

Решили не говорить и потащили меня в гимнастическую залу, где и рассказали:

— А наш учитель Денисов на месяц в Москву сегодня уезжает и с завтрашнего дня новый будет, тоже хороший гимнаст, подпоручик Павлов из Нежинского полка...

Гром будто над головой грянул. Павлов — мой взводный. Нет, надо бежать отсюда!

Я это решил и уж потешил собравшуюся группу моих поклонников цирковыми приемами, вплоть до сальтомортале, чего я до сих пор еще здесь не показывал...

А потом давай их учить на руках ходить, — прошелся сам и показал им секрет, как можно скоро выучиться, становясь на руки около стенки, и забрасывать ноги через голову на стенку...

Закувыркались мои ребятки, и кое-кто уж постиг секрет и начал ходить... Радость их была неописуема.

У одного выпал серебряный гривенник, я поднял, отдаю:

— Нет, дядька Алексей, возьми его себе на табак.

Надо бы взять и поблагодарить, а я согнул его пополам, отдал и сказал:

— Возьми себе на память о дядьке...

В это время в коридоре показался надзиратель, чтобы нас выгнать в непоказанное время из залы, и я ушел.

Павлов... Потом гривенник... Начальство узнает... Вспомнились слова отца, что за порчу монеты — каторга...

И пошел к эконому попросить в счет жалованья два рубля, а затем уйти, куда глаза глядят.

— Паспорт давай, — первым делом спросил он.

— Сейчас пойду на фатеру, принесу. Сегодня же принесу... Я хотел попросить у вас рублика три вперед...

— Принеси паспорт, тогда дам... На пока рубль.

— Сегодня принесу.

— Пойди и принеси... Без паспорта держать нельзя.

Опять на холоду, опять без квартиры, опять иду к моим пьяницам-портным... До слез жаль теплого светлого угла, славных сослуживцев-сторожей, милых мальчиков... То-то обо мне разговору будет [1]).



На другой день, после первых опытов, я уже не ходил ни по магазинам, ни по учреждениям... Проходя мимо пожарной команды, увидел на лавочке перед воротами кучку пожарных с брандмейстером, иду прямо к нему и прошу места.

— А с лошадьми водиться умеешь?

— Да я конюх природный.

— Ступай в казарму. Васьков, возьми его.

Ужинаю щи со снятками и кашу. Сплю на нарах. Вдруг ночью тревога. Выбегаю вместе с другими и на линейке еду рядом с брандмейстером, длинным и сухим, с седеющей бородкой. Уж на ходу надеваю данный мне ременный пояс и

---

[1]) Слишком через двадцать лет я узнал о том, что говорили тогда обо мне после моего исчезновения в прогимназии.

прикрепляю топор. Оказывается, горит на Под'яческой улице публичный дом Кузьминишны, лучший во всем Ярославле. Крыша вся в дыму, из окон второго этажа полыхает огонь. Приставляем две лестницы. Брандмейстер, сверкая каской, вихрем взлетает на крышу, за ним я с топором и ствольщик с рукавом. По другой лестнице влезают топорники и гремят ломами, раскрывая крышу. Листы железа громыхают вниз. Воды все еще не подают. Огонь охватывает весь угол, где снимают крышу, рвется из-под карниза и несется на нас, отрезая дорогу к лестнице. Ствольщик, вижу сквозь дым, спустился с пустым рукавом на несколько ступеней лестницы, защищаясь от хлынувшего на него огня... Я отрезан и от лестницы и от брандмейстера, который стоит на решетнике и кричит топорникам:

— Спускайтесь вниз!

Но сам не успевает пробраться к лестнице и, вижу, проваливается. Я вижу его каску наравне с полураскрытой крышей... Невдалеке от него вырывается пламя... Он отчаянно кричит... Еще громче кричит в ужасе публика внизу... Старик держится за железную решетку, которой обнесена крыша, сквозь дым сверкает его каска и кисти рук на решетке... Он висит над пылающим чердаком... Я с другой стороны крыши, по желобу, по ту сторону решетки ползу к нему, крича вниз народу:

— Лестницу сюда!

Подползаю. Успеваю во-время перевалиться через решетку и вытащить его, совсем задыхающегося... Кладу рядом с решеткой... Ветер подул в другую сторону, и старик от чистого воздуха сразу опамятовался. Лестница подставлена. Помогаю ему спуститься. Спускаюсь сам, едва глядя задымленными глазами. Брандмейстера принимают на руки, в каске подают воды. А ствольщики уже влезли и заливают пылающий верхний этаж и чердаки.

Меня окружает публика... Пожарные... Брандмейстер, придя в себя, обнял и поцеловал меня... А я все еще в себя не приду. К нам подходит полковник небольшого роста, полицмейстер Алкалаев-Карагеоргий, которого я издали видал в городе... Брандмейстер докладывает ему, что я его спас.

— Молодец, братец! Представим к медали.

Я вытянулся по-солдатски.

— Рад стараться, ваше высокоблагородие.

И вдруг вижу, идет наша шестая рота с моим бывшим командиром, капитаном Вольским, во главе, назначенная «на случай пожара» для охраны имущества.

Я ныряю в толпу и убегаю.

Прощай служба пожарная и медаль за спасение погибавших. Позора встречи с Вольским я не вынес и... ночевал у моих пьяных портных. Топор бросил в глухом переулке под забор.

И радовался, что не надел каску, которую мне совали пожарные, поехал в своей шапке... А то, что бы я делал с каской, и без шапки. Утром проснулся весь черный с ободранной рукой, с волосами, полными сажи. Насилу отмылся, а глаза еще были воспалены. Заработанный мной за службу в пожарных широкий ременный пояс служил мне много лет. Ах, какой был прочный ременный пояс с широкой медной пряжкой. Как он мне после пригодился, особенно в задонских степях табунных.

* * *

И пришла мне ночью благодетельная мысль. Прошлой зимой приезжали в Ярославль два моих гимназических товарища-одноклассника, братья Поповы. Они разыскали меня в полку, кутили три дня, пропили все, деньги и свою пару лошадей с санями, и уехали на ямщике в свое имение, вер-

стах в двадцати пяти от Ярославля под Романовым-Борисоглебском. Имение это они получили в наследство, бросили гимназию, вскоре после меня и поселились в нем и живут безвыездно, охотясь и ловя рыбу. Они еще тогда уговаривали меня бросить службу и итти к ним в управляющие. Вспомнил я, что по Романовской дороге деревня Ковалево, а вправо, верстах в двух от нее на берегу Волги их имение Подберезное.

— Вот и место, — обрадовался я.

С'ев из последних денег селянку и растегай, я бодро и весело ранним утром зашагал первые версты. Солнце слепило глаза отблесками бриллиантиков бесконечной снежной поляны, сверкало на об'индевевших ветках берез большака, нога скользила по хрустевшему вчерашнему снегу, который крепко замел след полозьев. Руки приходилось греть в карманах для того, чтобы теплой ладонью время от времени согревать мерзнувшие уши. Подхожу к деревне; обрадовался, увидев приветливую елку над новым домом на краю деревни.

Иван Елкин! Так звали в те времена народный клуб, убежище холодных и голодных — кабак. В деревнях никогда не вешали глупых вывесок с казенно-канцелярским названием «питейный дом», а просто ставили елку над крыльцом. Я был горд и ясен: в кармане у меня звякали три пятака, а перед глазами зеленела над снежной крышей елка, и я себя чувствовал настолько счастливым, насколько может себя чувствовать усталый путник, одетый при 20-градусном морозе почти так же легко, как одевались боги на Олимпе... Я прибавил шагу, и через минуту под моими ногами заскрипело крыльцо. В сенях я столкнулся с красивой бабой, в красном сарафане, которая постилаал около дверей чистый половичек.

— Вытри ноги-то, пол мыли! — крикнула она мне.

Я исполнил ее желание и вошел в кабак. Чистый пол, чистые лавки, лампада у образа. На стойке боченок с краном, на нем висят «крючки», медные казенные мерки для вина. Это—род кастрюлек с длинными ручками, мерой в штоф, полуштоф, косушку и шкалик. За стойкой полка, уставленная плечистыми четырехугольными полуштофами с красными наливками, желтыми и зелеными настойками. Тут были: ерофеич, перцовка, полыновка, малиновка, рябиновка и кабацкий ром, пахнущий сургучом. И все в полуштофах: тогда бутылок не было по кабакам. За стойкой одноглазый рыжий целовальник в красной рубахе уставлял посуду. В углу на лавке дремал оборванец в лаптях и сером подобии зипуна. Я подошел, вынул пятак и хлопнул им молча об стойку. Целовальник молча снял шкаличный крючок, нацедил водки из крана вровень с краями, ловко перелил в зеленый стакан с толстым дном и подвинул его ко мне. Затем из-под стойки вытащил огромную бурую, твердую, как булыжник, печенку, отрезал «жеребьек», ткнул его в солонку и подвинул к деревянному кружку, на котором лежали кусочки хлеба. Вышла хозяйка.

— Глянь-ка, малый, да ты левое ухо отморозил.

— И впрямь отморозил... Давай-ка снегу.

Хозяйка через минуту вбежала с ковшом снега.

— Накося, ототри!.. Да и щеку-то, глядь, щеку-то.

Я оттер. Щека и ухо у меня горели, и я с величайшим наслаждением опрокинул в рот стакан сивухи и начал закусывать хлебом с печенкой. Вдруг надо мной прогремел бас:

— И выходишь ты дурак, — а еще барин!

Передо мной стоял оборванец.

— Дурак, говорю. Жрать не умеешь! Не понимаешь того, что язык—орган вкуса, а ты как лопаешь? Без всякого для себя удовольствия!

— Нет, брат, с большим удовольствием, — отвечаю.

— А хочешь получить вдвое удовольствие? Поднеси мне шкалик, научу тебя, неразумного. Умираю, друг, с похмелья, а кривой чорт не дает!

Лицо его было ужасно: опух, глаза красные, борода растрепана и весь дрожал. У меня оставалось еще два пятака на всю мою будущую жизнь, так как впереди ничего определенного не предвиделось. Вижу, человек жестоко мучится. Думаю, — рискнем. То ли бывало... Бог даст день, бог даст и деньги! И я хлопнул пятаками о стойку. Замелькали у кривого крючок, стаканы, нож и печенка. Хозяйка, по жесту бродяги, сняла с гвоздя полотенце и передала ему. Тот намотал конец полотенца на правую руку, другой конец перекинул через шею и взял в левую. Затем нагнулся, взял правой рукой стакан, а левой начал через шею тянуть вниз полотенце, поднимая, таким образом, как на блоке, правую руку со стаканом прямо ко рту. При его дрожащих руках такое приспособление было неизбежно. Наконец, стакан очутился у рта, и он, закрыв глаза, тянул вино, повидимому, с величайшим отвращением.

Поставив пустой стакан, сбросил полотенце.

— Ой, спасибо!

И глаза повеселели — будто переродился сразу.

— А тебе, малый, не жаль будет уступить... Уж поправляй совсем!

Я видел его жадный взгляд на мой стакан и подвинул его.

— Пей.

И он уж без всякого полотенца слегка, дрожащей рукой ловко схватил стакан и сразу проглотил вино. Только булькнуло.

— Спасибо. Теперь жив. Ты закусывай, а я есть не буду...

Я взял хлеб с печенкой и не успел положить в рот, как он ухватил меня за руку.

— Погоди. Я тебя обещал есть выучить... Дело просто. Это называется бутерброд, стало быть, хлеб внизу, а печенка сверху. Язык — орган вкуса. Так ты вот до сей поры зря жрал, а я тебя выучу, век благодарен будешь и других уму-разуму научишь. Вот как: возьми да переверни, клади бутерброд не хлебом на язык, а печенкой. Ну-ка!

Я исполнил его желание, и мне показалось очень вкусно. И при каждом бутерброде до сего времени я вспоминаю этот урок, данный мне пропойцей-зимогором в кабаке на Романовском тракте, за который я тогда заплатил всем моим наличным состоянием.

В кабак вошли два мужика и распорядились за столиком полуштофом, а зимогор предложил мне покурить. Я свернул собачью ножку и с удовольствием затянулся махоркой.

— Куда идешь? — спросил меня хозяин.

— Не видишь — на Кудыкину гору, чертей за хвост ловить, — огрызнулся на него бродяга. — Да твое ли это дело! Допрашивать-то твое дело? Ты кто такой?

— Да я к слову...

— За такие слова и в кабак к тебе никто ходить не будет...

— В Романов иду, — сказал я.

— Далеко. Ты, мал, поторапливайся. Ишь метелица какая закурила...

Я пожал руку бродяге, поклонился целовальнику и вышел из теплого кабака на крыльцо. Ветер бросил мне снегом в лицо. Мне мелькнуло, что я теперь совсем уж отморожу себе уши, и я вернулся в сени, схватил с пола чистый половичок, как башлыком укутал им голову и бодро выступил в путь. И скажу теперь — не будь этого половика, я не писал бы этих строк.

**
*

Стемнело, а я все шел и шел. Дорога большая, обсаженная еще при «матушке-Екатерине» березами; сбиться нельзя. Иногда нога уходила до колен в навитые по колее гребни снега.

Метель кончилась. Итти стало легче. Снег скрипел под ногами. Темь, тишина, одиночество. Половик спас меня — ни разу не пришлось оттирать ушей и щек.

Вот вдали огоньки... Темные контуры домов... Я чувствовал такую усталость, что, не будь этой деревни, кажется, упал бы и замерз. Предвкушая возможность вытянуться на лавке или хоть на полу в теплой избе, захожу в избу... в одну... в другую... в третью... Везде заперто, и в ответ на просьбу о ночлеге слышу ругательства. Захожу в четвертую — дверь оказалась незапертой. Коптит светец. Баба накрывает на стол. В переднем углу сидит седой старик, рядом бородатый мужик и мальчонка. Вошел и, помня уже раз испытанный когда-то урок, помолился на образа.

— Пустите переноечвать, Христа ради.

— Дверь-то не заперла, лешая! — зыкнул на бабу бородатый.

— Не прогневайся, не пущаем... Иди себе с богом откуда пришел... Иди уж!.. — затараторила баба.

— Замерз ведь я... Из Ярославля пешком иду.

— У меня этакий наслезник топор из-под лавки спер...

— Я ведь не вор какой... — пробовал защищаться я, снимая с шеи и стряхивая украденный половик.

Хозяйка несла из печи чашку со щами. Пахло грибами и капустой. Ломти хлеба лежали на столе.

— Фокыч, пущай он поисть, а там и уходит... А, Фокыч? — обратилась баба к рыжему.

— Садись, поешь уж. Только ночевать не пущу, — сказал рыжий, а старик указал мне место на скамье, где сесть.

Скинув половик и пальто, я уселся. Аромат райский ощущался от пара грибных щей. Едим молча. Еще подлили. Тепло. Приветливо потрескивает, слегка дымя, лучина в светце, падая мелкими головешками в лохань с водой. Тараканы желтые домовито ползают по Илье Муромцу и генералу Бакланову... Тепло им, как и мне. Хозяйка то и дело вставляет в железо высокого светца новую лучину... Ели кашу с зеленым льняным маслом. Кошка вскочила на лавку и начала тереться о стенку.

— Топор-то у меня стащил... И заперто было... Сидим это... перед Рождеством дело... Поужинали... Вдруг стучит. Если бы знали, что бродяга, в жисть не отперли бы. — Кто это, — спрашиваю. — А он из-за двери-то: — Нет ли продажного холста?

— А холстина-то была у нас. Отпираю. Входит так, мужичонка.

— Тебе, спрашиваю, холста? — а он:

— Милостиньку ради Христа! Пустите ночевать да обогреться.

— Вижу, человек хороший... Ночевал... А утром, глядь, нету... Ни его нет, ни топора нет... Вот и пущай вашего брата!..

Кошка играла цепочкой стенных часов-ходиков, которые не шли.

Чтобы сколько-нибудь задержаться в теплой избе, я заговорил о часах.

— Давно стоят? — спрашиваю хозяина.

— С лета. Упали как-то, ну, и стали. А ты понимаешь в часах-то?

— Малость смыслю. У себя дома всегда часы сам чиню.

— Ну, паря. А ты бы наши-то посмотрел...

— Что же, я, пожалуй, посмотрю... Отвертка есть?

— Стамеска махонькая есть.

Подал стамеску. Хозяйка убрала со стола. С сердечным трепетом я снял со стены ходики и с серьезной физиономией осмотрел их и принялся за работу. Кое-что развинтил.

— Темновато при лучине-то... Уж я лучше утром...

Хозяйка подала платок, в который я собрал части часов. Улегся я на лавке. Дед и мальчишка забрались на полати... Скоро все уснули. Тепло в избе. Я давно так крепко не спал, как на этой узкой скамье с сапогами в головах. Проснулся перед рассветом; еще все спали. Тихо взял из-под головы сапоги, обулся, накинул пальто и потихоньку вышел на улицу. Метель утихла. Небо звездное. Холодище страшенный. Вернулся бы назад, да вспомнил разобранные часы на столе в платочке и зашагал, завернув голову в кабацкий половик...

***

Деревня Ковалево. Спрашиваю у бабы с ведром у колодца, как пройти в Подберезное. Так называлось имение Поповых — цель моего стремления.

— А вот направо просекой, прямо и придешь. Только, гляди, дороги лесом нет, оттоле никто не ездит... Прямо к барскому дому подойдешь, недалече.

И пошел я мимо овинов к лесу, пошел просекой, утопал выше колена в снегу; было тихо, неособенно холодно и облачно. Это «недалече» мне показалось так версты в три. От меня валил пар, голова была мокрая, а я шагал и шагал. Вот, наконец, барский дом, с выбитыми рамами, с полуободранной крышей, с заколоченной жердями крест на крест зияющей парадной дверью под обвалившимся зонтом крыльца. Следов — нигде никаких. Налево от дома в почерневшем

флигеле из трубы вьется дымок, а от флигеля тропочка в другую сторону от меня. Вхожу в большую избу, топится печь. Около шестка хлопочет старушка, типа Пушкинской няни.

— Здравствуйте. Это Подберезное?

— Было оно Подберезное когда-то, да сплыло!

— А где Поповы живут?

— Э-эх! Были Поповы, да сплыли!

Горькую весть узнаю. Оказалось, что братья Поповы получили это имение года два назад в наследство от дяди, переехали сюда вдвоем и сразу закутили во всю. Придут, бывало, в Ковалево, купят все штофы и полуштофы, что стоят на полках с разными наливками и настойками — это для баб, а для мужчин ведро водки поставят. На закуску скупят в лачке все крендели, пряники и гуляют. А то в Романов или в Ярославль уедут — по неделям пьют. Уедут на своих лошадях, в своих экипажах, пропьют их в городе, а назад на наемных вернутся, в одних пальтишках... Сперва продали все добро из комнат, потом хлеб, скот — и все понемногу; нет денег на вино — корову сведут, диван продадут. Потом строевые деревья из лесу продавали потихоньку от начальства, потом осенью этой из дома продали двери да рамы — разорили все и уехали, а куда и сами не знаем.

Пришел с бутылкой постного масла ее муж, старик — оба бывшие крепостные этого имения. Он все подтвердил и еще разукрасил, что сказала старушка. Я в свою очередь рассказал, зачем пришел. Сердечно посожалели они меня, накормили пустыми щами, переночевал я у них в теплой избе, а утром, чуть рассвело, напоив горячей водой с хлебом, старик отвел меня по чуть протоптанной им же стежке через глубокий овраг, который выходил на Волгу, в деревню Яковлевское, откуда была дорога в Ковалево. В деревне мы

встретили выезжавшего на доброй лошаденке хорошо одетого крестьянина, который разговорился со стариком. Оказалось, что это приказчик местного богача Тихомирова, который шьет полушубки из лучших романовских овец на Москву и Ярославль. Старик рассказал про меня, и приказчик, ехавший в Ярославль, пожалел меня, поругал пьяниц Поповых и предложил довезти меня до Ярославля. Потом повернул лошадь к своему дому, вынес оттуда новый овчинный тулуп.

— Надень, а то замерзнешь.

Проезжая деревню, где я чинил часы, я закутался в тулуп и лежал в санях. Также и в кабак, где стащил половик, я отказался войти. Всю дорогу мы молчали — я не начинал, приказчик ни слова не спросил. На второй половине пути заехали в трактир. Приказчик, молчаливый и суровый, напоил меня чаем и досыта накормил домашними лепешками с картофелем на постном масле. По приезде в Ярославль приказчик высадил меня, я его поблагодарил, а он сказал только одно слово:

— Прощавай!

После хороших суток, проведенных у стариков в теплой хате, в когда-то красивом имении на гористом берегу Волги — я опять в Ярославле, где надо избегать встречи с полковыми товарищами и думать, где бы переночевать и что бы поесть. Пошел на базар, чтобы сменять хорошие штаны на плохие или сапоги—денег в кармане ни копейки. Последний пятак за урок, как бутерброды есть, заплатил. Я прямо пошел на базар, где гостиница Столбы. Посредине толкучки стоял одноэтажный промозглый длинный дом, трактир Будилова, притон всего бездомного и преступного люда, которые в те времена в честь его и назывались «будиловцами». Это был уже цвет ярославских зимогоров, летом

работавших грузчиками на Волге, а зимами горевавших и бедовавших в Будиловском трактире.

**
*

Сапоги я сменял на подшитые кожей старые валенки и получил рубль придачи и заказал чаю. В первый раз я видел такую зловонную, пьяную трущобу, набитую сплошь скупавшими у пьяных платье: снимает пальто или штаны — и тут же наденет рваную сменку... Минуту назад, и я также переобувался в валенки... Я примостился в углу, у маленького столика, добрую половину которого занимал руками и головой спавший на стуле оборванец. Мне подали пару чаю за 5 копеек, у грязной торговки я купил на пятак кренделей и наслаждаюсь. В валенках тепло ногам на мокром полу, покрытом грязью. Мысли мелькают в голове — и ни на одной остановиться нельзя, но девять гривен в кармане успокаивают. Только вопрос, где ночевать? У Лондрона больше неудобно проситься. Где же? Кого спросить? Но все такие опухшие от пьянства разбойничьи рожи, что и подступиться не хочется.

**
*

Пью чай, в голове думушка: где бы ночевать?.. Рассматриваю моего спящего соседа, но мне видна только кудлатая голова, вся в известке, да торчавшие из-под головы две руки, в которые он уткнулся лицом. Руки тоже со следами известки, в'евшейся в кожу.

Пью, смотрю на оборванцев, шлепающих по сырому полу снежными опорками и лаптями... Вдруг стол качнулся. Голова зашевелилась, передо мной лицо желтое, опухшее. Пьяные глаза он уставил на меня и снова опустил голову. Я продолжал пить чай... Предзакатное солнышко на минуту осветило грязные окна притона. Сосед опять поднял голову,

выпрямился и сел на стуле, постарался встать и опять хлюпнулся.

Потом взглянул на меня и сказал:

— На завод пора, а я, мотри, мал, того...

И стал шарить в карманах... Потом вынул две копейки, кинул их на стол.

— Мотри, только один семик... добавь тройчак на шкалик... охмелюсь и пойду! — обратился он ко мне.

— Ладно.

Я спросил косушку. Подали ее, четыреугольную, и при ней стаканчик из зеленого стекла, шкаличного размера. Из косушки их выходило два. Деньги, гривенник, конечно, уплатил, как и раньше за чай — вперед. Здесь такой обычай.

— Пей!

— Налей. Руки не годятся, расплещут.

Я налил. Он нагнулся над столом, обеими руками обхватил стакан, понемногу высосал вино и сразу пришел в себя.

— Ну вот я и жив! Спасибо, брательник...

— Ешь крендели, закусывай, — предлагаю.

— Не надо. А ты чего не пьешь? — спрашивает меня, а сам любовно косится на косушку.

— Сыпь! Я не буду.

— Во спасибо!.. А то не прохватило.

На этот раз он сам налил полный стакан, выпил смаху и крякнул:

— Теперь жив.

— Чайку?

— Коли милость твоя и чайком бы погреться...

— Мала-й! — подозвал он полового.

— Прибор к паре и на семик сахару... Да кипяточку — и подвинул половому свои две копейки, лежавшие на столе.

Половой сунул в рот две копейки, схватил чайник и тотчас же принес два куска сахару, прибор и чайник

с кипятком. Мой сосед молча пил до поту, ел баранки и, наконец, еще раз поблагодарив меня, спросил:

— А ты по какой ударяешь?

— Да по такой же! Вишь, зимогорю...

— Я тоже зимогор, уж десяток годов коло Будилова околачиваюсь, а сейчас при месте, у Сорокина, на бельном... Да вчера получка была, загулял... И шапку пропил... Как и дойду, не знаю...

Разговорились. Я между прочим сказал, что не знаю, как прозимогорю до водополья, и что сегодня ночевать негде.

— Эка дура! Да на завод к нам! У Сорокина места хватит...

— Да я не знаю работы...

— В однорядь выучат... Напьемся чаю, да айда со мной. Сразу приделят к делу...

Он кое-что рассказал о заводе.

— У меня паспорта нет.

— А у кого он на заводе есть? Там паспортов не любят, рублем дороже в месяц плати... Айда!

Ввалилась торговка. На руке накинута разная трепанная одежонка, а на голове, сверх повязанного платка, картуз с разорванным пополам козырьком.

— Почем картуз? — спрашиваю.

— Гривенник.

— А гривну хошь...

— Добавь семишку, за пятак владай!

Я купил засаленный картуз и дал зимогору. Мы зашагали к Волге.

ГЛАВА V

ОБРЕЧЕННЫЕ

Сытный ужин. Таинственный великан. Утро в казарме. Работа в пекле. Схватка с разбойником. Суслик. Сказки и бывальщины. Собака во щах. Встреча с уланом. Кто был Иван Иванович. Смерть атамана Репки. Опять на Волге.

Вспомню белильный завод так, как он есть. Приходится заглянуть лет на десяток вперед. Дело в том, что я его раз уж описывал, но не совсем так, как было. В 1885 году, когда я уже занял место в литературе, в «Русских Ведомостях» я поместил очерк из жизни рабочих «Обреченные». Подробнее об этом дальше, а пока я скажу, что «Обреченные» — это беллетристический рассказ с ярким и верным описанием ужасов этого завода, где все имена и фамилии изменены и не назван даже самый город, где был этот завод, а главные действующие лица заменены другими, словом написан так, чтобы и узнать нельзя было, что одно из действующих лиц—я, самолично, а другое главное лицо рассказа совсем не такое, как оно описано, только разве наружность сохранена... Печатался этот рассказ в такие времена, когда правду говорить было нельзя, а о себе мне надо было и совсем молчать.

А правда была такая.

Вечереет. Снежок порошит. Подходим к заводу. Это ряд обнесенных забором по берегу Волги, как раз против пароходных пристаней, невысоких зданий.

Мой спутник постучал в калитку. Вышел усатый старик-сторож.

— Фокыч, я новенького привел...

— Ну-к што-ж... Веди в контору, там Юханцев, он запишет.

Приходим в контору. За столом пишет высокий рыжий солдатского типа человек. Стали у дверей.

— Тебе что, Ванька?

— Вот новенького привел.

Юханцев оценил меня взглядом.

— Ладно. В кубовщики. Как тебя писать-то.

— Алексей Иванов.

— Давай паспорт.

— У меня нет.

— Ладно. Четыре рубля в месяц. Отведи его, Ваня, в казарму.

А потом ко мне обратился:

— Поешь, выспись, завтра в пять на работу. Шастай!

Третья казарма — длинное, когда-то желтое, грязное и закоптелое здание, с побитыми в рамах стеклами, откуда валил пар... Голоса гудели внутри... Я отворил дверь. Удушливо-смрадный пар и шум голосов на минуту ошеломил меня, и я остановился в дверях.

— Лѐшай, чего распахнул! Небось, лошадей воровал, хлевы затворял!

Услыхал я окрик и вошел.

Большая казарма. Кругом столы, обсаженные народом. В углу налево печка с дымящимися котлами. На одном сидит кашевар и разливает в чашки щи. Направо, под лестницей, гуськом, один за одним, в рваных рубахах и опорках на босу ногу вереницей стоят люди, подвигаясь по очереди к приказчику, который черпает из большой деревянной чашки воду и подносит по стакану каждому.

— Эй, ты, новенький, подходи! — крикнул он мне.

Я становлюсь в очередь и тоже получаю стакан сивухи и сажусь к крайней чашке, за которой сидело девять человек.

Здоровенный рыжий безусый малый крошит говядину на столе и горстями валит во щи. Я напустился на горячие щи.

— Ишь ты, с воли-то пришел, как хрястает, поглядеть любо! — замечает старичонка с козлиной бородкой.

— А тебе завидно, ворона дохлая?

— Не завидно, а все-чки...

Свалили в чашку говядину. Сбегали к кашевару, добавили щей. Рыжий постучал ложкой.

— Таскай со всем!

Вкусно пахли щи, но и с говядиной ели лениво. Так и не доели, вылили. Наложили пшенной каши с салом... Я жадно ел, а другие только вид делали.

— Что это никто каши не ест? — спросил я соседа.

— Приелась. Погоди с недельку, здесь поработаешь и тебя от еды отвалит... Я похлеще тебя ашал, как с воли пришел, а теперь и глядеть противно.

А я прожил на заводе слишком четыре месяца, а ел все время так же, как и сегодня: счастье подвезло.

Понемногу все отваливались и уходили наверх по широкой лестнице в казарму. Я все еще не мог расстаться с кашей. Со мной рядом сидел — только ничего не ел — огромный старик, который сразу, как только я вошел, поразил меня своей фигурой. Почти саженного роста, с густыми волосами в скобку, с длинной бородой, вдоль которой двумя ручьями пробегали во всю ее длину серебряные усы...

А лицо землисто-желтое, истомленное, с полупотухшими глубокими серыми глазами... Его огромная ручища с полосками белил в морщинах, казалось, могла закрыть чашку...

Он сидел, молчал, а потом этой жесткой, как железо, рукой похлопал меня по плечу.

— Кушай на здоровье. Будешь есть — будешь жив... Главное ешь больше. Здесь все в еде...

— А вот ты, дедушка, не ешь.

— Мне не к чему... Я умирать собираюсь, а тебе еще жить да жить надо... Гляжу я на тебя и радуюсь. По душе ты мне сразу пришелся...

— Спасибо, дедушка, и ты мне тоже... А то ведь у меня здесь все чужие.

— Здесь все друг другу чужие, пока не помрут... А отсюда живы редко выходят. Работа легкая, часа два-три утром, столько же вечером, кормят сытно, а тут тебе и конец... Ну эта легкая-то работа и манит всякого... Мужик сюда мало идет, вреды боится, а уж если идет какой, так либо забулдыга, либо пропоец... Здесь больше отставной солдат работает, али никчемушный служащий, что от дела отбился. Кому сунуться некуда... С голоду да с холоду... Да наш брат гиляй бездомный, который, как медведь, любит летом волю, а зимой нору...

— Нет, я только до весны... С первым пароходом убегу...

— Все, брательник, так думают. А как пойдут колики да завалы, от хлеба отобьет — другое запоешь... Ну да ладно, об этом подумаем... Ужо увидим.

— А сколько тебе годков, дедушка?

Старик поднял голову, и глаза его сверкнули на меня.

— Без малого слишком около того...

И опять положил пудовую ручищу на мое далеко не слабое плечо.

— А ты, вот што: ежели хошь дружить со мной, так не трави меня, не спрашивай кто да что, да как, да откеля... Я того, брательник, не люблю... Ну, понял? Ты, я вижу,

молодой да умный... Может, я с тобой с первым и балакаю. Ну, понял?

— Ладно, понял, так и будет.

— А звать меня Иваном, и отец Иван был.

— А меня Алексей Иванов.

— Ну вот, оба Иванычи! — и как-то нутром засмеялся.

— Ведь я тебя не спрашиваю, кто ты, да что ты? А нешто я не вижу, что твое место не здесь... Мое так здесь, я свое отхватал, будя. Понял?

— Понял.

— А теперь спать пойдем, около меня на нарах слободно, дружок спал, в больницу отправили вчера. Вот захвати сосновое поленце в голову, заместо подушки — и айда.

И сильно хромая, стал подниматься на лестницу.

Измученный последними тревожными днями, я скоро заснул на новой подушке, которая приятно пахла в вонючей казарме сосновой коркой... А такой роскоши — вытянуться в тепле во весь рост — я давно не испытывал. Эта ночь была величайшим блаженством. Главное — ноги вытянуть, не скрючившись спать!

Сквозь сон я услыхал звонкий стук и вместе с тем колокол в соседней с заводом церкви. Звонили к заутрени, а в казарме сторож стучал деревянной колотушкой и нараспев кричал:

— Подымайтесь на работу, ребятушки, подымайсь.

— Эх, каторга — жизнь... А-а-а... — зевал кто-то спросонья.

— На работу, ребятушки, на работу-у.

— Чего горланишь, дармоед Сорокинский.

— Что ты, окромчадал что ли, орешь! — слышались недовольные голоса с поминанием родителей до седьмого колена. И над всем загремело:

— На пожаре ты что ли, дьявол!

Это рявкнул на сторожа вскочивший с нар во весь свой огромный рост Сашка, атаман казармы, буян и пьяница.

— Встал, так и не буду. Чего ругаешься? — испуганно проворчал сторож, пятясь к лестнице.

Недалеко от меня в углу заколыхалась груда разноцветных лохмотьев, и из-под нее показалась совершенно лысая голова и опухшее желтое лицо с клочком седых волос под нижней губой.

— Гляди, сам паршивый козел из помойной ямы вылезает, становись, ребята! — загрохотал Сашка.

Ему в ответ засмеялись. Козел ругался и бормотал что-то...

Понемногу все поднялись, по одиночке друг за другом спустились вниз, умывались на ходу, набирая в рот воды и разливая по полу, чтобы для порядка в одном месте не мочить, затем поднимались по лестнице в казарму, утирались кто подолом рубахи, кто грязным кафтаном.

Некоторые прямо из кухни, не умываясь, шли в кубочную, на другой конец двора. Я пошел за Иваном. На дворе было темно, мятель слепила глаза и жгла еще не проснувшееся горячее тело.

Некоторые кубовщики бежали в одних рубахах и опорках.

— Все равно околевать-то! — ответил мне один, которому я участливо заметил, что холодно...

— Сейчас согреемся! — утешил меня Иваныч, отворяя дверь в низкое здание кубочной, и через сени прошли в страшно жаркую с сухим жгучим воздухом палату.

— Тепло, потому клейкие кубики выходят, а им жар нужен.

Длинная, низкая палата вся занята рядом стоек для выдвижных полок, или, вернее, рамок с полотняным дном, на котором лежит «товар» для просушки. Перед каждыми тремя стойками стоит неглубокий ящик на ножках в виде стола. Ящик этот так и называется — стол. В этих столах лежали большие белые овалы. Это и есть кубики, которые предстояло нам резать.

Иваныч подал мне нож, особого устройства, напоминающий большой скобель, только с одной длинной рукоятью посредине.

— Вот это и есть нож, которым надо резать кубики мелко, чтобы ковалков не было. Потом, когда кубики изрежем, разложим их на рамы, ссыпем другие и сложим в кубики. А теперь скидай с себя рубаху.

Скинул и сам. Я любовался сухой фигурой этого мастодонта. Широкие могучие кости, еле обтянутые кожей, с остатками высохших мускулов. Страшной силы, повидимому, был этот человек. А он полюбовался на меня и одобрительно сказал:

— Тебе пять кубиков изрезать нипочем. Ну, гляди!

Показал мне прием, начал резать, но клейкий кубик, смассовавшийся в цемент, плохо поддавался, приходилось сперва скоблить. Начал я. Дело пошло сразу. Не успел Иваныч изрезать половину, как я кончил и принялся за вторую. Пот с меня лил градом. Ладонь правой руки раскраснелась и в ней чувствовалась острая боль — предвестник мозолей.

Вдруг Иваныч бросил нож, схватился за живот и застонал...

— Опять схватило... Колики проклятые...

Я усадил его на окно, взял его нож, и пока он мучился, изрезал оба его кубика и кончил свой, второй... Старик пришел в себя и удивился, что работа сделана.

— Спасибо. Вот спасибо!

— А теперь, Алеша, завяжи себе рот тряпицей, чтобы пыли при ссыпке не глотать... Вот так.

Мы завязали рты грязными тряпками и стали пересыпать в столы с рам высохший «товар» на место изрезанного, который рассыпали на рамы для сушки. Для каждого кубика десять рам. Белая свинцовая пыль наполнила комнату. Затем товар был смочен на столах «в плепорцию водицей», сложен в кубики и плотно убит.

Работа окончена. Мы омылись в чанах с опалово-белой свинцовой водой и возвратились в казармы.

Сегодняшняя работа была особенно трудная, на очереди были уже зрелые, клейкие кубики, которые готовы для поступления в литейную. Сначала товар в кубочную поступает зеленый. Это пережженный свинец и зеленые кубики режутся легко, почти рассыпаются. Потом они делаются серыми, затем белыми, а потом уже клейкими.

***

Мы кончили работу в 10 утра и из кубочной Иваныч повел меня на другой конец двора, где здоровенный мужик раскалывал колуном пополам толстенные чурбаки дров.

— Тимоша, заместо Василия еще никого не нашел?

— Нет еще... Сашку хотел звать, да уж очень озорной... Больше никого нет, все кволые...

— А вот парня-то возьми... Здоровенный...

— Дело... Так вали!

Я удивленно посмотрел, а старик и поясняет:

— Дрова-то колоть умеешь?

— Ну еще бы, — отвечаю.

— Так вот и работай с ним... Часа три работы в день... И здоров будешь, работа на дворе, а то в казарме пропадешь.

— Спасибо, это мне по руке...

Взял колун и расшиб несколько самых крупных суковатых кругляков.

— Спасибо!

— Пятнадцать в месяц, — предложил Тимоша.

Это был у меня второй день на заводе.

**
*

Тимошу я полюбил. Он костромич. Случайно попал на завод, и ему посчастливилось не попасть в кубочную, а сделаться истопником. И с ним-то я проработал зиму колкой и возкой дров, что меня положительно спасло.

Тимоша думал прожить зиму на заводе, а весной с первыми пароходами уехать в Рыбинск крючничать. Он одинокий бобыль, молодой, красивый и сильный. Дома одна старуха-мать и бедная избенка, а заветная мечта его была — заработать двести рублей, обстроиться и жениться на работнице богатого соседа, с которой они давно сговорились.

Работа закипела — за себя и старика кубики режу, а с Тимошей дрова колем и возим на салазках на двенадцать печей для литейщиков. Сперва болели все кости, а через неделю втянулся, окреп и на зависть злюке Вороне ел за пятерых, а старик Иваныч уступал мне свой стакан водки: он не пил ничего. Так и потекли однообразно день за днем. Дело подходило к весне. Иваныч стал чаще кашлять, припадки, колики повторялись, он задыхался и жаловался, что «нутро болит». Его землистое лицо почернело, как-то жутко загорались иногда глубокие глаза в черных впадинах...

И за все время он не сказал почти ни с кем ни слова, ни на что не отзывался. Драка ли в казарме, пьянство ли, а он как не его дело, лежит и молчит.

Мы разговаривали только о текущем, не заглядывая друг другу в прошлое. Любил он только сказки слушать — у нас сказочник был, бродяжка неведомый. Суслик звать. Кто он — никому было неизвестно, да и никто не интересовался этим: Суслик да Суслик.

Бывалый человек этот старик Суслик — и тоже, кроме сказок, живого слова не добьешься. А за то как рассказывал! Старую-престарую сказку, ну хоть о Бабе-Яге расскажет, а выходит что-то новое. Чего-чего тут не приплетет он.

— Суслик, а ты бывальщинку скажи.

— Ладно, про что тебе бывальщинку.

— А про разбойников...

И пойдет он рассказывать — жуть берет. И про Стеньку Разина, и про Ермака Тимофеевича, и про тружеников в Жигулях-горах, как они в своих пещерах разбойничков укрывали... До свету, иной раз, рассказывает. И первый молчаливый слушатель — Иваныч... Ляжет на брюхо во всю свою длину, упрет на ручищи голову и глядит на Суслика... И Суслик только будто для него одного рассказывает, на него одного глядит... И в одно время у них — уж сколько я наблюдал — глаза вместе загораются... Кончится бывальщина... Тяжело вздохнет Иваныч, ляжет и долго-долго не спит...

— Хорошие сказки Суслик рассказывает, — сказал я как-то старику, а он посмотрел на меня как-то особенно:

— Не сказки, а бывальщины. Правду говорит, да не договаривает. То ли бывало... Э-эх... — отвернулся и замолчал.

Хворал все больше и больше, а все просил не отправлять в больницу. Я за него резал его кубики и с кем-нибудь из товарищей из других пар ссыпал и его и свои на рамы. Все мне охотно помогали, особенно Суслик — старика любила и уважала вся казарма.

***

Был апрель месяц. Накануне мы получили жалованье и как всегда загуляли. После получки, обыкновенно, правильной работы не бывает дня два. Получив жалованье, лохматые кубовщики тотчас же отправляются на рынок, закупают белье, одежонку, обувь — и прямо одевшись на рынке, отправляются в Будилов трактир и по другим кабакам, пропивают сначала деньги, а потом спускают платье и в «сменке до седьмого колена» попадают под шары и приводятся на другой день полицейским на завод, где контора уплачивает тайную мзду квартальному за удостоверение беспаспортных. Большая же часть их и не покупает никакой одежды, а прямо пропивает жалованье.

День был холодный, и оборванцы не пошли на базар. Пили дома, пили до дикости. Дым коромыслом стоял: гармоника, пляска, песни, драка... Внизу в кухне заядлые игроки дулись в «фальку и бардадыма», гремя медяками. Иваныч совершенно больной лежал на своем месте. Он и жалованье не ходил получать и не ел ничего дня четыре. Живой скелет лежал.

Было пять часов вечера. Я сидел рядом с Иванычем и держал его горячую руку, что ему было приятно. Он молчал уже несколько дней.

В казарму ввалился Сашка вместе с другими двумя пьяными старожилами завода. Сашка был трезвее других, пиликал на гармонике, и все трое горланили что-то несуразное.

Я слышал, как дрожит рука Иваныча, какое страдание на его лице, но он молчит. Ужасно молчит:

— Сашка, ори тише, видишь, больной здесь,—крикнул я.

— А ты что мне за указчик? Ты знаешь, кто я! — заревел Сашка, давно уже злившийся на меня.

Он выхватил откуда-то нож и прыгнул к нам на нары.

— Убью!

Это был один момент. Я успел схватить его правую руку, припомнив один прием Китаева — и нож воткнулся в нары, а вывернутая рука Сашки хрустнула, и он с воем упал на Иваныча, который застонал.

Я сбросил Сашку на пол. Все смолкло — и сразу все заревели:

— Бей его, каторжника! Добей его!..

И кто-то бросился добивать. Я прикрикнул и отогнал.

— Это наше с ним дело, никто не суйся!

Сашка со страшным лицом поднялся и бросился вниз по лестнице.

Только его и видели. Сашка исчез навсегда.

После Сашки как-то невольно я сделался атаманом казармы.

Оказалось, что обиженный сторож донес на него полиции, которая дозналась, что он убийца, беглый каторжник, приходила за ним, когда его не было, и обещала еще притти. Ему об этом шепнул сторож у ворот...

Вскоре Иваныча почти без чувств отвезли в больницу. На другой день в ту же больницу отвезли и Суслика, который как-то сразу заболел. Через несколько дней я пошел старика навестить, и тут вышло со мной нечто уж совсем несуразное, что перевернуло опять мою жизнь.

***

Одевшись, насколько было возможно, прилично, я отправился в больницу навестить старика... Это, конечно, было не без риска, так как при больнице было арестантское отделение, куда я, служа в полку, не раз ходил начальником караула, знал многих, и неприятная встреча для меня была обеспечена. Но я не мог оставить так старика. И я пошел.

Больница, помнится, была в загородном саду, на самой окраине города. День был жаркий... Лед прошел, на Волге раздавались гудки пароходов. Я уже собирался уехать вниз по Волге, да не мог, не повидавшись с моим другом.

Иду я вдоль длинного забора по окраинной улице, поросшей зеленой травой. За забором строится новый дом. Шум, голоса... Из-под ворот вырывается собаченка... Как сейчас вижу, желтая, длинная, на коротеньких ножках, дворняжка с неимоверно толстым хвостом в виде кренделя. Бросается на меня, лает. Я на нее махнул, а она вцепилась мне в ногу и не отпускает, рвет мои новые штаны. Я схватил ее за хвост и перебросил через забор...

Что там вышло! Кто-то взвизгнул, потом сразу заорали на все манеры десятки голосов, и я, чуя недоброе, бросился бежать...

— Собаку в щи кинул,—визжал кто-то за забором.

За мной человек десять каменщиков в фартуках с кирками... А навстречу приказчик из Муранова трактира, который меня узнал. Я перемахнул через другой забор в какой-то сад, потом выскочил в переулок, еще куда-то, и очутился за городом.

Не простили бы мне каменщики собаку, попавшую в чашку горячих щей!

Тут было не до больницы, притом штанина располосана до голого тела... Все бы благополучно, да приказчик из Муранова трактира скажет, что я рабочий с Сорокинского завода. И придет полиция разыскивать, думаю:

— Нет, бежать!..

А там пароходы посвистывают...

Я вернулся перед самым обедом домой, отпер сундук, вынул из него сорок рублей, сундука не запер и ушел.

На базаре сменял пальтишко на хорошую поддевку, купил картуз, в лавке мне зашили штаны — и очутился я

на берегу Волги, еще не вошедшей в берега. Уже второй раз просвистал розоватый пароходик «Удалой».

⁂

Я взял билет и вышел с парохода, чтобы купить чего-нибудь с'естного на дорогу. Остановившись у торговки, я увидал плотного старика-оборванца, и лицо мне показалось знакомым. Когда же он крикнул на торговку, предлагая ей пятак за три воблы вместо шести копеек, я подошел к нему, толкнул в плечо и шепнул:

— Улан?

— Алеша! Далеко ли?

— На низ пробираюсь. А ты как?

— Третьего дня атамана схоронили...

— Какого?

— Один у нас, небось, атаман был, Репка.

— Как, Репку?

И рассказал мне, что тогда осенью, когда я уж уехал из Рыбинска, они с Костыгой устроили-таки побег Репке за большие деньги из острога, а потом все втроем убежали в пошехонские леса, в поморские скиты, где Костыга остался доживать свой век, а Улан и Репка поехали на Черемшан Репкину поклажу искать. Добрались до Ярославля, остановились подработать на выгрузке дров деньжонок, да беда приключилась: Репка оступился и вывихнул себе ногу. Месяца два пролежал в пустой барже, оброс бородой, похудел. А тут холода настали, замерзла Волга, и нанялись они в кубовщики на белильный завод, да там и застряли. К лету думали попасть в Черемшан, да оба обессилели и на вторую зиму застряли... Так и жили вдвоем душа в душу с атаманом.

— Рождеством я заболел, — рассказывал Улан, — отправили меня с завода в больницу, а там конвойный солдат

признал меня, и попал я в острог как бродяга. Так до сего времени и провалялся в тюремной больнице, да и убежал оттуда из сада, где больные арестанты гуляют... Простое дело— подлез под забор и драла... Пролежал в саду до потемок, да в Будилов, там за халат эту сменку добыл. Потом на завод узнать о Репке — сказали, что в больнице лежит. Сторож Фокыч шапчонку да штаны мне дал... Я в больницу вчера:

— Где тут с Сорокинского завода старик Иван Иванов, спрашиваю.

— Вчера похоронили, — ответили.

— Как, Иван Иванов с Сорокинского завода?

— Ну да, он записался так и все время так жил... Бородищу во какую отрастил — ни в жисть не узнать, допрежь одни усы носил.

Тут только я понял, что мой друг был знаменитый Репка. Но не подал никакого вида. Не знаю, удержался ли бы дальше, но загудел третий свисток...

— Счастливо, кланяйся матушке-Волге низовой... А я буду пробираться к Костыге, там и жизнь кончу!

Мы крепко обнялись, расцеловались...

Я отвернулся, вынул десять рублей, дал ему и побежал на пароход.

— Костыге кланяйся!..

— Прощавай, Алеша. Спасибо. Доеду, — крикнул он мне, когда я уже стоял на палубе. Но я не отвечал — только шапку снял и поклонился. И долго не мог притти в себя: чудесный Репка, сыгравший два раза роль в моей судьбе, занял всего меня.

***

Ну, разве мог я тогда написать то, что рассказываю о себе здесь?!

ГЛАВА VI

ТЮРЬМА И ВОЛЯ

Арест. Важный государственный преступник. Завтрак у полицмейстера. Жандарм в золотом пенснэ. Чудесная находка. Астраханский майдан. Встреча с Орловым. Атаман Ванята и его шайка. По Волге на косовушке. Ночь в камышевом лабиринте. Возвращение с добычей. Разбойничий пир. Побег. В задонских степях. На зимовнике. Красавица-казачка. Опять жандарм в золотом пенснэ. Прощай, степь! Цирк и новая жизнь.

В Казань пришел пароход в 9 часов. Отходит в 3 часа. Я в город на время остановки. Закусив в дешевом трактире, пошел обозревать достопримечательности, не имея никакого дальнейшего плана. В кармане у меня был кошелек с деньгами, на мне новая поддевка и красная рубаха, и я чувствовал себя превеликолепно. Иду по какому-то переулку и вдруг услышал отчаянный крик нескольких голосов:

— Держи его, дьявола! Держи, держи его!

Откуда-то из-за угла вынырнул молодой человек в красной рубахе и поддевке и промчался мимо, чуть с ног меня не сшиб. У него из рук упала пачка бумаг, которую я хотел поднять и уже нагнулся, как из-за угла с гиком налетели на меня два мужика и городовой и схватили. Я ровно ничего не понял, и первое, что я сделал, так это дал по затрещине мужикам, которые отлетели на мостовую, но

городовой и еще сбежавшиеся люди, в том числе квартальный, схватили меня.

— Не убежишь!

— Да я и бежать не думаю, — отвечаю.

— Это не он, тот туда убежал, — вступился за меня прохожий с чрезвычайно знакомым лицом.

Раз'яснилось, что я — не тот, которого они ловили, хотя на мне тоже была красная рубаха.

— Да вон у него бумаги в руках, вашебродие, — указал городовой на поднятую пачку.

— Это я сейчас поднял, мимо меня пробежал человек, обронил, и я поднял.

— Гляди, мал, тоже рубаха-то красная, тоже, должно из ефтих! — раздумывал вслух дворник, которого я сшиб на мостовую.

— А ты кто будешь? Откуда? — спросил квартальный.

Тогда я только понял весь ужас моего положения, и молчал.

— Тащи его в часть, там узнаем, — приказал квартальный, рассматривая отобранные у меня чужие бумаги.

— Да это прокламации! Тащи его, дьявола... Мы тебе там покажем! Из той же партии, что бежавший...

Половина толпы бегом бросилась за убежавшим, а меня повели в участок. Я решил молчать и ждать случая бежать. Об'являть свое имя я не хотел — хоть на виселицу.

На улице меня провожала толпа. В первый раз в жизни я был зол на всех, — перегрыз бы горло, разбросал и убежал. На все вопросы городовых я молчал. Они вели меня под руки, и я не сопротивлялся.

Огромное здание полицейского управления с высоченной каланчей. Меня ввели в пустую канцелярию. По случаю воскресного дня никого не было, но появились коротенький квартальный и какой-то ярыга с гусиным пером за ухом.

— Ты кто такой? А? — обратился ко мне квартальный.

— Прежде напой, накорми, а потом спрашивай, — весело ответил я.

Но в это время вбежал тот квартальный, который меня арестовал, и спросил:

— Полицмейстер здесь? Доложите, по важному делу... Государственные преступники.

Квартальные пошептались, и один из них пошел налево в дверь, а меня в это время обыскали, взяли кошелек с деньгами, бумаг у меня не было, конечно, никаких.

Из двери вышел огромный бравый полковник с бакенбардами.

— Вот этот самый, вашевскобродие!

— А! Вы кто такой? — очень вежливо обратился ко мне полковник, но тут подскочил квартальный.

— Я уж спрашивал, да отвечает, прежде, мол, его напой, накорми, потом спрашивай.

Полковник улыбнулся.

— Правда это?

— Конечно! На Руси такой обычай у добрых людей есть, — ответил я, уже успокоившись.

Ведь я рисковал только головой, а она недорога была мне, лишь бы отца не подвести.

— Совершенно верно! Я понимаю это и понимаю, что вы не хотите говорить при всех. Пожалуйте в кабинет.

— Прикажете конвой-с?

— Никаких. Оставайтесь здесь.

Спустились, окруженные полицейскими, этажом ниже и вошли в кабинет. Налево стоял огромный медведь и держал поднос с визитными карточками. Я остановился и залюбовался.

— Хорош?

— Да, пудов на шестнадцать!

— Совершенно верно. Сам убил, шестнадцать пудов. А вы охотник? Где же охотились?

— Еще мальчиком был, так одного с берлоги такого взял.

— С берлоги? Это интересно... Садитесь, пожалуйста.

Стол стоял поперек комнаты, на стенах портреты царей — больше ничего. Я уселся по одну сторону стола, а он напротив меня — в кресло и вынул большой револьвер Кольта.

— А я вот сначала рогатиной, а потом дострелил вот из этого.

— Кольт? Великолепные револьверы.

— Да вы настоящий охотник? Где же вы охотились? В Сибири? Ах, хорошая охота в Сибири, там много медведей!

Я молчал. Он подвинул мне папиросы. Я закурил.

— В Сибири охотились?

— Нет.

— Где же?

— Все равно, полковник, я вам своего имени не скажу, и кто, и откуда я — не узнаете. Я решил, что мне оправдаться нельзя.

— Почему же? Ведь вы ни в чем не обвиняетесь, вас задержали случайно, и вы являетесь как свидетель, не более.

— Извольте. Я бежал из дома и не желаю, чтобы мои родители знали, где я, и, наконец, что я попал в полицию. Вы на моем месте поступили бы, уверен я, так же, так как не хотели бы беспокоить отца и мать.

— Вы, пожалуй, правы... Мы еще поговорим, а пока закусим. Вы не прочь выпить рюмку водки?

Полицмейстер не сделал никакого движения, но вдруг из двери появился квартальный:

— Изволили требовать?

— Нет. Но подождите здесь... Я сейчас распоряжусь о завтраке: теперь адмиральский час.

И он, показав рукой на часы, бившие 12, исчез в другую дверь, предварительно заперев в стол Кольта. Квартальный молчал. Я курил третью папиросу нехотя.

Вошел лакей с подносом и живо накрыл стол у окна на три прибора.

Другой денщик тащил водку и закуску. За ним вошел полковник.

— Пожалуйте, — пригласил он меня барским жестом и добавил: — сейчас еще мой родственник придет, гостит у меня проездом здесь.

Не успел полковник налить первую рюмку, как вошел полковник-жандарм, звеня шпорами. Седая голова, черные усы, черные брови, золотое пенснэ. Полицмейстер пробормотал какую-то фамилию, а меня представил так: — охотник, медвежатник.

— Очень приятно, молодой человек!

И сел. Я сообразил, что меня приняли, действительно, за какую-то видную птицу, и решил поддерживать это положение.

— Пожалуйте — подвинул он мне рюмку.

— Извините, уж если хотите угощать, так позвольте мне выпить так, как я обыкновенно пью.

— Пожалуйста, очень рад...

Я взял чайный стакан, налил его до краев, чокнулся с полковниками и с удовольствием выпил за один дух. Мне это было необходимо, чтобы успокоить напряженные нервы. Полковники пришли в восторг, а жандарм умилился:

— Знаете, что, молодой человек. Я пьяница, Ташкент брал, Мишку Хлудова перепивал, и сам Михаил Григорьевич Черняев, уж на что молодчина был, дивился, как я пью... А таких, извините, пьяниц, извините, еще не видывал.

Я принял комплимент и сказал:

— Рюмками воробья причащать, а стаканчиками кумонька угощать...

— Браво, браво...

Я с жадностью ел селедку, икру, с'ел две котлеты с макаронами и еще, налив два раза по полстакану, чокнулся с полковничьими рюмками и окончательно овладел собой. Хмеля ни в одном глазу. Принесли бутылку пива и кувшин квасу.

— Вам квасу?

— Нет, я пива. Пецольдовское пиво я очень люблю,— сказал я, прочитав ярлык на бутылке.

— А я пива с водкой не мешаю, — сказал жандарм.

Я выпил бутылку пива, жадно наливал стакан за стаканом. Полковники переглянулись.

— Кофе и коньяк!

Лакей исчез. Я закуривал.

— Ну, что сын?—обратился он к жандарму.

— Весной кончает Николаевское кавалерийское, думаю, что будет назначен в Конный полк, из первых идет...

Лакей подал по чашке черного кофе и графинчик с коньяком.

У меня явилось желание озорничать.

— Надеюсь, теперь от рюмки не откажетесь?

— Откажусь, полковник. Я не меняю своих убеждений.

— Но, ведь, нельзя же коньяк пить стаканом.

— Да, в гостях неудобно.

— Я не к тому... Я очень рад... Я, ведь, только одну рюмку пью...

Я налил две рюмки.

— И я только одну, — сказал жандарм.

— А я уж остатки... Разрешите.

Из графинчика вышло немного больше половины стакана. Я выпил и закусил сахаром.

— Великолепный коньяк, — похвалил я, а сам до тех пор никогда коньяку и не пробовал.

Полковники смотрели на меня и молчали. Я захотел их вывести из молчания.

— Теперь, полковник, вы меня напоили и накормили, так уж, по доброму русскому обычаю, спать уложите, а там завтра уж и спрашивайте. Сегодня я отвечать не буду, сыт, пьян, и спать хочу...

По лицу полицмейстера пробежала тучка и на лице блеснули морщинки недовольства, а жандарм спросил:

— Вы сами откуда?

— Приезжий, как и вы здесь, и, как и вы, сейчас гость полковника, а через несколько минут буду арестантом. И больше я вам ничего не скажу.

У жандарма заходила нижняя челюсть, будто он грозил меня изжевать. Потом он быстро встал и сказал:

— Коля, я к тебе пойду! — и, поклонившись, злой походкой пошел во внутренние покои. Полицмейстер вышел за ним. Я взял из салатника столовую ложку, свернул ее штопором и сунул под салфетку.

— Простите,—извинился он, садясь за стол.—Я вижу в вас, безусловно, человека хорошего общества, почему-то скрывающего свое имя. И скажу вам откровенно, что вы подозреваетесь в серьезном... не скажу преступлении, но... вот у вас прокламации оказались! Вы мне очень нравитесь, но я — власть исполнительная... Конечно, вы догадались, что все будет зависеть от жандармского полковника...

— ... который, кажется, рассердился. Не выдержал до конца своей роли.

— Да, он человек нервный, ранен в голову... И завтра вам придется говорить с ним, а сегодня я принужден вас продержать до утра—извините уж, это распоряжение полковника — под стражей...

— Я чувствую это, полковник; благодарю вас за милое отношение ко мне и извиняюсь, что я не скажу своего имени, хоть повесьте меня.

Я встал и поклонился. Опять явился квартальный, и величественный жест полковника показал квартальному, что ему делать.

Полковник мне не подал руки, сухо поклонившись. Проходя мимо медведя, я погладил его по огромной лапе и сказал:

— Думал ли, Миша, что в полицию попадешь!

Мне отдали шапку и повели куда-то наверх на чердак.

— Пожалуйте, сюда! — уже вежливо, не тем тоном, как утром, указал мне квартальный какую-то закуту.

Я вошел. Дверь заперлась, лязгнул замок и щелкнул ключ. Мебель состояла из двух составленных рядом скамеек с огромным еловым поленом, исправляющим должность подушки. У двери закута была высока, а к окну спускалась крыша. Посредине, четырехугольником, обыкновенное слуховое окно, но с железной решеткой. После треволнений и сытного завтрака мне первым делом хотелось спать и ровно ничего больше.

— Утро вечера мудренее! — подумал я, засыпая.

Проснулся ночью. Прямо в окно светила полная луна. Я поднимаю голову — больно, приклеились волосы к выступившей на полене смоле. Встал. Хочется пить. Тихо кругом. Подтягиваюсь к окну. Рамы нет — только решетки, две поперечные и две продольные из ржавых железных прутьев. Я встал на колени, на нечто вроде подоконника, и просунул голову в широкое отверстие. Вдали Волга... Пароход где-то

просвистал. По дамбе стучат телеги. А в городе сонно, тихо. Внизу, подо мной, на пожарном дворе лошадь иногда стукнет ногой... Против окна торчат концы пожарной лестницы. Устал в неудобной позе, хочу ее переменить, пробую вынуть голову, а она не вылезает... Упираюсь шеей в верхнюю перекладину и слышу треск — поддается тонкое железо кибитки слухового окна. Наконец, вынимаю голову, прилаживаюсь и начинаю поднимать верх. Потрескивая, он поднимается, а за ним вылезают снизу из гнилого косяка и прутья решетки. Наконец, освобождаю голову, примащиваюсь поудобнее и, высвободив из нижней рамы прутья, отгибаю наружу решетку. Окно открыто, пролезть легко. Спускаюсь вниз, одеваюсь, поднимаюсь и вылезаю на крышу. Сползаю к лестнице, она поросла мохом от старости, смотрю вниз. Ворота открыты. Пожарный—дежурный на скамейке, и храп его ясно слышен. Спускаюсь. Одна ступенька треснула. Я ползу в обхват.

Прохожу мимо пожарного в отворенные ворота и важно шагаю по улице вниз, направляясь к дамбе. Жажда мучит. Вспоминаю, что деньги у меня отобрали. И вот чудо: подле тротуара что-то блестит. Вижу — дамский перламутровый кошелек. Поднимаю. Два двугривенных! Ободряюсь, шагаю по дамбе. Заалелся восток, а когда я подошел к дамбе и пошел по ней, перегоняя воза, засверкало солнышко... Пароход свистит два раза — значит отходит. Пристань уже ожила. В балагане покупаю фунт ситного и пью кружку кислого квасу прямо из бочки. Открываю кошелек — двугривенных нет. Лежит белая бумажка. Открываю другое отделение, беру двугривенный и расплачиваюсь, интересуюсь бумажкой — оказывается второе чудо: двадцатипятирублевка. Эге, думаю я, еще не пропал! Обращаюсь к торговцу:

— Возьму цельный ситный, если разменяешь четвертную.

— Давай!

Беру ситный, иду на пристань, покупаю билет третьего класса до Астрахани, покупаю у бабы воблу и целого гуся жареного за рубль.

Пароход товаро-пассажирский. Народу мало. Везут какие-то тюки и ящики. Настроение чудесное... Душа ликует...

***

Астрахань. Пристань забита народом.

> Какая смесь одежд и лиц,
> Племен, наречий, состояний...

Солнце пекло смертно. Пылища какая-то белая, мелкая, как мука, слепит глаза по пустым немощеным улицам, где на заборах и крышах сидят вороны. Никогошеньки. Окна от жары завешены. Кое-где в тени возле стен отлеживаются в пыли оборванцы.

На зловонном майдане, набитом отбросами всех стран и народов, я первым делом сменял мою суконную поддевку на серый почти новый сермяжный зипун, получив трешницу придачи, расположился около торговки с'естным в стоячку обедать. Не успел я поднести ложку мутной серой лапши ко рту, как передо мной выросла богатырская фигура, на голову выше меня, с рыжим чубом... Взглянул — серые знакомые глаза... А еще знакомее показалось мне шадровитое лицо... Не успел я рта открыть, как великан обнял меня.

— Барин? Да это вы!..

— Я, Лавруша...

— Ну, нет, я не Лавруша уж, а Ваня, Ваняга...

— Ну, и я не барин, а Алеша... Алексей Иванов...

— Брось это, — вырвал он у меня чашку, кинул пятак торговке и потащил.

— Со свиданием селяночки хлебанем.

**
*

Орлов после порки благополучно бежал в Астрахань — иногда работал на рыбных ватагах, иногда вольной жизнью жил. То денег полные карманы, то опять до гола пропьется. Кем он не был за это время: и навожчиком, и резальщиком, и засольщиком, и уходил в море... А потом запил и спутался с разбойным людом...

Я поселился в слободе, у Орлова. Большая хата на пустыре, пол земляной, кошмы для постелей. Лушка, толстая немая баба, кухарка и калмык Доржа. Еды всякой вволю: и баранина, и рыба разная, обед и ужин горячие. К хате пристроен большой чулан, а в нем всякая всячина с'естная: и мука, и масло, и бочка с соленой промысловой осетриной, вся залитая до верху тузлуком, в который я как-то, споткнувшись в темноте, попал обеими руками до плеч, и мой новый зипун с месяц рыбищей соленой разил.

Уж очень я был обижен, а оказывается, что к счастью!

С нами жил еще любимый подручный Орлова — Ноздря. Неуклюжий, сутулый, ноги калмыцкие — колесом, глаза безумные, нос кверху глядит, а из-под вывороченных ноздрей усы щетиной торчат. Всегда молчит и только приказания Орлова исполняет. У него только два ответа на все: ну-к-штожь, и ладно.

Скажи ему Орлов, примерно:

— Видишь, купец у лабаза стоит?

— Ну-к-штожь!

— Пойди, дай ему по морде!

— Ладно.

И пойдет и даст, и рассуждать не будет, для чего это надо: про то атаману знать!

— Золото, а не человек, — хвалил мне его Орлов, — только одна беда — пьян напьется и давай лупить ни с того

ни с сего, почем зря, всякого, приходится глядеть за ним и, чуть-что, связать и в чулан. Проспится и не обидится — про то атаману знать, скажет.

На другой день к обеду явилось новое лицо: мужичища саженного роста, обветрелое, как старый кирпич, зловещее лицо, в курчавых волосах копной и в бороде торчат метелки от камыша. Сел, выпил с нами водки, ест и молчит. И Орлов тоже молчит — уж у них обычай ничего не спрашивать — коли что надо, сам всякий скажет. Это традиция.

— Ну, Ваняга, сделано, я сейчас оттуда на челночишке... Жулябу и Басашку с товаром оставил, на Свиной Крепи, а сам за тобой: надо косовушку, в челноке насилу перевезли все.

**
*

Волга была неспокойна. Моряна развела волну, и большая, легкая и совкая костромская косовушка скользила и резала мохнатые гребни валов под умелой рукой Козлика,— так не к лицу звали этого огромного страховида. По обе стороны Волги прорезали стены камышей в два человеческих роста вышины, то широкие, то узкие протоки, окружающие острова, мысы, косы... Козлик разбирался в них, как в знакомых улицах города, когда мы свернули в один из них и весла в тихой воде задевали иногда камыши, шуршавшие метелками, а из-под носа лодки уплывали в них ничего небоящиеся стада уток.

Странное впечатление производили эти протоки: будто плывешь по аллее тропического сада... Тишина иногда нарушается всплеском большой рыбины, потрескиванием камышей и какими-то странными звуками...

— Что это? — спрашиваю.

— Дикие свиньи свою водяную картошку ищут.

Какую водяную картошку, я так и не спросил, уж очень неразговорчивый народ!

Иногда только они перекидывались какими-то непонятными мне короткими фразами. Иногда Орлов вынимал из ящика штоф водки и связку баранок. Молча пили, молча передавали посуду дальше и жевали баранки. Мы двигались в холодном густом тумане бесшумными веслами.

Уверенно Козлик направлял лодку, знал, куда надо, в этой сети путанных протоков среди однообразных аллей камыша.

Я дремал на средней лавочке вместо севшего за меня в весла Ноздри.

Вдруг оглушительный свист... Еще два коротких, ответный свист, и лодка прорезала полосу камыша, отделявшего от протока заливчик, на берегу которого, на острове ли, на мысу ли, торчали над прибрежным камышом ветлы-раскоряки,—их можно уже рассмотреть сквозь посветлевший, зеленоватый от взошедшей луны, туман.

Из-под ветел появились два человека — один высокий, другой низкий.

Они, видимо, спросонья продрогли и щелкали зубами. Молча им Орлов сунул штоф и, только допив его, заговорили. Их никто не спрашивал.

Все молчали, когда они пили.

Привязали лодку к ветле. Вышли.

— Вот! — сказал большой, указывая на огромные мешки и на три длинных толстых свертка в рогожах.

Козлик докладывал Орлову:

— То из той клети, знаешь, и эти балыки с Мочаловского вешала. Вот ведерко с икрой еще...

Погрузившись, мы все шестеро уселись и молча поплыли среди камышей и выбрались на стихшую Волгу... Было страшно холодно. Туман зеленел над нами. По ту сторону

Волги, за черной водой, еще чернее воды, линия камышей. Плыли и молчали. Ведь что-то крупное было сделано, это чувствовалось, но все молчали: сделано дело, чего зря болтать!

Вот оно где: «нашел — молчи, украл — молчи, потерял — молчи!»

***

Должно быть, около полудня я проснулся весь мокрый от пота — на мне лежал бараний тулуп. Голова болела страшно. Я не шевелился и не подавал голоса. Вся компания уже завтракала и молча выпивала. Слышалось только чавканье и стук бутылки о край стакана. На скамье и на полу передо мной разложены шубы, ковер, платья разные — и тут же три пустых мешка. Потом опять все уложили в мешки и унесли. Я уснул и проснулся к вечеру. Немая подошла, пощупала мою голову и радостно заулыбалась, глядя мне в глаза. Потом сделала страдальческую физиономию, затряслась, потом пальцами правой руки по ладони левой изобразила, что кто-то бежит, махнула рукой к двери, топнула ногой и плюнула вслед. А потом указала на воротник тулупа и погладила его.

Понимать надо: согрелся и лихорадка перестала трясти и убежала. Потом подала мне умыться, поставила на стол хлеб и ведро, которое мы привезли. Открыла крышку — там почти полведра икры зернистой.

Ввалилась вся команда. Подали еще ложек, хлеба и связку воблы. Налили стаканы, выпили.

— Ешь, а ты икру-то хлебай ложкой!

Я пил и ел полными ложками чудную икру.

Все остальные закусывали воблой.

—Ваня, а ты же икру? — спросил я.

— Обрыдла. Это тебе в охотку.

Подали жареную баранину и еще четвертную поставили на стол.

Пьянствовали ребята всю ночь. Откровенные разговоры разговаривали. Козлик что-то начинал петь, но никто не подтягивал и он смолкал. Шумели... дрались... А я спал мертвым сном. Проснулся чуть свет — все спят вповалку. В углу храпел связанный по рукам и ногам Ноздря. У Орлова все лицо в крови. Я встал, тихо оделся и пошел на пристань.

***

В Царицыне пароход грузится часов шесть. Я вышел на берег, поел у баб печеных яиц и жареной рыбы.

Иду по берегу, вдоль каравана. На песке стоят три чудных лошади в попонах, а четвертую сводят по сходням с баржи. И ее поставили к этим. Так и горят их золотистые породистые головы на полуденном солнце.

— Что, хороши? — спросил меня старый казак в шапке блином и с серьгой в ухе.

— Ах, как хороши! Так бы не ушел от них.

Он подошел ко мне близко и понюхал.

— Ты что, с промыслов?

— Да, из Астрахани, еду работы искать.

— Вот я и унюхал... А ты по какой части?

— В цирке служил!

— Наездник? Вот такого-то мне и надо. Можешь до Великокняжеской лошадей со мной вести?

— С радостью!

И повели мы золотых персидских жеребцов в донские табуны и довели благополучно, и я в степи счастье свое нашел. А не попади я зипуном в тузлук — не унюхал бы меня старый казак Гаврило Руфыч, и не видал бы я степей задонских, и не писал бы этих строк!

— Кисмет!

...Степи. Незабвенное время. Степь заслонила и прошлое и будущее. Жил текущим днем, беззаботно. Едешь один на коне и радуешься.

Все гладь и гладь. Не видно края,
Ни кустика, ни деревца...
Кружит орел, крылом сверкая...
И степь, и небо без конца...

Вспоминается детство. Леса дремучие... За каждым деревом, за каждым кустиком кроется опасность... Треснет хворост под ногой, и вздрогнешь.. И охота в лесу какая-то... подлая, из-за угла... Взять медведя... Лежит сонный медведь в берлоге, мирно лапу сосет. И его, полусонного, выгоняют охотники из берлоги... Он в себя не придет, чуть высунется — или изрешетят пулями, или на рогатину врасплох возьмут. А капканы для зверя! А ямы, покрытые хворостом с острыми кольями внизу, на которые падает зверь!.. Подлая охота — все исподтишка, тихомолом... А степь — не то. Здесь все открыто — и сам ты весь на виду... Здесь воля и удаль. Возьми-ка волка в угон, с одной плетью! И возьмешь на чистоту, один на один.

Степь да небо. И мнет зеленую траву полудикий сын этой же степи, конь калмыцкий. Он только-что взят из табуна и седлался всего в третий раз... Дрожит, боится, мечется в стороны, рвется вперед и тянет своей мохнатой шеей повод, так тянет, что моя привычная рука устала, и по временам чувствуется боль...

А кругом — степь да небо! Зеленый океан внизу и голубая беспредельность вверху. Чудное сочетание цветов... Пространство необозримое...

И я один, один с послушным мне диким конем чувствую себя властелином этого необ'ятного простора. Разве только

Строгих стрепетов стремительная стая
Сорвется с треском из-под стремени коня...

Ни души кругом.

Ни души в этой степи, только-что скинувшей снежный покров степи, разбившей оковы льда, зеленеющей, благоуханной.

Я надышаться не могу. В этом воздухе все: свобода, творчество, счастье, призыв к жизни, размах души... все...

Привстал на стременах, оглянулся вокруг — все тот же бесконечный зеленый океан... Неоглядный, величественный, грозный...

И хочется борьбы...

И я бессознательно ударом плети резнул моего свободного сына степей...

Взвизгнул дико он от боли, вздрогнул так, что я почуял эту дрожь, я почувствовал, как он сложился в одно мгновение в комок, сгорбатил свою спину, потом вытянулся и пошел, и пошел!

Кругом ветер свищет, звенит рассекаемая ногами и грудью высокая трава, справа и слева хороводом кружится и глухо стонет земля под ударами крепких копыт его стальных, упругих некованных ног.

Заложил уши... фырчит... и несется, как от смерти...

Еще удар плети... Еще чаще стучат копыта... Еще сильнее свист ветра... Дышать тяжело...

И несет меня скакун по глади бесконечной, и чувствую я его силу могучую, и чувствую, что вся его сила у меня в пальцах левой руки... Я властелин его, дикого богатыря, я властелин бесконечного пространства. Мчусь вперед, вперед, сам не зная куда, и не думая об этом...

Здесь только я, степь да небо.

***

Обжился на зимовнике и полюбил степь больше всего на свете, должно быть дедовская кровь сказалась. На всю

жизнь полюбил и почти до самой революции был связан с ней и часто бросал Москву для степных поездок по коннозаводским делам.

И много-много, и в газетах, и в спортивных журналах я писал о степях,—даже один очерк степной жизни попал в хрестоматию [1]). В одной из следующих моих книг придется вернуться и к этим дням, которые вспоминаю сейчас, так как они связаны с последующими годами моей жизни, а пока — о далеком былом.

* * *

Сам старик и его жена были почти безграмотны, в доме не водилось никаких журналов, газет и книг, даже коннозаводских: он не признавал никаких новшеств, улучшал породу лошадей арабскими и золотистыми персидскими жеребцами, не признавал английских — от них дети цыбатые, говорил, — а рысаков ругательски ругал: купеческая лошадь, сырость разводят! Даже ветеринарам не хотел верить — лошадей лечил сам, да его главный помощник, калмык Клык. Имени его никто не знал, а Клыком его звали потому, что из рассеченной верхней губы торчал огромный желтый клык. Лошади были великолепные и шли нарасхват даже в гвардейские полки. В доме был подвал с домашними наливками и винами, вплоть до шампанского, — это угощение для покупателей — офицеров, заживавшихся у него иногда по неделям. Стол был простой, готовила сама Анна Степановна, а помогала ей ее родная племянница, подросток Женя, красавица-казачка, лет пятнадцати.

Брови черные дугой
Глаза с поволокой...

Она с утра до ночи металась по хозяйству, ключи от всего носила у себя на поясе и везде поспевала. Высокая,

---

[1]) Хрестоматия, изд. Клюквина, Москва.

тонкая, еще несложившаяся, совсем ребенок в жизни — в своей комнате в куклы играла — она обещала быть красавицей. Она была почти безграмотна, но прекрасно знала лошадей и сама была лихой наездницей. На своем легком казачьем седле с серебряным убором, подаренным ей соседом—коневодом, знаменитым Подкопаевым, она в свободное время одна одинешенька носилась от косяка к косяку, что было весьма рискованно: не раз приходилось ускакивать от разозленного косячного жеребца. Меня она очень любила, хотя разговаривать нам было некогда, и конца краю радости ее не было, когда осенью, в день ее рождения, я подарил ей свой счастливый перламутровый кошелек, который с самой Казани во всех опасностях я сумел сберечь.

Меня она почтительно звала Алексеем Ивановичем, а сам старик, а по его примеру и табунщики, звали Алешей — ни усов, ни бороды у меня не было — а потом, когда я занял на зимовнике более высокое положение, калмыки и рабочие стали звать Иванычем, а в случае каких-нибудь просьб, Алексеем Иванычем. По приходе на зимовник я первое время жил в общей казарме, но скоро хозяева дали мне отдельную комнату; обедать я стал с ними, и никто из товарищей на это не обижался, тем более, что я все-таки от них не отдалялся и большую часть времени проводил в артели, — в доме скучно мне было.

А, главным образом, уважали меня за знание лошади, разные выкрутасы джигитовки и вольтижировки и за то, что сразу постиг об'ездку неуков и ловко владел арканом.

Хозяин же ценил меня за то, что при осмотре лошадей офицерами, говорившими между собой иногда по-французски, я переводил ему их оценку лошадей, что, конечно, давало барыш.

Ну, какому же чорту — не то, что гвардейскому офицеру — придет на ум, что черный и пропахший лошадиным

потом, с заскорузлыми руками, табунщик понимает по-французски!..

**
*

Хорошо мне жилось, никуда меня даже не тянуло отсюда, так хорошо! Да скоро эта светлая полоса моей жизни оборвалась, как всегда, совершенно неожиданно. Отдыхал я как-то после обеда в своей комнате, у окна, а наискось у своего окна стояла Женя, улыбалась и показывала мне мой подарок, перламутровый кошелек, а потом и крикнула:

— Кто-то к нам едет!

Вдали по степи клубилась пыль по Великокняжеской дороге — показалась коляска, запряженная четверней; значит, покупатели, значит, табун показывать, лошадей арканить. Я наскоро стал одеваться в лучшее платье, надел легкие козловые сапоги, взглянул в окно — и обмер. Коляска подкатывала к крыльцу, где уже стояли встречавшие, а в коляске молодой офицер в белой, гвардейской фуражке, а рядом с ним — незабвенная фигура — жандармский полковник, с седой головой, черными усами и над черными бровями знакомое золотое пенснэ горит на солнце...

Из коляски вынули два больших чемодана — значит, не на день приехали, отсюда будут другие зимовники об'езжать, а жить у нас.

Это часто бывало.

Сверкнула передо мной казанская история вплоть до медведя с визитными карточками.

Пока встречали гостей, пока выносили чемоданы, я схватил свитку, вынул из стола деньги — рублей сто накопилось от жалованья и крупных чаевых за показ лошадей, нырнул из окошка в сад, а потом скрылся в камышах и зашагал по бережку в степь...

А там шумный Ростов. В цирке суета — ведут лошадей на вокзал, цирк едет в Воронеж. Аким Никитин сломал руку, меня с радостью принимают... Из Воронежа едем в Саратов на зимний сезон. В Тамбове я случайно опаздываю на поезд — ждать следующего дня — и опять новая жизнь!

— Кисмет!

ГЛАВА VII

ТЕАТР

Антрепренер Григорьев. Зимний сезон в Тамбове. Летний в Моршанске. Пешком всей труппой. В Кирсанове. Как играли «Ревизора». Пешком по шпалам. Антрепренер Воронин. В Москву. Артистический кружок. Театральные знаменитости. Шкаморда. На отдыхе. Сад Сервье в Саратове. Далматов и Давыдов. Андреев-Бурлак. Вести с войны. Гаевская. Капитан Фофан. Горацио в казармах.

В конце шестидесятых, в начале семидесятых годов в Тамбове славился антрепренер Григорий Иванович Григорьев. Настоящая фамилия его была Аносов. Он был родом из воронежских купцов, но еще, будучи юношей, почувствовал «божественный ужас»: бросил прилавок, родительский дом и пошел впроголодь странствовать с бродячей труппой, пока через много лет не получил наследство после родителей. К этому времени он уже играл первые роли резонеров и решил сам содержать театр. Сначала он стал во главе бродячей труппы, играл по казачьим станицам на Дону, на ярмарках, в уездных городках Тамбовской и Воронежской губерний, потом снял театр на зиму сначала в Урюпине и Борисоглебске, а затем в губернском Тамбове. Вскоре после 1861 года наступили времена, когда помещики проедали выкупные, полученные за свои имения. Между ними были крупные меценаты, державшие театры и не жалевшие денег на приглашение лучших сил тогдашней сцены. Семейства тамбовских дворян, Ознобишиных, Алексеевых и Сатиных,

покровительствовали театру, а Ил. Ив. Ознобишин был даже автором нескольких пьес, имевших успех. Князь К. К. Грузинский — московский актер-любитель, под псевдонимом Звездочкина, сам держал театр, чередуясь с Г. И. Григорьевым, когда последний возвращался в Тамбов из своих поездок по мелким городам, которые он больше любил, чем солидную антрепризу в Тамбове.

Но и в Тамбове Г. И. не менял своих привычек. Он жил в большой квартире при своем театре, и его квартира была вечно уплотнена бродяжным актерским людом. Жили и в бельэтаже, и внизу, и даже в двух подвалах, где спали на пустых ящиках на соломе, иногда с поленом в головах. В одном из этих подвалов в 1875 году, великим постом, жил и я вместе с трагиком Волгиным-Кречетовым, поместившись на ящиках как раз под окном, лежавшим ниже уровня земли. «Переехал» я из этого подвала в соседний только потому, что рано утром свинья со двора продавила всю раму, которая с осколками стекла упала на мое ложе, а в разбитое окно к утру намело в подвал сугроб снега. Потом меня перевел наверх в свою комнату сын Г. И. Григорьева, Вася, помощник режиссера. Ему было лет восемнадцать, он обладал прекрасным небольшим голосом, играл простаков и водевили, пользовался всеобщей любовью и был кроме того прекрасным помощником режиссера. Впоследствии, когда он уже был женатым и был в почтенных летах, до самой смерти его никто иначе не звал, как Вася. Его любил покойный Антон Павлович Чехов, с которым он часто встречался у меня. Чехов любил слушать его интересные рассказы из актерского быта, а когда подарил ему с надписью свои «Сказки Мельпомены», то Григорьев их переплел в дорогой сафьяновый переплет и всегда носил в кармане. Между прочим, он у меня за ужином дал сюжет для «Каштанки» Чехову своим рассказом о тамбовском случае с собакой.

Точь-в-точь, как написано у Чехова. Собственно говоря, Вася Григорьев и был виновник того, что я поступил на сцену, а значит и того, что я имею удовольствие писать эти строки.

В 1875 году, когда цирк переезжал из Воронежа в Саратов, я был в Тамбове в театре на галерке, зашел в соседний с театром актерский ресторан Пустовалова. Там случилась драка, во время которой какие-то загулявшие базарные торговцы бросились за что-то бить Васю Григорьева и его товарища, выходного актера Евстигнеева, которых я и не видал никогда прежде. Я заступился, избил и выгнал из ресторана буянов.

И в эту ночь я переночевал на ящиках в подвале вместе с Евстигнеевым, а на другой день был принят выходным актером, и в тот же вечер, измазавшись сажей, играл негра-невольника без слов в «Хижине дяди Тома».

Спектакль не обошелся без курьезов. Во-первых, на всех заборах были расклеены афиши с опечаткой. Огромными буквами красовалось «Жижина дяди Тома», второе — за час до начала спектакля привели на сцену десяток солдат, которым сделали репетицию. Они изображали негров. Их усадили на пол у стенки и об'яснили, что при входе дяди Тома они должны встать, поклониться и сказать: «Здравствуйте, дядя Том». Сели, встали перед Томом, сняли шапки, поклонились и сказали: «Здравствуйте, дядя Том».

Репетиция кончилась. Начался спектакль. Подняли занавес. Передние ряды блестели военными мундирами. Негры с вымазанными сажей руками и лицами, в париках из черной курчавой вязанки сидят у стенки и едят глазами свое начальство. Сижу с ними и я. Входит дядя Том. Вскакивают негры, вытягиваются во фронт, ловко снимают парики, принимая их за шапки, и гаркают: «Здравия желаем, дядя

Том». Сажусь с ними и я, конечно, не снимая парика и едва удерживаясь от хохота. И самое интересное, что публика ничего не заметила. Так видно и надо! Но от Григорьева, после акта, досталось кому следует. Дня через два после этого Вася привел меня наверх к обеду и представил отцу, наговорив, что я — образованный человек и служил наездником в цирке. Григорьев принял меня радушно, подал свою огромную мягкую руку и сказал:

— Хотите быть актером-с? Очень, очень хорошо-с. Пожалуйте-с обедать-с.

И указал на стол, где стоял чугун с горячими щами, несколько тарелок, огромная обливная глиняная чашка и груда деревянных ложек. Прямо на белой скатерти гора нарезанного хлеба. Григорий Иванович, старый комик Казаков с женой, глухой суфлер Качевский наливали себе щи в отдельные тарелки и ели серебряными ложками, а мы, все остальные семеро актеров, хлебали из общей чашки. Потом принесли огромный противень с бараньей ногой, с горой каши, и все принесенное мы с'ели.

Когда доедали баранину, отворилась дверь. Вошел огромный, небритый актер в каком-то рваном выцветшем плаще.

— Гриша, а я из Харькова, — загремел страшный бас.

— А, Волгин, садись вот рядом. Сейчас тебе щей дадут.

— А горилки?

— Вася, принеси ему водки и вели Фросе щей налить.

Вася взял большую чашку и вышел. Общие приветствия — все старые друзья.

— Значит, в воскресенье мы ставим «Велизария»?

— А я бы хотел спеть «Неизвестного».

— «Велизария» будешь. «Аскольдову могилу» в твой бенефис в тот четверг поставим.

— Ладно. В Харькове с подлецом Палачом поругался, набил ему его антрепренерскую морду и ушел.

— Да! В Грязях Львова-Сусанина встретил. Шампанским меня напоил и обедом угостил и пять золотых червонцев подарил. Заедет в Воронеж к родным, а через неделю к тебе приедет. Лупит верхом с Кавказа. В папахе, в бурке. Чорт чортом. Сбруя серебряная.

— Это откуда еще? — удивился Григорьев.

— На Кавказе абреков ограбил. Верно. Золота полны карманы. Шурует. Служить к тебе едет.

И это были последние слова Волгина. Большой графин водки Волгин опорожнил скоро. С'ел чашку щей и массу каши и баранины. Ел зло, молча, не слыша слов и не отвечая на вопросы. А поев, сказал:

— Спать хочу.

Его поместили на ящиках в подвале.

Заезжал еще проездом из Саратова в Москву актер Докучаев, тот самый, о котором Сухово-Кобылин говорит в «Свадьбе Кречинского»: «После Докучаевской трепки не жить».

* * *

Сезон прошел прекрасно. К Григорьеву приезжали знаменитые актеры и приходили актерики маленькие, актеры-щеголи и актеры-пропойцы, и всем было место и отеческий прием.

— Садись, обедай и живи.

Как в сечь запорожскую являлись. Ели из общей чашки, пили чай вокруг огромнейшего самовара в прикуску, и никаких интриг в труппе Григорьева не бывало никогда. Кто был в состоянии, переезжал в номера, а беднота жила при театре в уборных или в подвале, чередовалась выходить в город в ожидании пальто или шубы, которые были общие. Две шубы и два пальто для актеров. На сапоги и калоши Григорьев выдавал записки в магазины, по которым пред-

явителю отпускалось требуемое, а потом стоимость вычиталась из жалованья. Шляпы, конечно, брались из реквизита. «Чужим» актерам, приглашенным на условиях (контрактов Григорьев не заключал, ему все верили на слово), жившим семейно в номерах, жалованье платилось аккуратно, а пришедшим только записывалось, вычитывалось за еду и одежду, а отдавалось после сезона. И никто не требовал, зная одно, что у Григория Ивановича всегда есть место всякому актеру без ангажемента и всегда у него есть возможность пережить тяжелое время. По его адресу посылались телеграммы актерам, и от него они уезжали на места, всегда дружески расставаясь. Только насчет наличных денег Григорий Иванович был скуповат.

— Все равно пропьют-с. Сколько не давай! — говорил он и, сказать по чести, он был прав: пропьются в сезон, а выехать не с чем.

Всегда и всем Григорий Иванович говорил «ты», но когда у него просили денег, обращался на «вы». И для каждого у него была определенная стоимость и разные кошельки.

— Григорий Иванович, дай-ка мне сто рублей, — просит Волгин.

— Шутите-с. На что это вам-с? Я вас одел-с, сапожки-с вам со скрипом... к губернатору с визитом ездили в моем сюртуке. На что же вам-с?

И лезет в правый карман за кошельком.

— Вот, видите-с, две красненькие. Одну дам вам, а одну себе-с!

И как ни торговался Волгин, больше красненькой и получить не мог. Сережа Евстигнеев просит пять рублей.

— Это вам куда-с? Таких денег у меня и не бывает! Вот, видите?—и из левого кармана вынимается кошелек с

тремя двугривенными, из коих два поступают Евстигнееву на пропой.

Зато приглашенным актерам платилось аккуратнейшим образом первого и пятнадцатого числа и платилось совершенно особым способом: подойдет Г. И. на репетиции к Вольскому, первому любовнику:

— Федор Калистратович, пожалуйте-ка сюда, — и незаметно кладет в руку пачку денег. — Здесь четыреста пятьдесят за полмесяца (Вольский с женой получали девятьсот).

Обращается к Славину:

— Сегодня первое, Алеша, держи двести.

Далее к Микульской, Лебедевой, Песоцкому, Красовской и другим. И никаких расписок и никогда никаких недоразумений.

Окончился сезон. Постом все актеры, получившие кто жалованье, кто на дорогу, уехали в Москву. Остались неразлучные, неизменные Казаков с женой и глухой Качевский, его друг, секретарь и казначей. Помню сцену.

Мы пьем чай. Кричит из кабинета Григорьев:

— Федор Федорович, где мои туфли?

— А? — и Качевский прикладывает руку к уху.

— Где мои туфли? — еще громче кричит Григорьев.

— Они в прошлом году в Саратове служили, — совершенно серьезно отвечает Качевский, думая, что он спрашивает про супругов Синельниковых.

Жили с нами еще несколько актеров, в том числе и молодожены Рыбаковы, ничего общего со знаменитостью не имевшие, кроме фамилии. Это было основание летнего сезона труппы в Моршанске, где Григорий Иванович снял театр.

***

В Моршанске театр был за рекой в большом барском саду. Рядом с театром двухэтажное здание с террасой было

занято для труппы. Тут же поместился и сам Григорьев. Некоторые холостяки ночевали, как это полагалось, в уборных театра и в садовых беседках. После репетиции, часу во втором, все вместе собирались обедать на террасе нашего дома. Также ели из общей чашки, также крошили мясо во щи и также ко всякому обеду накрывалась чистая скатерть. Это была слабость Григория Ивановича. Тут же пили чай утром и вечером и ужинали, кроме счастливцев, которые после спектакля иногда позволяли себе ужинать в саду в театральном буфете, где кредит, смотря по получаемому жалованью, открывался актерам от пяти до тридцати рублей в месяц, что гарантировал Григорий Иванович. Ужинами актеров угощали больше моршанские купцы, а на свой счет никогда не ужинали, только водку пили. Угощающих актеры звали карасями: поймать карася!

В половине сезона труппа пополнилась несколькими актерами без места и за столом становилось тесно, но все шло в порядке. Только щей, вместо двух чугунов, стали варить три. Целые дни актеры слонялись по саду. В город ходили редко, получив ярлык на покупку обуви и одежды в счет жалованья. Уходя в город, занимали друг у друга пальто и сапоги. Только один Изорин не надевал чужого платья. Он изящно и гордо носил свою, когда-то шикарную чесучевую пару и резиновые калоши, которые надевал прямо на босу ногу. И раз он был жестоко обижен. У хориста Макарова заболела нога. Он снял сапог, надел калошу спавшего Изорина и ушел в город. Изорин, проснувшись, не нашел калоши и принужден был явиться на террасу к чаю в одной калоше и чуть не плакал. Утешился он, когда Макаров вернулся и возвратил калошу. Все-таки он пожаловался.

— Григорий Иванович! Что же это такое? Калоши оставить нельзя! Придут, наденут, как свою, и уйдут. Дело дойдет до того, что и мой пиджак последний кто-нибудь наденет.

— Ну и что же-с? Ну и наденет! И мое пальто бы надели, да оно никому не впору, кроме Волгина. Длинно-с! А Волгин надевал. Велика беда! Обратно принесут!

Но Изорин никак не мог примириться с такими взглядами. Это был человек с большими странностями. Настоящая фамилия его была Вышеславцев. Почти всю жизнь он провел за границей. Прожил большие деньги. В 1871 году участвовал в Парижской коммуне, за что был лишен наследства своими родными. Он безумно любил театр. Был знаком со всеми знаменитостями за границей и, вернувшись в Россию без гроша денег, отвергнутый знатной родней, явился в Тамбов к Григорьеву и для дебюта так сыграл Жоржа Дорси в «Гувернере», что изысканная тамбовская публика в восторг пришла, и с того дня стал актером. И лучшего дона Сезар де Базана я не видал. Он играл самого себя. Он прослужил с нами моршанский сезон, отправился с нашей труппой в Кирсанов и был во время нашего пути от Моршанска до Кирсанова самой яркой и незабвенной фигурой.

Из Моршанска в Кирсанов мы всей труппой отправились по образу пешего хождения. Только уехал по железной дороге один Григорьев—старик, чтобы все приготовить к нашему приходу. Театральное имущество он увез с собой. Для актрис была нанята телега, на которой, кроме них, поместился и старик Качевский, а мы все шли пешком за телегой, нагруженной, кроме того, с'естными припасами. У нас было несколько караваев хлеба, крупа и соль, котел, чайник и посуда. Была и баранина. Когда же кто-то предложил Григорьеву купить картошки (она стоила пятиалтынный мера), то он сказал:

— Помилуйте-с? Где же это видано, чтобы в августе месяце картошку покупали? Ночью сами в поле накопаете!

И действительно, мы воровали картошку на деревенских полях, а мне удалось раз ночью украсть на мельнице гуся, который и был сварен с пшеном. Сколько радости было!

Двигались мы, не торопясь. Делали привалы и варили обед и ужин, пили чай, поочередно отдыхали по одному на телеге, и к нашему великому счастью погода была все время великолепная. В деревнях, пустовавших в это время благодаря уборке хлеба, мы иногда покупали молоко и яйца. Как дети малые радовались всему. Увидав тушканчика, бросались по степи его ловить, но он скрывался в норе и ловцы с хохотом возвращались к своей телеге.

Самую смешную фигуру представлял собой молчаливый и все-таки изящный Изорин в своих резиновых калошах, грязной чесучевой паре и широкой шляпе, в которой он играл Карла Моора. Он крутил из афиши собачью ножку для махорки, и, когда курил, на его красивом бледном лице сияло удовольствие. Может, он вспоминал Ниццу или Неаполь и дорогую Гаванну, но судя по выражению его лица, не жалел о прошлом. Зато, когда он вместе с другими, своими тонкими пальцами чистил картошку, лицо его принимало суровое, сосредоточенное выражение. Ночевали на телеге, под телегой, на земле, на театральных коврах и рогожах. Изорину, изнеженному, ночью и, особенно, под утро, особенно во время холодной росы дрожавшему в своем пиджаке и ругавшемуся вполголоса по-французски, кто-нибудь давал свое пальто или рогожу, а длинный белобрысый простак Белов, шедший всю дорогу в желтой парчевой кофте свахи из «Русской свадьбы», на ночь снимал ее и клал под голову, чтобы не испачкать.

**
*

В Кирсанове театр был в заброшенном амбаре, где до нас то хлеб складывали, то ветчину солили. Кроме нас, при-

шедших пехтурой, приехали из Тамбова по железной дороге сам Григорьев и его друзья, старые актеры — комики А. Д. Казаков и Василий Трофимович Островский. Последний был одержим запоем, а во время запоя страдал страстным желанием хоть перед кем-нибудь, да говорить! Он нанимал первого попавшегося извозчика по часам, приглашал его к себе в номер, угощал чаем и водкой и говорил перед ним целую ночь, декламируя сцены из пьес, читая стихи. Старый, красноносый Казаков с молодой женой был мрачен и молчалив. Впрочем, он рассказывал, как лет двадцать назад он приехал с труппой в Кирсанов по пути из Саратова в Воронеж и дал здесь три спектакля, но так как не было помещения в городе, то они играли на эшафоте. Накануне их приезда преступников наказывали, кнутом пороли, и он уговорил исправника пока эшафота не снимать и сдать ему под представление. Сторговались за четыре рубля в вечер, огородили, поставили скамьи для публики, а сам эшафот служил сценой.

— С успехом прошел третий акт «Аскольдовой могилы»! Петя Молодцов, тогда еще молодой, Торопку пел! — закончил он свой рассказ.

Наш репертуар был самый пестрый, пьесы ставили с такими купюрами, что и узнать их было нельзя, десятками действующие лица вычеркивались. «Ревизора» играли мы десять человек, вместо врача Гюбнера посадили портного, у которого я жил на квартире и в первом акте, когда городничий рассказывает об ожидании ревизора, где Гюбнер говорит только одно слово: «Как, ревизор»? — портной здорово подвыпивший, рявкнул на весь театр, ударив кулаком по столу:

— Как, левизор!

Я играл Добчинского, купца Абдулина и Держиморду, то и дело переодеваясь за кулисами. Треуголка и шпага была

на всех одна. Входившие представляться чиновники брали за кулисами их поочередно у выходящего со сцены. Все-таки сезон кончили благополучно. Григорьев рассчитался, так что мне удалось заплатить за квартиру рубля два, да рубля два еще осталось в кармане. Поздней ночью труппа раз'ехалась, кто куда. Остались в Кирсанове я и суфлер С. А. Андреев-Корсиков. Деньги вышли, делать нечего, ехать не с чем. Пошли пешком в Рязань через Тамбов. В Рязани у Андреева было на зиму место суфлера. Мы вышли по шпалам ранним утром. Я был одет в пиджак, красную рубаху и высокие сапоги. Андреев являл жалкую фигуру—в лаковых ботинках, в шелковой, когда-то белой стеганой шляпе и взятой для тепла им у сердобольной или может быть зазевавшейся кухарки соседнего дома, ватной линючей кацавейке турецкими цветами. Дорогой питались желтыми переспелыми огурцами у путевых сторожей, которые иногда давали нам и хлебца.

Шли весело. Ночевали на воздухе около будок. Погода стояла на счастье все время теплая и ясная. В Тамбове Григорьева не было, у приятеля перехватили рублишко и дошли до Ряжска. Здесь, непривычный к походам Андреев, окончательно лишившись лаковых ботинок, обезножил, и мы остановились в номере, отдав вперед полтинник и стали ходить на вокзал, где Андреев старался как-нибудь устроить проезд до Рязани. Хозяин постоялки на другой же день, видя наши костюмы, стал требовать деньги и не давал самовара, из которого мы грелись простым кипятком с черным хлебом, так как о чае с сахаром мы могли только мечтать. Андреев днем ушел и скрылся. Я ждал его до вечера, сидя дома. Шел холодный дождь. Наконец, вечером ко мне стучат. Молчу. Слышу, посылают за полицией. Беспаспортным это неудобно! На улице дождь, буря, темь непроглядная. Я открыл окно и, спустившись на руках сколько возможно, плюхнул с высоты второго этажа в лужу, и с той минуты оставил на-

всегда этот гостеприимный кров. Куда девался Андреев, здесь я так и не узнал. Он оказался потом в Рязани, куда уехал с приятелем, случайно встреченным на вокзале. Впрочем, я за это был ему благодарен: дорогой он меня стеснял своей слабостью. Мокрый и голодный, я вскочил на площадку отходившего товарного поезда и благополучно ехал всю ночь, иногда, под'езжая к станции, соскакивал на ходу и уходил вперед, чтобы не обращать внимания жандарма, а когда поезд двигался, снова садился.

Цель моего стремления была Рязань, театр и Андреев. Как бы то ни было, а до Рязани я добрался благополучно. Были сумерки, шел дождь. Подошвы давно износились, дошло до родительских, которые весьма и весьма страдали от несуразной рязанской мостовой. Добрался до театра. Заперто кругом. Стучу в одну дверь, в другую и, наконец, слышу голос:

— Какого там дьявола леший носит?

И никакое ангельское пение не усладило бы так мой слух, как эта ругань.

— Семен, отпирай! — гаркнул я в ответ, услыхав голос Андреева.

— Володя, это ты? — как-то сконфуженно ответил мой друг, отпирая дверь.

— Я, брат, я!

Мы вошли в уборную, где в золоченом деревянном канделябре горел сальный огарок и освещал полбутылки водки, булки и колбасу. Оказалось, что Андреев в громадном здании театра один одинешенек. Антрепренер Воронин, бывший кантонист, уехал в деревню, а сторожа прогнали за пьянство.

Обменявшись рассказами о наших злоключениях, мы завалились спать. Андреев в уборной устроил постель из пачек ролей и закрылся кацавейкой, а я на сцене, еще не

просохший, завернулся в небо и море, сунул под голову крышку гроба из «Лукреции Борджиа», и уснул сном самого счастливого человека, достигшего своей цели. У Андреева деньги были и мы зажили во-всю. Я даже сделал новые подметки к своим сапогам, а пока их чинили, ходил в красных боярских, взятых из реквизита. Андреев, его настоящая фамилия Корсиков, впоследствии был суфлером в Александринском театре, откуда был удален за принадлежность к нелегальной партии, потом служил у Корша и жив до сего времени, служа в каком-то театральном деле в провинции.

— Семен Андреевич, не обижайтесь, что я вспомнил ваши злоключения, ведь что было, того из жизни не выкинешь!

Благодаря ему Воронин меня принял помощником режиссера. Я подружился с труппой, очень недурной, и особенно сблизился с покойным Николаем Петровичем Киреевым, прекрасным актером и переводчиком Сарду. Свободные вечера я проводил у него, в то время, когда он кончал перевод драмы «Отечество», запрещенной тотчас же по выходе. Он жил в номерах вместе с своей женой, прекрасной «гранд-дам» Е. Н. Николаевой-Кривской. Киреев был отставной артиллерийский офицер, ранее кончивший университет.

Приехали на гастроли актеры из Москвы, дела шли недурно, но я поссорился с Ворониным, поколотил его на сцене при всей труппе, заступившись за обиженного им хориста, и уехал в Москву, где тотчас же, благодаря актеру Лебедеву, который приезжал на гастроли в Рязань, я устроился вторым помощником режиссера в «Артистический кружок» к Н. Е. Вильде. Старшим помощником режиссера был Я. И. Карташев, и мне часто приходилось работать за него. Кружок помещался в доме Бронникова на углу Охотного ряда и Театральной площади, и это был тогда единственный

театр в России, где играли великим постом. Мудрый Вильде обошел закон, и ему были разрешены спектакли генерал-губернатором В. А. Долгоруковым с тем, чтобы на афишах стояло «сцена из пьесы», а не драма, комедия и т. п. Например, сцена из трагедии «Гамлет», сцена из комедии «Ревизор», сцена из оперетки «Елена Прекрасная» и т. д., хотя пьеса игралась полностью. Н. Е. Вильде очень плохо платил актерам, и я долго был без квартиры. Иногда ночевал я в «Чернышах», у М. В. Лентовского, иногда у В. И. Путяты в «Челышах», над Челышевскими банями, в этом старом барском доме, где теперь на месте новой гостиницы «Метрополь» — 2-й Дом Советов. Ночевал и у других актеров, которые меня уводили прямо со спектакля к себе. Если таких благоприятных случаев не было, я иногда потихоньку устраивался или на сцене или в залах на диване. Раз вышла неприятность. Часу в третьем ночи, когда спектакль кончился рано и все ушли, я улегся на кушетке в уборной С. А. Бельской, которая со своим мужем, первым опереточным комиком Родоном, имели огромный успех, как опереточные артисты. Вдруг меня будят. Явился со свечей смотритель кружка, только что поступивший на службу, и выгнал меня на улицу. В кармане ни гроша, пальто холодное, калош нет, а мороз градусов двадцать, пришлось шляться по улицам и бульварам, пока не услыхал звон к заутрене в Никитском монастыре, побежал туда и простоял до утра.

В кружке бывало ежедневно великопостное собрание артистов, где с антрепренерами заключались контракты. Ряды зал этого огромного помещения до круглого белого колонного зала включительно великим постом переполнялись вычурными костюмами первых персонажей и очень бедными провинциальными артистками и артистами. Сюда гостеприимно допускали всех провинциальных артистов в это время, и это было главным местом их встреч с антре-

пренерами и единственным для артисток, так как мужчины могли встречаться и днем в Щербаковском трактире на Петровке, против Кузнецкого Моста, в ресторане Вельде, за Большим театром и в ресторане «Ливорно» в Газетном переулке. Как эти трактиры, так и кружок посещали артисты и московских театров, особенно Малого: Самарин, Шумский, Живокини, Решимов и другие, где встречались со своими старыми товарищами по провинции. М. П. Садовский, тогда еще молодой, бывал каждый вечер в кружке, а его жена, Ольга Осиповна, участвовала в спектаклях кружка. Бывали и многие писатели среди них: Островский А. Н., Н. А. Чаев, С. А. Юрьев, который каз раз в это время ставил в Малом театре свой перевод с испанского «Овечий источник». Чаще других бывали Ленский, Музиль, Рябов, а три брата Кондратьевых не пропускали ни одного вечера. Артисток Малого театра я никогда не видал в кружке, а петербургские знаменитые актеры специально для дружеских встреч приезжали на это время из Петербурга, и чаще других И. Ф. Горбунов.

Бывали и артисты «Сосьете», французского театра. Играли они в Солодовническом театре. Бывали и артисты общедоступного частного театра на Солянке, где шла тогда с огромным успехом драма «Убийство Коверлей», переведенная с английского Н. П. Киреевым, который с Е. Ф. Критской служили там на первых ролях.

Только одного человека не пускали, по распоряжению какого-то театрального начальства, а человека дорогого и близкого провинциальным актерам. Место этого человека было на под'езде кружка в зимний холод и только иногда, благодаря любезности капельдинера, в раздевальне. К нему сюда спускались по широкой лестнице по мягким коврам один за другим артисты и артистки всех рангов. Я узнал об этом, уже прослужа несколько месяцев. Как-то в минуту

карманной невзгоды я пожаловался моему старшему товарищу Карташеву:

— Яков Иванович, а, видно, опять денег не дадут!

— А ты бы пошкамордил! Я тебя на воскресенье отпущу.

И повел он меня вниз в вестибюль. За вешалкой стояла очень пожилая крошечная женщина с живыми глазами, глядевшими из-под ушастого капора. Над ней, согнувшись в три погибели, наклонился огромный актер Никанор Балкашин, поцеловал ей руку и пошел навстречу к нам. Следующее воскресенье вместе с Балкашиным и другими был на Морозовской фабрике в Оерхове-Зуеве и суфлировал за десять рублей в вечер. Это тогда и называлось шкамордить. Теперь — халтурить. Шкаморда — мать халтуры. Она уверяла, и это подтвердили ее земляки — украинские актеры, что она происходит из громкой малороссийской фамилии, и что предок ее был Богдан Хмельницкий. Когда-то недурная водевильная актриса, она сделалась первой летучей антрепренершей, стала по ближайшим к Москве уездным городам и на больших фабриках устраивать спектакли для рабочих, актерам платила разовые и возила их на свой счет в Серпухов, Богородск, Коломну и на московские большие фабрики. Она была далекая предшественница А. А. Бренко — просветительницы рабочих с начала 90-х годов. Хорошо зарабатывала, хорошо платила актерам, но сама всегда была без копейки. Добрая и отзывчивая, она отдавала иногда последний рубль нуждающейся актерской семье, и нередко голодала сама.

Я еще два раза с’ездил с ней суфлировать на фабрики в Коломну и Серпухов и получал по десять рублей чистеньких, не имея никаких расходов: и возила, и кормила. Для спектаклей со строгим выбором брала Шкаморда актеров, которых знала на перечет. Страшно боялась скандала в по-

следнее время со стороны провинциальных трагиков, после того, как Волгин-Кречетов напился пьян в Коломне и после спектакля переломал все кулисы и декорации в театре купцов Фроловых, и когда Фроловы подали в суд на Шкаморду, она уже сцен из трагедий не ставила, а обходилась комедиями и водевилями. У нее игрывали и читывали почти все знаменитости того времени, нередко нуждавшиеся в красненькой, а вот, — в кружок ее не пускали.

Когда я не участвовал в спектаклях кружка, я обязательно бывал в Малом театре. Служа в кружке, я перезнакомился со всеми лучшими силами московских и провинциальных сцен и вообще много приобрел интересных знакомств.

Прошел пост, окончился сезон. Мне опять захотелось простора и разгула. Я имел приглашение на летний сезон в Минск и Смоленск, а тут подвернулся старый знакомый, богатый казак Боков, с которым я познакомился еще во время циркового сезона и предложил мне ехать к нему на Дон в его имение, под Таганрогом. Оттуда мы поехали в Кабарду покупать для его коневодства производителей.

Опять новые знакомства... Побывал у кабардинцев Урузбиевых, поднимался на Эльбрус, потом опять очутился на Волге и случайно на пароходе прочел в газете, что в Саратове играет первоклассная труппа под управлением старого актера А. И. Погонина, с которым я служил в Тамбове у Григорьева. В Саратове я пошел прямо на репетицию в сад Сервье на окраине, где был прекрасный летний театр и сразу был принят на вторые роли. Первые персонажи были, и тогда еще тоже молодежь, В. П. Далматов, В. Н. Давыдов, уже начинавшие входить в славу, В. Н. Андреев-Бурлак, уже окончательно поступивший из капитанов парохода в актеры, известность — Аркадий Большаков, драматическая А. А. Стрельская, затем Майерова, жена талантливого му-

зыканта-дирижера А. С. Кондрашова, Очкина, Александрова. Первым драматическим любовником и опереточным певцом был молодой красавец Инсарский, ему в драме дублировал Никольский, впоследствии артист Александринского театра... Труппа была большая и хорошая. Все жили в недорогих квартирах местных обывателей, большинство столовалось в театральном буфете, где все вместе обедали после репетиции и потом уже расходились по квартирам. Я жил неподалеку от театра с маленькими актерами Кариным и Симоновым. Первый был горький пьяница, второй—ухажер писарского типа.

У меня было особое развлечение. Далеко за городом, под Лысой горой, были пустыри оврагов, населенных летом галаховцами, перекочевавшими из ночлежного дома Галахова на эту свою летнюю дачу. Здесь целый день кипела игра в орлянку. Пьянство, скандалы, драки. Играли и эти оборванцы, и бурлаки, и грузчики, а по воскресеньям шли толпами разные служащие из города и обитатели «Тараканьих выползков», этой бедняцкой окраины города. По воскресеньям, если посмотреть с горки, всюду шевелятся круглые толпы орлянщиков. То они наклоняются одновременно все к земле — ставят деньги в круг или получают выигрыши, то смотрят в небо, задрав головы, следя за полетом брошенного метчиком пятака, и стремительно бросаются в сторону, где хлопнулся о землю пятак. Если выпал орел, то метчик один наклоняется и загребает все деньги, а остальные готовят новые ставки, кладут новые стопки серебра или медяков, причем серебро кладется сверху, чтобы сразу было видно, сколько денег. Метчик оглядывает кучки, и если ему не по силам, просит часть снять, а если хватает в кармане денег на расплату, заявляет:

— Еду за все!

Плюнет на орла, — примета такая, — потрет его о подошву сапога, чтобы блестел ярче, и запустит умелою рукою крутящийся с визгом в воздухе пятак, чуть видно его, а публика опять головы кверху.

— Дождя просят! — острят неиграющие любители.

Вот я по старой бродяжной привычке любил ходить «дождя просить». Метал я ловко, и мне за эту метку особенно охотно ставили: «без обману — игра на счастье».

Но и обман бывал: были пятаки, в Саратове, в остроге их один арестант работал, с пружиною внутри, как бы ни хлопнулся, а обязательно перевернется, орлом кверху упадет. Об этом слух уже был и редкий метчик решится под Лысой горой таким пятаком метать. А пользуются им у незнающих пришлых мужиков, а если здесь заметят — разорвут на части тут же, что и бывало.

После репетиции ходил играть в орлянку, иногда приносил полные карманы медяков и серебра, а иногда, конечно, и проигрывал. После спектакля — тоже развлечение. Ужинаем компанией и разные шутки шутим. Прежде с нами ужинал Далматов, шутник и озорник не последний, а смирился, как начал ухаживать за Стрельской; ужинал с ней вдвоем на отдельном столике или в палатке на кругу. И вздумали мы как-то подшутить над ним. Сговорились за столом, сидя за ужином, я, Давыдов, Большаков, Андреев-Бурлак да Инсарский. Большаков взял мою табакерку, пошел к себе в уборную в театр, нам сказал, чтобы мы выходили, когда пойдет парочка домой и следовали издали за ней. Вечер был туманный, по небу ходили тучки, а дождя не было. Встала парочка, пошла к выходу под руку, мы за ней. Стрельская на соседней улице нанимала хорошенькую дачку в три комнаты, где жила со своей горничной. Единственная дверь выходила прямо в сад на дорожку, усыпанную песком и окруженную сиренью.

Идет парочка под руку, мы сзади... Вдруг нас перегоняет рваный старичишка с букетом цветов.

— Сейчас начнется! — шепнул он нам. Перегоняет парочку и предлагает купить цветы. Парочка остановилась у самых ворот. Далматов дает деньги, оба исчезают за загородкой. Мы стоим у забора. Стрельская чихает и смеется. Что-то говорят, но слов не слышно. Наконец, зверски начинает чихать Далматов, раз, два, три...

— Ах, мерзавцы, — гремит Далматов и продолжает чихать на весь сад. Мы исчезаем. На другой день, как ни в чем не бывало, Далматов пришел на репетицию, мы тоже ему вида не подали, хотя он подозрительно посматривал на мою табакерку, на Большакова и на Давыдова. Много после я рассказал ему о проделке, да много-много лет спустя, незадолго до смерти В. Н. Давыдова, сидя в уборной А. И. Южина в Малом театре, мы вспоминали прошлое. Давыдов напомнил:

— А помнишь, Володя, как мы твоим табаком в Саратове Далматова со Стрельской угостили?

Смеялся я над Далматовым, но и со мной случилось нечто подобное. У нас в труппе служила выходной актрисой Гаевская, красивая, изящная барышня, из хорошей семьи, поступившая на сцену из любви к театру без жалованья, так как родители были со средствами. Это было первое существо женского пола, на которое я обратил внимание. В гимназии я был в той группе товарищей, которая презирала женский пол, называя всех под одну бирку «бабьем», а тех учеников, которые назначали свидания гимназисткам и дежурили около женской гимназии ради этих свиданий, мы презирали еще больше. Ни на какие балы с танцами мы не ходили, а если приходилось иногда бывать, то демонстративно не танцовали, да и танцовать-то из нас никто не умел. У меня же была особая ненависть к женщинам, бла-

годаря красавицам-тетушкам Разнатовским, институткам, которые до выхода своего замуж терзали меня за мужицкие манеры и придумывали для меня всякие наказания.

— Ну, как же после этого не возненавидеть женский пол!

На Волге в бурлаках и крючниках мы и в глаза не видали женщин, а в полку видели только грязных баб, сидевших на корчагах с лапшей и картошкой около казарменных ворот, да гулящих девок по трактирам, намазанных и хриплых, соприкосновения с которыми наша юнкерская компания прямо-таки боялась, особенно наслушавшись увещаний полкового доктора Глебова.

Служа потом у Григорьева, опять как-то у нас была компания особая, а Вася Григорьев, влюбленный платонически в инженю Лебедеву, вздыхал и угощал нас водкой, чтобы только поговорить о предмете сердца.

* * *

Итак, первое существо женского пола была Гаевская, на которое я и внимание обратил только потому, что за ней начал ухаживать Симонов, а потом комик Большаков позволял себе ее ухватывать за подбородок и хлопать по плечу в виде шутки. И вот как-то я увидел во время репетиции, что Симонов, не заметив меня, подошел к Гаевской, стоявшей с ролью под лампой между кулис, и попытался ее обнять. Она вскрикнула:

— Что вы, как смеете!

Я молча прыгнул из-за кулис, схватил его за горло, прижал к стене, дал пощечину и стал драть за уши. На шум прибежали со сцены все репетировавшие, в том числе и Большаков.

— Если когда-нибудь ты или кто-нибудь еще позволит обидеть Гаевскую — ребра переломаю! — и ушел в буфет.

Как рукой сняло. Вечером я извинился перед Гаевской и с той поры после спектакля стал ее всегда провожать домой, подружился с ней, но никогда даже не предложил ей руки, провожая. Отношения были самые строгие, хотя она мне очень понравилась. Впрочем, это скоро все кончилось, я ушел на войну. Но до этого я познакомился с ее семьей и бывал у них, бросил и орлянку и все мои прежние развлечения.

Первая встреча была такова.

Я вошел. В столовой кипел самовар и за столом сидел с трубкой во рту седой старик с четырехугольным бронзовым лицом и седой бородой, росшей густо только снизу подбородка. Одет он был в дорогой шелковый, китайской материи халат, на котором красовался офицерский Георгий. Рядом мать Гаевской, с которой Гаевская познакомила меня в театре.

— Мой муж, — представила она мне его. — Очень рады гостю!

Я назвал себя.

— А я — капитан Фофанов.

Познакомились. За чаем разговорились. Конечно, я поинтересовался Георгием.

— За двадцать пять кампаний. Недаром достался. Поработал — и отдыхаю... Двадцать лет в отставке, а вчера восемьдесят стукнуло...

— Скажите, капитан, был ли у вас когда-нибудь на корабле матрос Югов, не помните?

— Югов? Васька Югов!

В слове Югов он сделал ударение на последнем слоге.

— Был ли?! Да я этого мерзавца никогда не забуду! А вы почем его знаете?

— Да десять лет назад он служил у моего отца...

— Десять лет. Не может этого быть?!

И я описал офицеру Китаева.

— Как? Так Васька Югов жив? Вот мерзавец! Он только это и мог — никто больше! Как же он жив, когда я его списал с корабля утонувшим! Ну, ну и мерзавец. Лиза, слышишь? Этот мерзавец жив... Молодец, не ожидал. Ну, как, здоров еще он?

Я рассказал подробно все, что знал о Югове, а Фофанов все время восклицал, перемешивая слова:

— Мерзавец!

— Молодец!

Наконец спросил:

— А про меня Васька не вспомнил?

— Вспоминал и говорит, что вы, — извините капитан, — зверь были, а командир прекрасный, он вас очень любил.

— Вер-р-но, вер-р-но... Если бы я не был зверь, так не сидел бы здесь и этого не имел.

Он указал на Георгиевский крест.

— Да разве с такими Васьками Юговыми можно быть не зверем? Я службу требовал, дисциплину держал.

Он стукнул мохнатым кулачищем по столу.

— Ах, мерзавец! А вы знаете, что лучшего матроса у меня не бывало. Он меня в Индии от смерти спас. И силища была, и отчаянный же. Представьте себе, этот мерр-завец из толпы дикарей, напавших на нас, голыми руками индийского раджу выхватил как щенка и на шлюпку притащил. Уж и исполосовал я это индийское чудище линьками! Чорт с ним, что король, никого я никогда не боялся... только... Ваську Югова боялся... Его боялся... Что с него, дьявола, взять? Схватит и перервет пополам человека... Ему все равно, а потом казни... Раз против меня, под Японией было, у Ослиных островов бунт затеял, против меня пошел. Я его хотел расстрелять, запер в трюм, а он, чорт его знает как,

пропал с корабля... Все на другой день перерыли до синь-пороха, а его не нашли. До Ослиных островов было несколько миль, да они сплошной камень, в бурунах, погода свежая... Думать нельзя было... Так и решили, что Васька утонул, и списал я его утонувшим.

— А вот оказалось, доплыл до берега,—сказал я.

— Про кого ни скажи, что пять миль при норд-осте в ноябре там проплывет — не поверю никому... Опять же Ослиные острова — дикие скалы, подойти нельзя... Один только Васька и мог... Ну, и дьявол!

Много рассказывал мне Фофанов, до поздней ночи, но ничего не доканчивал и все сводил на восклицание:

— Ну, Васька! Ну, мерзавец!

При прощании обратился ко мне с просьбой:

— Если увидите Ваську, пришлите ко мне. Озолочу мерзавца. А все-таки выпорю за побег!

И каждый раз, когда я приходил к Фофанову, старик много мне рассказывал, и, между прочим, в его рассказах, пересыпаемых морскими терминами, повторялось то, что я когда-то слыхал от матроса Китаева. Старик читал газеты и, главным образом, конечно, говорил о войне, указывал ошибки военно-начальников и всех ругал, а я не возражал ему и только слушал. Я отдыхал в этой семье под эти рассказы, а с Ксенией Владимировной наши разговоры были о театре, о Москве, об актерах, о кружке. О своей бродячей жизни, о своих приключениях я и не упоминал ей, да ее, кроме театра, ничто не интересовало. Мы засиживались с ней вдвоем в уютной столовой нередко до свету. Поужинав часов в десять, старик вставал и говорил:

— Посиди, Володя, с Зинушей, а мы, старики, на койку.

Почему Ксению Владимировну звали Зиной дома, так я и до сего времени не знаю.

Так и шел сезон по-хорошему; особенно как-то тепло относились ко мне А. А. Стрельская, старуха Очкина, имевшая в Саратове свой дом, и Майерова с мужем, с которым мы дружили.

В театре обратили внимание на Гаевскую. Погонин стал давать ей роли, и она понемногу выигралась и ликовала. Некоторые актеры, особенно Давыдов и Большаков, посмеивались надо мной по случаю Гаевской, но негромко: урок Симонову был памятен.

Я стал почище одеваться, т. е. снял свою поддевку и картуз и завел пиджак и фетровую шляпу с большими полями, только с косовороткой и высокими щегольскими сапогами на медных подковках никак не мог расстаться. Хорошо и покойно мне жилось в Саратове. Далматов и Давыдов мечтали о будущем и в порыве дружбы говорили мне, что всегда будем служить вместе, что меня они от себя не отпустят, что вечно будем друзьями. В городе было покойно, народ ходил в театр, только толки о войне, конечно, занимали все умы. Я тоже читал газеты и очень волновался, что я не там, не в действующей армии, — но здесь друзья, сцена, Гаевская со своими родителями и в уютной квартире...

15 июля я и Давыдов лихо отпраздновали после репетиции свои именины в саду, а вечером у Фофановых мне именины справили старики: и пирог, и икра, и чудная вишневая домашняя наливка.

***

Война была в разгаре. На фронт требовались все новые и новые силы, было вывешено об'явление о новом наборе и принятии в Думе добровольцев. Об этом Фофанов прочел в газете и это было темой разговора за завтраком, который мы кончили в два часа, и я оттуда отправился прямо в театр, где была об'явлена считка новой пьесы для бене-

фиса Большакова. Это была суббота 16 июля. Только что вышел, встречаю Инсарского в очень веселом настроении: подвыпил у кого-то у знакомых и торопился на считку:

— Время еще есть, посмотрим, что в Думе делается, — предложил я. Пошли.

Около Думы народ. Идет заседание. Пробрались в зал. Речь о войне, о помощи раненым. Какой-то выхоленный, жирный, так пудов на 8, гласный, нервно поправляя золотое пенснэ, возбужденно, с привизгом, предлагает желающим «добровольно положить живот свой за веру, царя и отечество», в защиту угнетенных славян, и сулит за это земные блага и царство небесное, указывая рукой прямой путь в небесное царство через правую от его руки дверь, на которой написано «прием добровольцев».

— Юрка, пойдем на войну! — шепчу я разгоревшемуся от вина и от зажигательной речи Инсарскому.

— А ты пойдешь?

— Куда ты, туда и я!

И мы потихоньку вышли в дверь, где во второй комнате за столом сидели два думских служащих купеческого вида.

— Здесь в добровольцы? — спрашиваю.

— Пожалуйте-с... Здесь...

— А много записалось?

— Один только пока.

— Ладно, пиши меня.

— И меня!

Подсунули бумагу. Я, затем Инсарский расписались и адрес на театр дали, а сами тотчас же исчезли, чтобы не возбуждать любопытства, и прямо в театр. Считка началась. Мы молчали. Вечер был свободный, я провел его у Фофановых, но ни слова не сказал. Утром в 10 часов репетиция, вечером спектакль. Идет «Гамлет», которого играет Далматов, Инсарский — Горацио, я — Лаэрта. Роль эту мне

дали по просьбе Далматова, которого я учил фехтовать. Полония играл Давыдов, так как Андреев-Бурлак уехал в Симбирск к родным на две недели. Во время репетиции является гарнизонный солдат с книжкой, а в ней повестка мне и Инсарскому.

— По распоряжению командира резервного батальона в 9 часов утра в понедельник явиться в казармы...

С Инсарским чуть дурно не сделалось, — он по пьяному делу никакого значения не придал подписке.. А на беду и молодая жена его была на репетиции, когда узнала — в обморок... Привели в чувство, плачет:

— Юра... Юра... Зачем они тебя?

— Сам не знаю, вот пошел я с этим чортом и записались оба,—указывает на меня...

В городе шел разговор: «актеры пошли на войну»... В газетах появилось известие...

«Гамлет» сделал полный сбор. Аплодисментами встретили Инсарского, устроили овацию после спектакля нам обоим...

На другой день в 9 утра я пришел в казармы. Опухший, должно быть, от бессонной ночи, Инсарский пришел вслед за мной.

— Чорт знает, что ты со мной сделал!.. Дома—ужас!

***

Заперли нас в казармы. Потребовали документы, а у меня никаких. Телеграфирую отцу; высылает копию метрического свидетельства, так как и метрику и послужной список, выданный из Нежинского полка, я тогда еще выбросил. В письме отец благодарил меня, поздравлял и прислал четвертной билет на дорогу.

Я сказал своему ротному командиру, что служил юнкером в Нежинском полку, знаю фронт, но требовать послуж-

ного списка за краткостью времени не буду, а пойду рядовым. Об этом узнал командир батальона и все офицеры. Оказались общие знакомые нежинцы, и на первом же учении я был признан лучшим фронтовиком и сразу получил отделение новобранцев для обучения. В числе их попался ко мне также и Инсарский. Через два дня мы были уже в солдатских мундирах. Каким смешным и неуклюжим казался мне Инсарский, которого я привык видеть в костюме короля, рыцаря, придворного, или во фраке. Он мастерски его носил! И вот теперь скрюченный Инсарский, согнувшийся под ружьем, топчется в шеренге таких же неуклюжих новобранцев—мне как на смех попались немцы-колонисты, плохо говорившие и понимавшие по-русски—да и по-немецки с ними не столкуешься,—свой жаргон!

— Пферд,—говоришь ему, указывая на лошадь,—а он глаза вытаращит и молчит, и отрицательно головой мотает. Оказывается по ихнему лошадь зовется не «Пферд», а «Кауль», вот и учи таких чертей. А через 10 дней назначено выступление на войну, на Кавказ, в 41-ю дивизию, резервом которой состоял наш Саратовский батальон.

Далматов, Давыдов и еще кое - кто из труппы приходили издали смотреть на ученье и очень жалели Инсарского. А. И. Погонин, человек общества, хороший знакомый губернатора, хлопотал об Инсарском и нам командир батальона, сам ли, или по губернаторской просьбе, разрешил не ночевать в казармах, играть в театре, только к 6 часам утра обязательно являться на ученье и до 6 вечера проводить день в казармах. Дней через пять Инсарский заболел и его отправили в госпиталь—у него сделалась течь из уха.

Я в 6 часов уходил в театр, а если не занят, то к Фофановым, где очень радовался за меня старый морской волк, радовался, что я иду на войну, делал мне разные поучения, которые в дальнейшем не прошли бесследно. До слез печалились Гаевская со своей доброй мамой. В труппе после рассказов Далматова и других, видевших меня обучающим солдат, на меня смотрели, как на героя, поили, угощали и платили жалованье. Я играл раза три в неделю.

Последний спектакль, в котором я участвовал, пятница 29 июля, — бенефис Большакова. На другой день наш эшелон выступал в Турцию.

В комедии Александрова «Вокруг огня не летай» мне были назначены две небольших роли, но экстренно пришлось сыграть Гуратова (отставной полковник в мундире), вместо Андреева - Бурлака, который накануне бенефиса телеграфировал, что на сутки опоздает и приедет в субботу. Почти все офицеры батальона, которым со дня моего поступления щедро давались контрамарки, присутствовали со своими семьями на этом прощальном спектакле, и меня, рядового их батальона в полковничьем мундире, вызывали почем зря. Весь театр, впрочем, знал, что завтра я еду на войну, ну и чествовали во всю.

Поезд отходил в два часа дня, но эшелон с 12 уже сидел в товарных вагонах и распевал песни. Среди провожающих было много немцев-колонистов, и к часу собралась вся труппа провожать меня: нарочно репетицию отложили. Все с пакетами, с корзинами. Старик Фофанов прислал оплетенную огромную бутыль, еще в старину привезенную им из Индии, наполненную теперь его домашней вишневкой.

Погонин почему-то привез ящик дорогих сигар, хотя знал, что я не курю, а нюхаю табак; мать Гаевской—до-

машний паштет с курицей и целую корзину печенья, а Гаевская коробку почтовой бумаги, карандаш и кожаную записную книжку с золотой подковой.

Давыдов и Далматов — огромную корзину с водкой, винами и закусками от всей труппы.

Мы заняли пол зала у буфета, смешались с офицерами, пили донское; Далматов угостил настоящим шампанским, и, наконец, толпой двинулись к платформе после второго звонка. Вдруг шум, толкотня и к нашему вагону 2-го класса — я и начальник эшелона, прапорщик Прутников, занимали купэ в этом вагоне, единственном среди товарного состава поезда—и сквозь толпу врывается, хромая, Андреев-Бурлак с двухаршинным балыком под мышкой и корзинкой вина.

— Прямо с парохода, чуть не опоздал!

Инсарский, обнимая меня, плакал.

Он накануне вышел из лазарета, где комиссия признала его негодным к военной службе.

ГЛАВА VIII

ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА

Наш эшелон. Пешком через Кавказ. Шуллера во Млетах. В Турции. Встреча в отряде. Костя Попов. Капитан Карганов. Хаджи-Мурат. Пластунская команда. Охотничий курган. Отбитый десант. Англичанин в шлюпке. Последнее сражение. Конец войны. Охота на башибузуков. Обиженный Инал Асланов. Домой!

Наш эшелон был сто человек, а в Тамбове и Воронеже прибавилось еще сто человек и начальник последних, подпоручик Архальский, удалец хоть куда, веселый и шумный, как старший в чине, принял у Прутникова командование всем эшелоном, хотя был моложе его годами и, кроме того, Прутников до военной службы кончил университет. Чины и старшинство тогда очень почитались. Самый нижний чин это был рядовой, получавший 90 копеек жалованья в треть и ежемесячно по 2 копейки на баню, которые хранились в полковом денежном ящике и выдавались только накануне бани — солдат тогда пускали в баню за две копейки.

— Солдат, где твои вещи?

— Вот все тут,—и вынимает деревянную ложку из-за голенища.

— А где твои деньги?

— На подводе везут в денежном ящике.

Следующий чин — ефрейтор, получавший в треть 95 копеек.

Во время войны жалованье утраивалось — 2 р. 70 к. в треть. Только что произведенные два ефрейтора входят в трактир чай пить, глядят, и видят рядовые тоже чай пьют... И важно говорит один ефрейтор другому : «На какие это деньги рядовщина гуляет? Вот мы, ефрейторы, другое дело».

Дней через 5 мы были во Владикавказе, где к нашей партии прибавилось еще солдат и мы пошли пешком форсированным маршем по военно-грузинской дороге. Во Владикавказе я купил великолепный дагестанский кинжал, бурку и чувяки с ноговицами, в которых так легко и удобно было итти, даже, пожалуй, лучше, чем в лаптях.

После Пушкина и Лермонтова писать о Кавказе, а особенно, о военно-грузинской дороге — перо не поднимается... Я о себе скажу одно—ликовал я, радовался и веселился. Несмотря на страшную жару и пыль, забегая вперед, лазил по горам, а иногда откалывал такого опасного козла, что измученные и запыленные солдаты отдыхали за смехом. Так же я дурил когда-то и на Волге в бурлацкой артели, и здесь почуя волю, я был такой же бешеный, как и тогда. На станции Гудаут я познакомился с двумя грузинами, гимназистами последнего класса тифлисской гимназии. Они возвращались в Тифлис с каникул и предложили мне итти с ними прямой дорогой до станции Млеты.

— Только под гору спустимся, тут и Млеты, а дорогой больше 20 верст. Солдаты придут к вечеру, а мы через час будем там.

Партия строилась к походу, и, не сказавшись никому, я ушел с гимназистами в противоположную сторону, и мы вскоре оказались на страшном обрыве, под которым дома, люди и лошади казались игрушечными, а Терек—узенькой ленточкой.

— Вот и Млеты, давай спускаться.

Когда я взглянул вниз, сердце захолонуло, я подумал, что мои гимназисты шутят.

— Мы всегда тут ходим,—сказал младший, красавец мальчуган.—Сегодня хорошо, сухо... Первым я, вы вторым, а за вами брат,—и спустился вниз по чуть заметной стежке в мелком кустарнике. Я чувствовал, что сердце у меня колотится... Ноги будто дрожат... И мелькнула в памяти гнилая лестница моей Казанской тюрьмы. Я шагнул раз, два, поддерживаясь за кустарник, а подо мной быстро и легко спускается мальчик... Когда кустарник по временам исчезает на голых камнях я висну над пропастью, одним плечом касаясь скалы, нога над бездной, а сверху грузин напевает какой-то веселый мотив. Я скоро овладеваю собой, привыкаю к высоте и через какие-нибудь четверть часа стою внизу и задираю голову на отвесную желтую стену, с которой мы спустились. «Ну вот, видите, как близко?» сказал мне, шедший за мной грузин. И таким тоном сказал, будто бы мы по бульвару прогулялись. Через несколько минут мы сидели в духане за шашлыком и кахетинским вином, которое нацедил нам в кувшин духанщик прямо из огромного бурдюка. Все это я видел в первый раз, все меня занимало, а мои молодые спутники были так милы, что я с этого момента полюбил грузин, а затем, познакомясь и с другими кавказскими народностями я полюбил всех этих горных орлов, смелых, благородных и всегда отзывчивых. По дороге мимо нас двигались на огромных сонных буйволах со скрипом несуразные арбы, с огромными колесами и никогда немазанными осями, крутившимися вместе с колесами. Как раз против нас к станции под'ехала пара в фаэтоне и из него вышли два восточных человека, один в интендантском сюртуке с капитанскими погонами, а другой штатский.

— Сандро, видишь, Асамат с кем-то.

— Должно-быть, опять убежал.

И рассказал, что капитан вовсе не офицер, а известный шулер Асамат и только мундир надевает, чтобы обыгрывать публику, что весной он был арестован чуть ли не за убийство и, должно-быть, бежал из острога.

После обеда мы дружески расстались, мои молодые товарищи наняли лошадей и поехали в Тифлис, а я гулял по станции, по берегу Терека, пока, наконец, увидал высоко на горе поднимающуюся пыль, и пошел навстречу своему эшелону. Товарищи удивились, увидав меня, было много разговоров, думали, что я сбежал, особенно были поражены они, когда я показал ту дорогу, по которой спускался. Солдат поместили в казармах, а офицерам дали большой номер с четырьмя кроватями, куда пригласили и меня. Доканчивая балык Андреева-Бурлака и уцелевшие напитки, мы расположились ко сну. Я скоро уснул и проснулся около полуночи. Прутников не спал, встревоженно ходил по комнате и сказал мне, что Архальский играет в другом номере в карты с каким-то офицером и штатским, и, кажется, проигрывает. Я сразу сообразил, что шулера нашли-таки жертву и, одевшись, попросил Прутникова остаться, а сам пошел к игрокам, сунув в карман револьвер Архальского. В довольно большом номере посреди стоял стол с двумя свечами по углам. Рядом столик с вином, чуреком, зеленью и сыром. Архальский, весь бледный, дрожащей рукой делал ставки. Игра велась в самую первобытную трущобную азартную игру — банковку, состоящую в том, что банкомет раскладывает колоду на три кучки. Понтирующие ставят, каждый на свою кучку, деньги и получает выигрыш тот, у кого нижняя карта открывается крупнее, а если — шанс банкомета — в какой-нибудь кучке окажется карта одинаковая с банкометом,

то он забирает всю ставку. Тайну этой игры я постиг еще в Ярославле. Банк держал Асамат. Когда я вошел, штатский крикнул на меня:

— Пошел вон, ты видишь, офицеры здесь!

— Андрей Николаевич, я к вам, не спится...

Архальский об'яснил, что я его товарищ юнкер, и меня пригласили выпить стакан вина. Я сел. Игра продолжалась.

— Хочешь, ставь,—предложил мне офицер.

— Что ж, можно,—и я вынул из кармана пачку кредиток.

— Вот только посмотрю в чем игра: я ее не знаю. И стал наблюдать. Архальский ставил то 10, то 20 рублей на кучку, ставил такие же куши и третий партнер... Несколько раз по пяти рублей бросил я и выиграл рублей двадцать. Вот Архальский бросил 50 рублей, я — 10, и вдруг банкомет открыл десятку и загреб все деньги. У нас тоже оказались две десятки. Потом ставили понемногу, но как только Архальский усилит куш, а за ним и я, или открываются четыре десятки, или у банкомета оказывается туз, и он забирает весь выигрыш. Это повторялось каждый раз, когда наши куши были крупными. Архальский дрожал и бледнел. Я знал, что он проигрывал казенные деньги, на которые должен вести эшелон... Перед банкометом росла груда, из которой торчали три новеньких сторублевки, еще не измятых, которые я видел у Архальского в бумажнике.

— Владимир Алексеевич, у вас есть деньги?—спросил меня Архальский.

— Сколько угодно, не беспокойтесь, сейчас отыграемся.

Я вскочил со стула, левой рукой схватил груду кредиток у офицера, а его ударил кулаком между глаз и в тот же момент наотмашь смазал штатского и положил

в карман карты Асамата вместе с остальными деньгами его товарища. Оба полетели на пол вместе со стульями. Архальский соскочил как сумасшедший и ловит меня за руку, что-то бормочет.

— Что такое? Что такое? Разбой?—весь бледный приподнялся Асамат, а другой еще лежал на полу без движения. Я вынул револьвер, два раза щелкнул взведенный курок Смит-Виссона. Минута молчания.

— Асамат, наконец-то, я тебя, мерзавец, поймал. Поручик,—обратился я к Архальскому: — зовите коменданта и солдат, вас обыгрывали наверняка, карты подрезаны, это беглые арестанты. Зови скорей!—крикнул я Архальскому.

Асамат в жалком виде стоит, подняв руки, и умоляет:

— Тише, тише, отдай мои деньги, только мои.

Другой его товарищ ползет к окну. Я, не опуская револьвера, взял под руку Архальского, вытолкнул его в коридор, ввел в свой номер, где крепко спал Прутников, и разбудил его. Только тут Архальский пришел в себя и сказал:—Ведь вы же офицера ударили?—Я об'яснил ему, какой это был офицер.

— Они жаловаться будут.

— Кому? Кто? Да их уже, я думаю, след простыл.

Я высыпал скомканные деньги из кармана на стол, а сам пошел в номер Асамата. Номер был пуст, окно отворено. На столе стояли две бутылки вина, которые, конечно, я захватил с собой и, уходя, запер номер, а ключ положил в карман. Вино привело в чувство Архальского, который сознался, что проиграл казенных почти пятьсот рублей и около ста своих. Мы пили вино, а Прутников смотрел, слушал, ровно ничего не понимая и разводил руками, глядя на деньги, а потом стал их считать. Я отдал Архальскому шестьсот рублей, а мне за хлопоты осталось

двести. Архальский обнимал меня, целовал, плакал, смеялся и все на тему, «я бы застрелился».

Нервы были подняты, ночь мы не спали, в четыре часа пришел дежурный с докладом, что кашица готова и люди завтракают, и в пять, когда все еще спали, эшелон двинулся дальше. Дорогой Архальский все время оглядывался — вот-вот погоня. Но, конечно, никакой погони не было.

Во Мцхетах мы разделились. Архальский со своими солдатами ушел на Тифлис, и дальше в Карс, а мы направились в Кутаис, чтобы итти на Озургеты, в Рионский отряд. О происшествии на станции никто из солдат не знал, а что подумал комендант и прислуга об убежавших через окно, это уж их дело. И дело было сделано без особого шума в какие-нибудь три минуты.



Война. Писать свои переживания или описывать геройские подвиги, это и скучно и старо. Переживания мог писать глубокий Гаршин, попавший прямо из столиц, из интеллигентной жизни в кровавую обстановку, а у меня, кажется, никаких особых переживаний и не было. Служба в полку приучила меня к дисциплине, к солдатской обстановке, жизнь бурлацкая, да бродяжная выбросила из моего лексикона слова: страх, ужас, страдание, усталость, а окружающие солдаты и казаки казались мне скромными институтками сравнительно с моими прежними товарищами вроде Орлова и Ноздри, Костыги, Улана и других удалых добрых молодцев. На войне для укрощения моего озорства было поле широкое. Мне повезло с места и вышло так, что война для меня оказалась приятным препровождением времени, напоминавшим мне и детство, когда пропадал на охоте с Китаевым, и жизнь бродяжную. Мне повезло. Прутников получил у Кутаисского воинского начальника назначение

вести свою команду в 120 человек в 41-ю дивизию по тридцать человек в каждый из четырех полков, а сам был назначен в 161-й Александропольский, куда постарался зачислить и меня.

В Кутаисе мы пробыли два дня; я в это время снялся в своей новой черкеске и послал три карточки в Россию — отцу, Гаевской и Далматову. Посланная отцу карточка цела у меня по сие время. Походным порядком шагали мы в Гурии до ее столицы, Озургет. Там, в гостинице «Атряд» я пил чудное розовое вино типа известного немецкого «Асман-хейзера», но только ароматнее и нежнее. Оно было местное и называлось «вино гуриели». Вот мы на позиции, на Муха-Эстате. Направо Черное море открылось перед нами, впереди неприступные Цихидзири, чортова крепость, а влево лесистые дикие горы Аджарии.

В день прихода нас встретили все офицеры и командир полка, седой грузин князь Абашидзе, принявший рапорт от Прутникова. Тут же нас разбили по ротам, я попал в 12-ю стрелковую. Смотрю и глазам не верю: длинный, выше всех на полторы головы подпоручик Николин, мой товарищ по Московскому юнкерскому училищу, с которым мы рядом спали и выпивали!

— Николай Николаевич, — позвал я Прутникова, — скажи обо мне вон тому длинному подпоручику, это мой товарищ Николин, чтобы он подошел к старому знакомому.

Прутников что-то начал рассказывать ему и собравшимся офицерам, говорил довольно долго, указывая на меня; Николин бросился ко мне, мы обнялись и поцеловались, забыв дисциплину. Впрочем, я был в новой черкеске без погон, а не в солдатском мундире. Тогда многие из призванных стариков пришли еще в вольном платье. Николин вывел меня в сторону, нас окружили офицеры, которые уже знали, что я бывший юнкер, известный артист. Прутников

после истории в Млетах прямо благоговел передо мной. Николин представил меня, как своего товарища по юнкерскому училищу, и мне пришлось об'яснить, почему я пришел рядовым. Седой капитан Карганов, командир моей 12-й роты, огромный туземец с георгиевским крестом, подал мне руку и сказал:

— Очень рад, что вы ко мне, хорошо послужим, — и подозвал юного прапорщика, розового, как девушка:

— Вы, Костя, в палатке один, возьмите к себе юнкера, веселей будет.

— Попов, — отрекомендовался он мне, — очень буду рад.

Так прекрасно встретили меня в полку и никто из прибывших со мной солдат не косился на это: они видели, как провожали меня в Саратове, видели, как относился ко мне начальник эшелона и прониклись уважением после того, когда во Млетах я спустился со скалы. И так я попал в общество офицеров и жил в палатке Кости Попова. Полюбил меня Карганов и в тот же вечер пришел к нам в палатку с двумя бутылками прекрасного кахетинского, много говорил о своих боевых делах, о знаменитом Бакланове, который его любил и, между прочим, рассказал, как у него из-под носа убежал знаменитый абрек Хаджи-Мурат, которого он под строгим конвоем вел в Тифлис.

— Пан-ымаешь, вниз головой со скалы, в кусты нырнул, загрэмел по камням, сам, сам слышал... Меня за него чуть под суд не отдали... Приказано было мне достать его живым или мертвым... Мы и мертвого не нашли... Знаем, что убился, пробовал спускаться, тело искать, нельзя спускаться, обрыв, а внизу глубина, дна не видно... Так и написали в рапорте, что убился в бездонной пропасти... Чуть под суд не отдали.

Ни я, ни Костя, слушавшие с восторгом бесхитростный рассказ старого кавказского вояки, не знали тогда, кто такой был Хаджи-Мурат, — абрек, да и абрек.

— Потом, — продолжал Карганов, — все-таки я его доколотил. Можете себе представить, год прошел, а вдруг опять Хаджи-Мурат со своими абреками появился, и сказал мне командир: «Ты его упустил, ты его и лови, ты один его в лицо знаешь»... Ну и теперь я не пойму, как он тогда жив остался! Долго я его искал, особый отряд джигитов для него был назначен, одним таким отрядом командовал я, ну нашел. Вот за него тогда это и получил, — указал он на Георгия.

***

Десятки лет прошло с тех пор. Костя Попов служил на Западе в каком-то пехотном полку и переписывался со мной. Между прочим, он был женат на сестре знаменитого ныне народного артиста В. И. Качалова, и когда, тогда еще молодой, первый раз он приехал в Москву, то он привез из Вильны мне письмо от Кости.

Впоследствии Костя Попов, уже в капитанском чине заезжал ко мне в Москву, и в разговоре напомнил о Карганове.

— Ты не забыл Карганова, нашего ротного?.. Помнишь, как он абрека упустил, а потом добил его.

— Конечно, помню.

— А знаешь, кто этот абрек был?

— Вот не знаю.

— Так прочитай Льва Толстого «Хаджи-Мурат».

И действительно, там Карганов, наш Карганов! И почти слово в слово я прочитал у Льва Николаевича его рассказ, слышанный мной в 1877 году на позиции Муха-Эстата от самого Карганова, моего командира.

У Карганова в роте я пробыл около недели, тоска страшная, сражений давно не было. Только впереди отряда бывали частые схватки охотников. Под палящим солнцем учили присланных из Саратова новобранцев. Я как-то перед фронтом показал отчетливые ружейные приемы и меня никто не беспокоил. Ходил к нам Николин, и мы втроем гуляли по лагерю и мне они рассказывали расположение позиции.

— Вот это Хуцубани... там турки пока сидят, господствующие позиции, мы раз в июне ее заняли, да нас оттуда опять выгнали, а рядом с ним полевее вот эта лесная гора в виде сахарной головы, называется «охотничий курган», его нашли охотники-пластуны, человек двадцать ночью отбили у турок без выстрела, всех перерезали и заняли... Мы не успели послать им подкрепления, а через три дня пришли наши на смену и там оказалось 18 трупов наших пластунов, над ними турки жестоко надругались. Турок мы опять выгнали, и теперь опять там стоят наши охотники, и с той поры курган называется «Охотничьим»... Опасное место на отлете от нас, к туркам очень близко... Да ничего, там такой народец подобрали, который ничего не боится.

Рассказал мне Николин, как в самом начале выбирали пластунов-охотников: выстроили отряд и вызвали желающих умирать, таких, кому жизнь не дорога, всех готовых итти на верную смерть, да еще предупредили, что ни один охотник-пластун родины своей не увидит. Много их перебили за войну, а все-таки охотники находились. Зато житье у них привольное, одеты кто в чем, ни перед каким начальством шапки зря не ломают и крестов им за отличие больше дают.

Так мы мило проводили время. Прислали нашим саратовцам обмундировку, сапоги выдали, и мне мундира рядового так и не пришлось одеть. Как-то вечером зашел к Карганову его друг и старый товарищ, начальник охотников

Лешко. Здоровенный малый, хохол, с проседью, и только в чине поручика: три раза был разжалован и каждый раз за боевые отличия производился в офицеры. На черкеске его, кроме двух солдатских, белел Георгий, уже офицерский, полученный недавно. Карганов позвал пить вино меня и Попова. Сидели до утра, всякий свое рассказывал. Я разболтался про службу в полку, про крючничество и про бурлачество и по пьяному делу силу с Лешко попробовали, да и на «ты» выпили.

— Каргаша, ты мне его отдай в охотничью команду.

— Дядя, отпусти меня, — прошусь я.

Карганова весь отряд любил и дядей звал.

— Да иди, хоть и жаль тебя, а ты там по месту, таких чертей там ищут.

Лешко подал на другой день рапорт командиру полка, и в тот же день я распростился со своими друзьями и очутился на охотничьем кургане.

В полку были винтовки старого образца, системы Карле, с бумажными патронами, которые при переправе через реку намокали и в ствол не лезли, а у нас легкие берданки с медными патронами, 18 штук которых я вставил в мою черкеску вместо щегольских серебряных газырей. Вместо сапог я обулся в поршни из буйволовой кожи, которые пришлось одевать мокрыми, чтобы по ноге сели, а на пояс повесил кошки — железные пластинки с острыми шипами и ремнями, которые и прикручивались к ноге, к подошвам, шипами наружу. Поршни нам были необходимы, чтобы подкрадываться к туркам неслышно, а кошки, по горам лазить, чтобы нога не скользила, особенно в дождь.

Помощник командира был поручик нашего полка Виноградов, удалец хоть куда, но серьезный и молчаливый. Мы подружились, а там я сошелся и со всеми товарищами, для которых жизнь-копейка... Лучшей компании я для себя и

подыскать бы не мог. Оборванцы и удальцы беззаветные, но не та подлая рвань, пьяная и предательская, что в шайке Орлова, а действительно, «удал-добры молодцы». Через неделю и я стал оборванцем, благодаря колючкам, этому отвратительному кустарнику с острыми шипами, которым все леса кругом переплетены: одно спасение от него—кинжал. Захватит в одном месте за сукно—стоп. Повернулся в другую — третьим зацепило и ни шагу. Только кинжал и спасал,—секи ветки и иди смело. От колючки, от ночного лежания в секретах, от ползанья около неприятеля во всякую погоду, моя новенькая черкеска стала рванью. Когда через недельку я урвался на часок к Карганову и Попову, последний даже ахнул от удивления, увидя меня в таком виде, а Карганов одобрительно сказал:

— Вот тэпэрь ты джигыт настоящий.

Весело жили. Каждую ночь в секретах да на разведках под самыми неприятельскими цепями, лежим по кустам да папоротникам, то за цепь проберемся, то часового особым пластунским приемом бесшумно снимем и живенько в отряд доставим для допроса... А чтобы часового взять, приходилось речку горную Кинтриши вброд по шею переходить, и обратно с часовым тем же путем пробираться уже втроем — за часовым всегда охотились вдвоем. Дрожит несчастный, а под кинжалом лезет в воду. Никогда ни одному часовому пленному мы никакого вреда не сделали: идет как баран, видит, что не убежишь. На эти операции посылали охотников самых ловких, а, главное, сильных, всегда вдвоем, а иногда и по трое. Надо снять часового без шума. Веселое занятие — та же охота, только пожутче, а вот в этом-то и удовольствие.

Здесь некогда было задумываться и скучать, не то, что там в лагерях, где по неделям, а то и по месяцам не было никаких сражений, офицеры играли в карты, солдаты тай-

ком в кустах в орлянку, у кого деньги есть, а то валялись в балаганах и скучали, скучали... Особенно, когда осенью зарядит иногда на неделю, а то и две, дождь, если ветер подует из мокрого угла, от Батума. А у нас задумываться было некогда. Кормили хорошо, усиленную порцию мяса на котел отпускали, каши не впроед и двойную порцию спирта. Спирт был какой-то желтый, говорят, местный, кавказский, но вкусный и очень крепкий. Бывало сгоряча забудешь и хватишь залпом стакан, как водку, а потом спроси, «какой губернии», ни за что не ответишь. Чай тоже еще не был тогда введен в войсках, — мы по утрам кипятили в котелках воду на костре и запускали в кипяток сухари — вот и чай. Питались больше сухарями, хлеб печеный привозили иногда из Озургет, иногда пекли в отряде, и нам доставляли ковригами. Как-то в отряд привезли муку, разрезали кули, а в муке черви кишат. Все-таки хлеб пекли из нее.

— Ничего, — говорили хлебопеки, — солдат не собака, все с'ест, нюхать не станет.

И ели, и не нюхали.

***

Рионский отряд после того, как мы взяли Кабулеты, стал называться кабулетским. Вправо от Муха-Эстаты и Хуцубани, которую отбили у турок, до самого моря тянулись леса и болота. Назад, к России, к северу от Озургет до самого моря тянулись леса на болотистой почве, — бывшее дно моря. Это последнее выяснилось воочию на посту Цисквили на берегу моря близ глубокой болотистой речки Чолок, поросшей камышами и до войны бывшей границей с Турцией. Цисквили была тогда пограничным постом, и с начала войны там стояли две роты, чтобы охранять Озургеты от турецкого десанта. Кругом болота, узкая песчаная

полоса берега и в море выдавалась огромная лагуна, заросшая камышем и кугой, обнесенная валами песку со стороны моря, как бы краями чаши, такими высокими валами, что волны не поднимались выше их, а весь берег вправо и влево был низким местом, ниже уровня моря, а дальше в непроходимых лесах, на громадном пространстве на север до реки Риона и далее до города Поти, в лесах были огромные озера-болота, место зимовки перелетных птиц. Эти озера зимой кишели гусями, утками, бакланами, но достать их было невозможно благодаря непроходимым трясинам. В некоторых местах, покрытых кустарником, особенно по берегу Чолока росли некрупные лавровые деревья, и когда солдаты в начале войны проходили этими местами, то набили свои сумки лавровым листом.

— В России он дорог.

Два взвода одиннадцатой роты покойно и скучно стояли с начала войны на посту Цисквили и болели малярией в этом болоте, дышавшем туманами. Это была ужасная стоянка в полном молчании. Солдаты развлекались только тем, что из растущих в лесах пальм делали ложки и вырезали разные фигурки. Раз только и было развлечение: как-то мы со своего кургана увидали два корабля, шедшие к берегу и прямо на нас. В отряде тревога: десант. Корабли шли на Цисквили, остановились так верстах в двух от нее, сделали несколько выстрелов по посту и ушли. Огромные снаряды не рвались, попадая в болото, разорвались только два, да и то далеко от солдат. Странно, что в это время наши противники в своих окопах сидели без выстрела, и мы им тоже не отвечали. Но все-таки это нас заставило насторожиться, а командир батальона гурийцев, кажется князь Гуриели, знающий местность, доложил начальнику отряда генералу Оклобжио, что надо опасаться десанта немного севернее Цисквили, на реке Супси, впадающей

в море, по которой можно добраться до самого Кутаиса и отрезать Озургеты и наш отряд. А на Супси до сих пор и поста не было. Позаботились об этом: послали поручика Кочетова со взводом, приказали выстроить из жердей и болотной куги балаганы, как это было на Цисквили и кое-где у нас в лагере. Кроме того, в помощь Кочетову назначили из нашей пластунской команды четырех, под моей командой. Но мы ушли только через 10 дней, так как турки как-то вели себя непокойно и ни с того ни с сего начинали пальбу то тут, то там. Пришлось усилить секреты и разведку и вся команда по ночам была в разведке под самым туркой. Только через десять дней, когда, повидимому, все успокоилось, послали нас. Со мной пошли лучшие удальцы: Карасюта, Енетка и Галей-Галямов, татарин с Камы, лесоруб и охотник по зверю. Первые двое неутомимые ходоки, лошадь перегонят, а татарин незаменимый разведчик с глазами лучше бинокля и слухом дикого зверя, все трое великолепные стрелки. Мы вышли до солнышка, пообедали в Цисквили, где наткнулись на одно смешное происшествие: на берегу ночью выкинуло дохлого дельфина, должно-быть убитого во время перестрелки с кораблями. Солдаты, изрезали его на куски, топили в своих котелках жир, чтобы мазать сапоги. В теплый туманный день вонь в лагере стояла нестерпимая, а солдатам все-таки развлечение, хотя котелки провоняли и долго пахли рыбой.

Второе—грустное: нам показали осколок снаряда, который после бомбардировки солдаты нашли в лесу около дороги в Озургеты, привязали на палку, понесли это чудище двухпудовое с хороший самовар величиной и, подходя к лагерю, уронили его на землю: двоих разорвало взрывом,—это единственные жертвы недавней бомбардировки.

Дорогу на Супси нам показали так:

— Идите все по берегу, пока не наткнетесь на пост.

— А сколько, примерно, верст?

— Да часа в три дойдете. Только идите по мокрому песку, не сворачивайте в лес, а то как попадете на траву, провалитесь, засосет.

Мы шли очень легко по мокрому песку, твердо убитому волнами и часа через два—три наткнулись на бивуак. Никто даже нас не окликнул, и мы появились у берегового балагана, около которого сидела кучка солдат и играла в карты, в носки, а стоящие вокруг хохотали, когда выигравший хлестал по носу проигравшего с веселыми прибаутками. Увидав нас, все ошалели, шарахнулись, а один бросился бежать и заорал во все горло.

— В ружье!

И не трудно было нас, оборванных, без погон, в папахах и поршнях, испугаться: никакого приличного солдатского вида нет. Я успел окрикнуть их, и они успокоились.

— Пластуны, милости просим!

Кочетова, с которым уже встречались в отряде, я разбудил. Он целыми днями слонялся по лесу или спал. Я принес с собой три бутылки спирта, и мы пробеседовали далеко за полночь. Он жаловался на тоскливую болотную стоянку, где кроме бакланов, да бабы-птицы, разгуливавшей по песчаной косе недалеко от бивуака, ничего не увидишь. Развлечения — охота на бакланов и только, а ночью кругом чекалки завывают, за душу тянут...

Между прочим, мы ужинали жареным бакланом и, чтобы не пахнул рыбой, его на ночь зарывали в землю перед тем, как жарить.

Я уснул в балагане на своей бурке. Вдруг, чуть свет, будят.

— Ваш—бродь, так что неприятель морем наступает, корабли идут.

Мы выбежали, не одеваясь. Глядим, вдали в море какие-то два пятнышка. Около нашего балагана собрались солдаты.

— Галям, ты видишь,—спрашиваю.

— Два корабля, во какой дым валит.

Я, дальнозоркий, вижу только два темных пятнышка. Кочетов принес бинокль, но в бинокль я вижу немного больше, чем простым глазом. Мы с Кочетовым обсуждаем план защиты позиции, если будет десант, и постановляем: биться до конца в случае высадки десанта и послать бегом сообщить на Цисквили, где есть телеграф с Озургетами. Корабли приближались, Галям уже видит:

— Много народу на кораблях, вся палуба полный.

— Должно-быть, десант, — говорит Кочетов, но тоже, как и все остальные, народа не видит даже в бинокль. Но вот показались дымки, все ближе и ближе пароходы, один становится боком, видим на палубе народ, другой пароход немного подальше также становится к нам бортом. Мы оделись. Кочетов уже распорядился расположением солдат на случай десанта и велел потушить костры, где готовился обед. С моря нашего лагеря не видно, он расположен в лощине на песчаном большом плато, поросшем высоким кустарником и шагах в двадцати от берега насыпаны два песчаных вала, замаскированных кустарником. Это работа Кочетова. Нас пятьдесят человек. Солдаты Кочетова вооружены старыми Карле, винтовками с боем не более 1.000 шагов. У нас великолепные берданки и у каждого по 120 патронов, а у меня 136. Пароходы стоят. Вдруг на одном из них дымок, бабахнуло, над нами высоко, высоко завыл снаряд и замер в лесу... Другой, третий и все высокие перелеты. Уложили солдат по валу, я в середине между взводами, рядом со мной Кочетов. Приказано замереть, чтобы о присутствии войска здесь неприятель не догадался.

А выстрелы гремели. Один снаряд шлепнулся в вал и зарылся в песке под самым носом у нас. Один разорвался недалеко от балагана, это был пятнадцатый по счету. Бомбардировка продолжалась больше часу. Солдатам весело, шутят, рады — уж очень здесь тоска одолела. Кочетов серьезен, обсуждает план действия.

— Ежели в случае, что десант...

— Лодки спускают, — говорит Галям.

Еще четыре самовара провыли над нами и замолкли в лесу, должно-быть, в болото шлепнулись.

А вот и десант... С ближайшего парохода спускаются две шлюпки, полные солдат. Можно рассмотреть фески.

— До моей команды не стрелять, — говорит Кочетов.

Обсуждаем: подпустить на двести шагов и тогда открывать огонь — после трех залпов в одиночку на прицел, а там опять залп, по команде.

— Бить наверняка, уйти всегда успеем!

— Зачим уйти? штыками будем, — горячится Галям и возбуждает смех своим акцентом.

Две шлюпки двигаются одна за другой саженях в трехстах от нас, кивают красные фески гребцов, поблескивают ружья сидящих в шлюпках... На носу в первой шлюпке стоит с биноклем фигура в красном мундире и в серой высокой шляпе.

— Англичанин, — шепчет мне Кочетов и жалеет, что у него нет берданки.

Солдаты лежат, прицелившись, но дистанция слишком велика для винтовок старого образца. Ждут команды «пли». Вдруг на левом фланге грянул выстрел, а за ним вразброд все захлопали:

— Дьяволы! — бесновался Кочетов, но уже дело было непоправимо. А он все-таки командует:

—Пальба взводом, взвод пли...

И после нескольких удачных дружных залпов кричит:

— Лупи на выбор, если долетит... Прицел на пятьсот шагов.

Для наших берданок это не было страшно. В лодках суматоха, гребцы выбывают из строя, их сменяют другие, но все-таки лодки улепетывают. С ближайшего корабля спускают им на помощь две шлюпки, из них пересаживаются в первые новые гребцы; наши дальнобойные берданки догоняют их пулями... Англичанин, уплывший первым, давно уже, надо полагать, у всех на мушках сидел. Через несколько минут все четыре лодки поднимаются на корабль. Наши берданки продолжают посылать пулю за пулей.

Вот на другом закружились белые дымки, опять заухало, опять завыли «самовары», затрещал лес, раздались два-три далеких взрыва, первый корабль отошел дальше и на нем опять заклубились дымки. После пятнадцати выстрелов корабли ушли вглубь моря... Ни один из выстрелов не достиг цели, даже близ лагеря не легло ни одной гранаты. Солдаты, как бешеные, прыгали по берегу, орали, ругались и радовались победе. Кочетов написал короткий рапорт об отбитии десанта и требовал прислать хоть одно орудие на всякий случай. Когда оно было получено, я с моими охотниками вернулся к своей части.

***

Последний большой бой в нашем отряде был 18 января, несмотря на то, что 17 января уже было заключено перемирие, о котором телеграмма к нам пришла с опозданием на сутки с лишком. Новый командующий отрядом, назначенный вместо генерала Оклобжио, А. В. Комаров задумал во что бы то ни стало штурмовать неприступные Цихидзири, и в ночь на 18 января весь отряд выступил на эту нелепую попытку.

Охотникам было поручено снять часовых, и мы вброд перебравшись через ледяную воду Кинтриши, бесшумно выполнили приказание, несмотря на обледеневшие горы и снежную вьюгу, пронесшуюся вечером.

Ночь была лунная и крепко морозная. Войско все-таки переправилось благополучно. Наш правый фланг уже продвинулся к Столовой горе, сильной позиции, укрепленной, как говорили, английскими инженерами: глубокие рвы, каждое место перед укреплениями отлично обстреливается, на высоких батареях орудия, а перед рвами страшные завалы из переплетенных проволоками огромных деревьев, наваленных ветвями вперед. Промокшие насквозь во время переправы, в обледеневшей одежде мы тихо подвигаемся. Вдруг на левом фланге выстрел, другой... целый град... Где-то грянуло орудие и засверкали турецкие позиции изломанными линиями огоньков с брустверов Самебы и Кверики... Где-то влево слышно наше «ура», начался штурм... Ринулись и мы в атаку, очищая кинжалами дорогу в засеке. Столовая гора засветилась огнями и грохотом... Мы бросились в штыки на ошалевших от неожиданности турок, и Столовая гора была наша...

Бой кипел на всем фронте при ярко восходящем солнце на безоблачном небе; позиция была наша; защитники Столовой горы, которые остались в живых, бежали. Картина обычная: трупы, стоны раненых, полковой доктор Решетов и его фельдшера — руки по локоть в крови... Между убитыми и ранеными было много арабистанцев, этого лучшего войска у турок. Рослые красавцы, в своих белых плащах с широкими коричневыми полосами. Мы накинули такие плащи на наше промокшее платье и согревались в них. Впоследствии я этот самый плащ привез в Россию, подарил Далматову, и он в нем играл в Пензе Отелло и Мурзука.

Бой кончился около полудня; день был жаркий, журчали ручьи от тающего снега, и кое-где голубели подснежники.

К вечеру весь отряд, хоронивший убитых в братских могилах, узнал, что получена телеграмма о перемирии, состоявшемся накануне в Сан-Стефано. Приди она во время — боя бы не было, не погибли бы полторы тысячи храбрецов, а у турок много больше. Были бы целы два любимых генерала Шелеметев и Шаликов, был бы цел мой молодой друг, товарищ по юнкерскому училищу подпоручик Николин: он погиб благодаря своему росту в самом начале наступления, пуля попала ему в лоб. Едва не попал в плен штабс-капитан Ленкоранского полка Линевич [1]), слишком зарвавшийся вперед, но его отбили у турок наши охотники.

Но все было забыто: отряд ликовал — война кончена.



Заключили мир, войска уводили вглубь России, но только третьего сентября 1878 года я получил отставку, так как был в «охотниках» и нас держали под ружьем, потому что башибузуки наводняли горы и приходилось воевать с ними в одиночку в горных лесных трущобах, ползая по скалам, вися над пропастями. Мне это занятие было интереснее, чем самая война. Охота за башибузуками была увлекательна и напоминала рассказы Майн-Рида или Фенимора Купера. Вот это была война полная приключений, для нас более настоящая война, чем минувшая. Ходили маленькими отрядами по 5 человек, стычки с башибузуками были чуть не ежедневно. А по взглядам начальства это была какая-то полувойна. Это наши удальцы с огорчением узнали только тогда, когда нам за действительно боевые отличия прислали на пластунскую команду вместо георгиевских крестов сере-

---

[1]) Впоследствии главнокомандующий во время Японской войны.

бряные медали на георгиевских лентах с надписью «за храбрость», с портретом государя, на что особенно обиделся наш удалой джигит Инал Асланов, седой горец, магометанин, с начала войны лихо дравшийся с турками.

На шестьдесят, оставшихся в живых, человек почти за пять месяцев отчаянной боевой работы, за разгон шаек, за десятки взятых в плен и перебитых в схватках башибузуков, за наши потери ранеными и убитыми, нам прислали восемь медалей, которые мы распределили между особенно храбрыми, не имевшими еще за войну георгиевских крестов; хотя эти последние, также отличившиеся, и теперь тоже стоили наград, но они ничего не получили, во-первых, потому, что эта награда была ниже креста, а во-вторых, чтобы не обидеть совсем не награжденных товарищей. Восьмерым храбрецам даны были медали, семеро из них радовались как дети, а Инал Асланов ругательски ругался и приставал к нам:

— Пачиму тэбэ дали крэст с джигитом на коне, а мэнэ миндал с царским мордам? Пачиму? — очень обижался старик.

3 сентября нас уволили, а 5 сентября я был в городе Поти, откуда на пароходе выехал в Россию через Таганрог.

ГЛАВА IX

АКТЕРСТВО

Таганрог. Дома у отца. Письмо Далматова. Пензенский театр. В. А. Сологуб. Бенефис и визиты. Мейерхольд. Летний сезон в Воронеже. Гастроли М. Н. Ермоловой и О. А. Правдина. Таинственный певец. Оскорбление жандарма. В вагоне с быками. М. И. Свободина и Далматов. Сезон в Пензе. «Особые приметы». Л. И. Горсткин. Как ставить «Гамлета».

В Таганроге прямо с пристани я попал на спектакль, в уборную М. П. Яковлева, знаменитого трагика, с которым встречался в Москве. Здесь познакомился с его сыном Сашей, и потом много лет спустя эта наша встреча ему пригодилась.

Когда я занимал уже хорошее положение в московской печати, ко мне зашел Саша Яковлев в какую-то тяжелую для него минуту жизни. Я не помню уже, что именно с ним случилось, но знаю, что положение его было далеко не из важных. Я обрадовался ему, он у меня прожил несколько дней и в тот же сезон служил у Корша, где вскоре стал премьером и имел огромный успех. Не помню его судьбу дальше, уж очень много разных встреч и впечатлений было у меня, а если я его вспомнил, так это потому, что после войны это была первая встреча за кулисами, где мне тут же и предложили остаться в труппе, но я отговорился желанием повидаться с отцом и отправился в Вологду, и по пути заехал в Воронеж, где в театре Матковского служила Гаевская.

Явился домой ровно в полночь к великой радости отца, которому в числе гостинцев я привез в подарок лучшего турецкого табаку, добытого мною в Кабулетах. От отца я получил в подарок дедовскую серебряную табакерку.

— Береги, она счастливая! — сказал мне отец.

Недолго я пробыл дома. Вскоре получил письмо от Далматова из Пензы, помеченное 5 октября 1878 года, которое храню и до сих пор. Он пишет:

«Мне говорили, что Вы уже получили отставку, если это так, то приезжайте ко мне трудиться... Я думаю, что отец доволен Вашим поступком — он заслуживает признательности и похвалы. Что касается до меня, то в случае неустойки я к Вашим услугам. Хотя я и вновь обзавелся семейством, но это нисколько не мешает мне не забывать старых товарищей».

И вот я в Пензе. С вокзала в театр я приехал на «удобке». Это специально пензенский экипаж вроде извозчичьей пролетки без рессор, с продольным толстым брусом, отделявшим ноги одного пассажира от другого. На пензенских грязных и гористых улицах всякий другой экипаж поломался бы,—но почему его назвали «удобка»— не знаю. Разве потому, что на брус садился, скорчившись в три погибели, третий пассажир?

В 9 утра я под'ехал к театру. Это старинный барский дом на Троицкой улице, принадлежавший старому барину в полном смысле этого слова, Льву Ивановичу Горсткину, жившему со своей семьей в половине дома, выходившей в сад, а театр выходил на улицу, и выходили на улицу огромные окна квартиры Далматова, состоящей из роскошного кабинета и спальни. Высокий кабинет с лепными работами и росписью на потолке. Старинная мебель... Посредине этой огромной комнаты большой круглый стол красного дерева, заваленный пьесами, афишами, газетами.

Над ним, как раз над серединой, висела толстая бронзовая цепь, оканчивавшаяся огромным крюком, на высоте не больше полутора аршин над столом. Наверно здесь была люстра когда-то, а теперь на крюке висела запыленная турецкая феска, которую я послал Далматову с войны в ответ на его посылку с гостинцами, полученную мной в отряде.

Дверь мне отпер старый - престарый, с облезлыми рыжими волосами и такими же усами отставной солдат, сторож Григорьич, который, увидя меня в бурке, черкеске и папахе, вытянулся по-военному и провел в кабинет, где Далматов—он жил в это время один—пил чай и разбирался в бумагах. Чисто выбритый, надушенный, в дорогом халате, он вскочил, бросился ко мне целоваться...

Григорьич поставил на стол к кипящему самовару прибор и — сам догадался — выставил из шкафа графин с коньяком.

После чаю с разговорами Далматов усадил меня за письменный стол, и началось составление афиши на воскресенье. Идут «Разбойники», Шиллера. Карл—Далматов.

— А вы сыграете Швейцера (тогда мы еще были на «вы»).

И против Швейцера пишет:—Гиляровский.

Я протестую и прошу поставить мой старый рязанский псевдоним—Луганский.

— Нет, надо позвучнее!—говорит Далматов и указывает пальцем на лежащую на столе книжку: «Тарантас», соч. гр. В. А. Сологуба.

И зачеркнув мою фамилию, молча пишет: Швейцер — Сологуб.

— Как хорошо! И тоже В. А.! Великолепно, за графа принимать будут.

Так этот псевдоним и остался у меня на много лет, хотя за графа меня никто не принимал. Я служил под ним и в Пензе, и на другое лето у Казанцева в Воронеже, где играл с М. Н. Ермоловой и О. А. Правдиным, приезжавшими на гастроли. Уже через много лет, при встрече в Москве, когда я уже и сцену давно бросил, О. А. Правдин, к великому удивлению окружающих, при первой московской встрече, назвал меня постарому Сологубом, и в доказательство вынул из бумажника визитную карточку «В. А. Сологуб» с графской короной, причем эта корона и заглавные буквы были сделаны самым бесцензурным манером. Этих карточек целую пачку нарисовал мне в Воронеже, литографировал и подарил служивший тогда со мной актер Вязовский. Одна из них попала к Правдину, и даже во время немецкой войны, как-то при встрече он сказал мне:

— А твою карточку, Сологуб, до сего времени храню!

Итак я стал Сологубом и в воскресенье играл Швейцера. Труппа была дружная, все милые, милые люди. Далматов так и носился со мной. Хотя я нанял квартирку в две комнатки недалеко от театра, даже потом завел двух собак, щенками подобранных на улице, Дуньку и Зулуса, а с Далматовым не расставался и зачастую ночевал у него. Посредине сцены я устроил себе для развлечения трапецию, которая поднималась только во время спектакля, а остальное время болталась над сценой, и я поминутно давал на ней акробатические представления, часто мешая репетировать—и никто не смел мне замечание сделать—может быть потому, что я за сезон набил такую мускулатуру, что подступиться было рискованно.

Я пользовался общей любовью и, конечно, никогда ни с кем не ссорился, кроме единственного случая за все время, когда одного франта резонера, пытавшегося своротить с

пути молоденькую актриску, я отвел в сторону и прочитал ему такую нотацию, с некоторым обещанием, что на другой день он не явился в театр, послал отказ и уехал из Пензы...

Играл я вторые роли, играл все, что дают, добросовестно исполнял их, и был, кроме того, помощником режиссера. Пьесы ставились наскоро, с двух, редко с трех репетиций, иногда считая в это число и считку. В неделю приходилось разучивать две, а то и три роли.

Жилось спокойно и весело, а после войны и моей бродяжной жизни, я жил роскошно, как никогда до того времени не жил.

Вспоминается мне мой бенефис. Выпустил Далматов за неделю анонс о моем бенефисе, преподнес мне пачку роскошно напечатанных маленьких программ, что делалось тогда редко, и предложил по обычаю местному, об'ехать меценатов и пригласить всех, начиная с губернатора, у которого я по поручению Далматова уже режиссировал домашний спектакль.

И вот, после анонса, дней за пять до бенефиса, облекся я, сняв черкеску, в черную пару, нанял лучшего лихача, единственного на всю Пензу, Ивана Никитина, и с программами и книжкой билетов, уж не в «удобке», а в коляске, отправился, скрепя сердце, первым делом к губернатору.

Тут мне посчастливилось в под'езде встретить Лидию Арсеньевну...

Губернатором был А. А. Татищев, штатский генерал, огромный, толстый, с лошадиной физиономией, что еще увеличивало его важность. Его жена была важнейшая губернаторша, но у них жила еще и подруга ее по Смольному, Лидия Арсеньевна, которая в делах управления губернией была выше губернаторши, да чуть ли не самого губернатора.

Встретив ее, выходившую на прогулку, я ей дал программу, с просьбой пожаловать на бенефис и спросил, могу ли видеть Александра Александровича.

— Он в канцелярии. Не стоит вам беспокоиться, я скажу, что были и приглашали нас... Обязательно будем.

И действительно были в своей бесплатной губернаторской ложе и прислали в день бенефиса в кассу на мое имя конверт с губернаторской визитной карточкой и приложением новой четвертной за ложу.

Окрыленный еду на Московскую улицу, в магазин купца Варенцова, содержателя, кроме того, лучшей гостиницы, где я часто играл на биллиарде.

Сухо меня встретил купчина, но обещал быть, а билет не взял. Тоже и соседний магазинщик Будылин. Еду к богатому портному Корабельщикову, которому еще не уплатил за сюртук.

— Ладно. Спрошу жену... Пожалуй, оставьте ложу в счет долга...

Это меня обидело. Я вышел, сел на Ивана Никитина, поехал завтракать в ресторан Кошелева. Отпустил лихача и вошел. В зале встречаю нашего буфетчика Румеля, рассказываю ему о бенефисе, и он прямо тащит меня к своему столу, за которым сидит высокий, могучий человек с большой русой бородой: фигура такая, что прямо нормандского викинга пиши.

— Мейерхольд.

— Сологуб, Владимир Алексеевич, наш артист — познакомил нас Румель. Мейерхольд заулыбался:

— Очень, очень рад. Будем завтракать.

И сразу налил всем по большой рюмке водки из бутылки, на которой было написано: «Углевка», завода Э. Ф. Мейерхольд, Пенза».

Ах, и водка была хороша! Такой, как «Углевка», никогда я нигде не пил—ни у Смирнова Петра, ни у вдовы Поповой, хотя ее «вдовья слеза», как Москва называла эту водку, была лучше Смирновской.

«Углевка» и «удобка»—два специально местные пензенские слова, нигде больше мной неслыханные—незабвенны!

За завтраком Мейерхольд мне не позволил заплатить.

— За этим столом платить не полагается, вы—мой гость.

И неловко мне после этого было предложить ему билет, да Румель выручил, рассказав о бенефисе.

— Пожалуйста мне ложу... бельэтаж. Поближе к сцене...

Я вынул еще непочатую книжку билетов, отрезал 1-й номер бельэтажа, рядом с губернаторской ложей, и вручил:

— Почин. Только первый билет.

— О, у меня рука легкая,—и вынул из бумажника двадцатипятирублевку. Я позвал полового и посылаю его разменять деньги.

— Нет... Нет... Никакой сдачи. У нас по-русски говорят: почин сдачи не дает. На счастье!..—и взяв у полового деньги, свернул их и положил передо мной.

— Спасибо. Теперь я больше ни к кому не поеду.

— Зачем так?

— Ни за что не поеду. Будь, что будет!

— Вот дайте мне несколько афиш, я их всем знакомым раздам... Все придут.

Я дал ему пачку программ и распрощался. Вышел на под'езд, и вдруг выходят из магазина два красавца-татарина, братья Кулахметьевы, парфюмеры, мои знакомые по театру. Поздоровались. Рассказываю о бенефисе.

— Будем, все будем,—говорит старший, а младший его перебивает:

— Поедем к нам обедать.

А у тротуара санки стоят. Младший, что-то сказал кучеру-татарину, тот соскочил и возжи передал хозяину.

— Садись с братом, я вас прокачу.

И через несколько минут бешеной езды рысак примчал нас в загородный дом Кулахметьевых, с огромным садом. Тут же помещалась их парфюмерная фабрика и мыловаренный завод.

Обстановка квартиры роскошная, европейская. Сервировка тоже, стол прекрасный, вина от Леве. Обедали мы похолостому. Семья обедает раньше. Особенно мне понравились пельмени.

— Из молодого жеребеночка!—сказал старший брат и пояснил:

— Жеребятинка замораживается, строгается ножом, лучку, перчику, соли, а сырые пельмени опять замораживаются, и мороженные в кипяток.

С нами был еще молодой татарин Ибрагим Баишев, тоже театрал, и был еще главный управляющий фабрикой и парфюмер француз Рошет... [1]).

Все купили билеты: две ложи бельэтажа—Кулахметьевы—Рошета пригласили к себе в ложу — и Баишев билет первого ряда. Еще 50 рублей в кармане! Я победителем приехал к Далматову. Рассказал все и отдал книгу билетов.

— Никуда не поеду, ну их всех к дьяволу!

Сбор у меня был хороший и без этого. Это единственный раз я «ездил с бенефисом». Было это на второй год моей службы у Далматова, в первый год я бенефиса не имел. В последующие года все бенефицианты по моему примеру ездили с визитом к Мейерхольду, и он никогда не отказывался, брал ложу, крупно платил и сделался меценатом.

[1]) Впоследствии Рошет заведывал большой парфюмерной фабрикой Бодло в Москве.

Лето 1879 года я служил в Воронеже. Это был как раз год Липецкого с'езда. Вот тут-то и приезжали к нам Ермолова и Правдин. В Воронеже сезон был удачный; между тем в это лето там основалось вольное пожарное общество, куда меня записали в члены, и на двух пожарах я горячо работал в звании «1-го лазальщика», как там называли топорников.

Еще одна таинственная вещь случилась там, о которой я до сих пор ничего не знаю.

Во время сезона, в чей-то бенефис, не помню совершенно в чей именно, появилось на афише в дивертисменте «певец Петров-Баркаролла». Он сам аккомпанировал на мандолине. Его никто не знал. Это был человек небольшого роста, с небольшой бородкой. Я его видел уже на сцене. Вышел скромно, пропел великолепно, повторил на бис, ушел за кулисы и исчез...

Его искали ужинать, но не нашли и забыли уже, но через несколько дней полицейский пристав приходил к Казанцеву, а потом расспрашивал и некоторых актеров, кто такой этот Петров, кто с ним знаком из труппы, но знакомых не нашлось, и, действительно, никто из нас не знал его. Выяснилось, что он явился на репетицию с мандолиной, предложил участвовать в дивертисментах и спел перед Казанцевым и актерами баркароллу, получил приглашение, и ушел.

**
*

Много, много лет спустя, в Москве я встретил некоего Васильева, который в то время жил в Воронеже, был большим меценатом. Он угощал актеров, устраивал нам ужины, жил богато.

В Москве уже в военное время я встретился с ним. Повидимому, средств у него уже не было. Разговорились,

и он рассказал мне целый ряд воспоминаний из того сезона и, между прочим, вспомнил баркароллу и Петрова.

— А вы знаете, кто это был, и почему тогда полиция его искала?

— Не знаю. Его никто не знал. Да и внимания-то никто не обратил на это. Только, когда полиция справлялась, так поговорили малость, да и забыли. Да и кому он интересен.

— Я тоже так думал тогда, а потом уж после от полицмейстера, по секрету, узнал, что это на бенефисе Вязовского (тут я только вспомнил, чей бенефис был) участвовал один важный государственный преступник. В это время был Липецкий с'езд народовольцев, так вот со с'езда некоторые участники были в театре и слушали своего товарища, который как-то попал на сцену.

Помню еще, что мы чествовали Ермолову роскошным завтраком, и я, желая выразить восторг, за ее здоровье выпил, не отнимая от рта, бутылку коньяку финь-шампань, о чем после уже в Москве вспоминала Мария Николаевна, написавшая мне тогда уже во время революции в альбом несколько строк: «На память о Воронеже в 1879 году»...

И после этой бутылки, вечером, как ни в чем не бывало, я играл в спектакле, —то была молодость, когда все нипочем!

Помню еще в Воронеже на сквере памятник Петру Первому. Он стоит, опираясь на якорь, глядит налево, как раз на здание интендантства, а рукой победоносно указывает направо, как раз на тюрьму. На памятнике надпись: «Петру Первому—Русское дворянство в Воронеже». Как-то мы после спектакля ночью гуляли на сквере и оставили в нравоучение потомству на пьедестале памятника надпись мелом:

Смотрите, русское дворянство,
Петр Первый и по смерти строг —
Глядит на интендантство,
А пальцем кажет на острог.

***

До этого сезона Далматов ходил холостым, а в Воронеже летом у него начался роман с М. И. Свободиной-Барышевой, продолжавшийся долго.

А года за три перед этим здесь же после зимнего сезона он разошелся со своей женой, артисткой Любской. Говорили, что одна из причин их развода была та, что Далматов играл Гамлета и Любская играла Гамлета. Как-то Далматов, вскоре после моего приезда в Пензу, получил афишу, где значилось: «Гамлет, принц Датский—Любская».

Он мне показал афишу и сказал, что это: «Моя дура жена отличается».

И Далматов долго хранил эту афишу с прибавленным на ней акростихом:

Дар единственный — полсвета
Удивленьем поражает:
Роль мужскую, роль Гамлета
Артистически играет,



Окончив благополучно сезон, мы проехали в Пензу втроем: Далматов и Свободина в купе 1-го класса, и я один в третьем, без всякого багажа, потому что единственный чемодан пошел вместе с Далматовским багажом. На станции Муравьево, когда уже начало темнеть, я забежал в буфет выпить пива и не слыхал третьего звонка. Гляжу, поезд пошел. Я мчусь по платформе, чтобы догнать последний вагон, уже довольно быстро двигающийся, как чувствую, что меня в то самое время, когда я уже протянул

руку, чтобы схватиться за стойку и прыгнуть на площадку, кто-то схватывает, облапив сзади.

Момент, поезд недосягаем, а передо мной огромный жандарм читает мне нравоучение.

Представьте себе мою досаду: мои уехали—я один! Первое, что я сделал, не раздумывая, с почерку,—это хватил кулаком жандарма по физиономии, и он загремел на рельсы с высокой платформы... Второе, сообразив мгновенно, что это пахнет бедой серьезной, я спрыгнул и бросился бежать поперек путей, желая проскочить под товарным поездом, пропускавшим наш пассажирский...

Слышу гвалт, шум и вопли около жандарма, которого поднимают сторожа. Один с фонарем. Я переползаю под вагоном на противоположную сторону, взглядываю наверх, и вижу, что надо мной вагон с быками, боковые двери которого заложены брусьями. Моментально, пользуясь темнотой, проползаю между брусьями в вагон, пробираюсь между быков,—их оказалось в вагоне только пять,—в задний угол вагона, забираю у них сено, снимаю пальто, посыпаю на него сено и, так замаскировавшись, ложусь на пол в углу...

Тихо. Быки постукивают копытами и жуют жвачку... Я прислушиваюсь. На станции беготня... Шум... То стихает... То опять... Раздается звонок... Мимо по платформе пробегают люди... Свисток паровоза... длинный... с перерывами... Грохот железа... Рвануло вагон раз... два... и колеса захлопали по стрелкам... Я успокоился и сразу заснул. Проснулся от какой-то тишины... Светает... Соображаю, где я... Красные калмыцкие быки... Огромные, рогастые... Поезд стоит. Я встаю, оправляюсь. Вешаю на спину быка пальто и шляпой чищу его... Потом надеваю... выглядываю из вагона... Заря алеет... Скоро солнышко взойдет... Вижу кругом нескончаемые ряды вагонов, значит большая станция... Ощу-

пываю карманы — все цело: и бумажник и кошелек... Еще раз выглядываю — ни души... Отодвигаю один запор и приготовляюсь прыгнуть, — как вдруг над самым ухом свистит паровоз... Я вздрогнул, но все-таки спрыгнул на песок, и мой поезд загремел цепями, захлопал буферами и двинулся.

Пробираюсь под вагонами и передо мною длиннейшая платформа. Ряжск! Как раз здесь пересадка на Пензу... Гордо иду в зал I класса и прямо к буфету — жажда страшная. Пью пиво и ем бутерброды... У буфета никого... Наконец, появляются носильщики... Будят пассажиров... И вижу в другом конце зала поднимающуюся из-за стенки дивана фигуру Далматова... Лечу!.. Мария Ивановна, откинувшись к стене, только просыпается... Я подхожу к ним... У обоих — глаза круглые от удивленья.

— Сологуб! — оба сразу.

— Я самолично.

— А я хотел телеграмму дать в поезд. Думал, не случилось ли что... Или, может-быть, проспал... Все искали... Ведь, мы здесь с 12 часов. Через час еще наш поезд.

— А я отговорила дать телеграмму, — сказала Свободина, и я ее поблагодарил за свое спасение.

**
*

В этот сезон 1879—80 годов репертуар был самый разнообразный,—иногда по две, а то и по три пьесы новых ставили в неделю. Работы масса, учили роли иногда и днем и ночью. Играть приходилось все. Раз вышел такой случай: идет «Гроза»; уж 8 часов; все одеты, а старухи Онихимовской — играет сумасшедшую барыню — нет и нет! Начали спектакль; думают, приедет. В конце первого акта приходит посланный и передает письмо от мужа Онихимовской, который сообщает, что жена лежит вся в жару и встать не

может. Единственная надежда — вторая старуха Яковлева. Посылаем — дома нет, и где она — не знают. Далматов бесится... Спектакль продолжается. Послали за любительницей Рудольф.

Я иду в костюмерную, добываю костюм; парикмахер Шишков приносит седой парик, я потихоньку гримируюсь, запершись у себя в уборной, и слышу, как рядом со мной бесится Далматов и все справляется о Рудольф. Акт кончается, я вхожу в уборную Далматова, где застаю М. И. Свободину и актера Виноградского.

Вхожу, стучу костылем и говорю:

— Все в огне гореть будете неугасимом!..

Ошалели все трое, да как прыснут со смеху...

А Далматов, нахохотавшись, сделал серьезное лицо и запер уборную.

— Тише. А то узнают тебя — ведь, на сцене расхохочутся... Сиди здесь, да молчи.

С этого дня мы перешли с ним на «ты».

Он вышел и говорит выпускающему Макарову и кому-то из актеров:

— Рудольф приехала! У меня в уборной одевается.

Как бы то ни было, а сумасшедшую барыню я сыграл, и многие за кулисами, пока я не вышел со сцены, не выпрямился и не заговорил своим голосом, даже и внимания не обратили, а публика так и не узнала. Уже после похохотали все.

Сезон был веселый. Далматов и Свободина пользовались огромным успехом. Пенза видала Далматова во всевозможных ролях, и так как в репертуар входила оперетка, то он играл и губернатора в «Птичках певчих» и Мурзука в «Жирофле-Жирофля», в моем арабском плаще, который я подарил ему. Видела Далматова Пенза и в «Агасфере», в жесточайшей трагедии Висковатова «Казнь безбожному»,

состоявшей из 27 картин. Шла она в бенефис актера Конакова и для любимого старика в ней участвовали все первые персонажи от Свободиной-Барышевой до опереточной примадонны Раичевой включительно. Трехаршинная афиша красными и синими буквами сделала полный сбор, тем более, что на ней значились всевозможные ужасы, и заканчивалась эта афиша так: «Картина 27 и последняя: Страшный суд и Воскресение мертвых. В заключение всей труппой будет исполнен «камаринский». И воскресшие плясали, а с ними и суфлер Модестов, вылезший с книгой и со свечкой из будки.

Бенефисы Далматова и Свободиной-Барышевой собирали всю аристократию, и ложи бенуара блистали бриллиантами и черными парами, а бельэтаж — форменными платьями и мундирами учащейся молодежи. Институток и гимназисток приводили только на эти бенефисы, но раз вышло кое-что неладное. В бенефис Далматова шел «Обрыв» Гончарова. Страстная сцена между Марком Волоховым и Верой, исполненная прекрасно Далматовым и Свободиной, кончается тем, что Волохов уносит Веру в лес... Вдруг страшенный пьяный бас грянул с галерки:

— Так ее!.. — и загоготал на весь театр.

Все взоры на галерку, и кто-то крикнул, узнав по голосу:

— Да это отец протодьякон!

Аплодисменты... Свистки... Гвалт...

А протодьякон, любитель театра, подбиравший обыкновенно для спектакля волосы в воротник, был полицией выведен и, кажется, был «взыскан за мракобесие».



Сезон 1879/80 года закончился блестяще; актеры заработали хорошо, и вся труппа на следующую зиму осталась

у Далматова почти в полном составе: никому не хотелось уезжать из гостеприимной Пензы.

Пенза явилась опять поворотным кругом моей жизни. Я бросил трактирную жизнь и дурачества, вроде подвешивания квартального на крюк, где была люстра когда-то, что описано со слов Далматова у Амфитеатрова в его воспоминаниях, и стал бывать в семейных домах, где собиралась славная учащаяся молодежь.

Часть труппы раз'ехалась на лето, нас осталось немного. Лето играли кое-как товариществом в Пензенском ботаническом казенном саду, прекрасно поставленном ученым садоводом Баумом, который умер несколько лет назад Семья Баум была одна из театральных пензенских семей. Две дочери Баум выступали с успехом на пензенской сцене. Одна из них умерла, а другая окончательно перешла на сцену и стала известной в свое время инженю Дубровиной. Она уже в год окончания гимназии удачно дебютировала в роли слепой в «Двух сиротках». Особенно часто я бывал в семье у Баум. В первый раз я попал к ним, провожая после спектакля нашу артистку Баум-Дубровину и ее неразлучную подругу-гимназистку М. И. М—ну, дававшую уроки дочери М. И. Свободиной, и был приглашен зайти на чай. С той поры свободные вечера я часто проводил у них и окончательно бросил мой гулевой порядок жизни и даже ударился в лирику, вместо моих прежних разудалых бурлацких песен. Десятилетняя сестра нашей артистки, Маруся, моя внимательная слушательница, сказала как-то мне за чаем:

— Знаете, Сологуб, вы — талант!

— Спасибо, Маруся.

— Да, талант... только не на сцене... Вы — поэт.

Это меня тогда немного обидело, — я мнил себя актером, а после вспоминал и теперь с удовольствием вспоминаю эти слова...

Другая театральная семья — это была семья Горсткиных, но там были более серьезные беседы, даже скорее какие-то учено-театральные заседания. Происходили они в полухудожественном, в полумасонском кабинете-библиотеке владельца дома, Льва Ивановича Горсткина, высокообразованного старика, долго жившего за границей, знакомого с Герценом, Огаревым, о которых он любил вспоминать, и увлекавшегося в юности масонством. Под старость он был небогат и существовал только арендой за театр.

Вот у него-то в кабинете, заставленном шкафами книг и выходившем окнами и балконом в сад над речкой Пензяткой, и бывали время от времени заседания. На них присутствовали из актеров — Свободина, Далматов, молодой Градов, бывший харьковский студент, и я.

Горсткин заранее назначал нам день и намечал предмет беседы, выбирая темой какой-нибудь прошедший или готовящийся спектакль, и предлагал нам пользоваться его старинной библиотекой. Для новых изданий я был записан в библиотеке Умнова.

* * *

Одна из серьезных бесед началась анекдотом. Служил у нас первым любовником некоторое время актер Белов и потребовал, чтобы Далматов разрешил ему сыграть в свой бенефис Гамлета. Далматов разрешил. Белов сыграл скверно, но сбор сорвал. Настоящая фамилия Белова была Бочарников. Он крестьянин Тамбовской губернии, малограмотный. С ним я путешествовал пешком из Моршанска в Кирсанов в труппе Григорьева.

После бенефиса вышел срок его паспорта, и он принес старый паспорт Далматову, чтобы переслать в волость с

приложением трех рублей на новый «плакат», выдававшийся на год. Далматов поручил это мне. Читаю паспорт и вижу, что в рубрике «особые приметы» ничего нет. Я пишу: «Скверно играет Гамлета», — и посылаю паспорт денежным письмом в волость.

Через несколько дней паспорт возвращается. Труппа вся на сцене. Я выделываю, по обыкновению, разные штуки на трапеции. Белову подают письмо. Он распечатывает, читает, потом вскакивает и орет дико:

— Подлецы! Подлецы!

И бросается к Далматову.

— Василий Пантелеймонович! Вы посылали мой паспорт?

— Сологуб посылал.

Я, чувствуя, что будет дело, соскакиваю с трапеции и становлюсь в грозную позу.

Белов ко мне, но остановился... Глядит на меня, да как заплачет... Уж насилу я его успокоил, дав слово, что этого никто не узнает... Но узнали все-таки помимо меня: зачем-то понадобился паспорт в контору театра, и там прочли, а потом узнал Далматов и все: против «особых примет» надпись на новом паспорте была повторена: «Скверно играет Гамлета».

Причем «Гамлета» написано через ять!

Вот на этом спектакле Горсткин пригласил нас на следующую субботу — по субботам спектаклей не было — поговорить о Гамлете. Горсткин прочел нам целое исследование о Гамлете; говорил много Далматов, Градов, и еще был выслушан один карандашный набросок, который озадачил присутствовавших и на который после споров и разговоров Лев Иванович положил резолюцию:

— Оригинально, но великого Шекспира уродовать нельзя... А все-таки это хорошо.

А Далматов увлекся им. Привожу его целиком:

— Мне хочется разойтись с Шекспиром, который так много дал из английского быта. А уж как ставят у нас — позор. Я помню, в чьем-то переводе вставлены, кажется, неправильные по Шекспиру строки, — но, по-моему, это именно то, что надо:

В белых перьях, статный воин
Первый в Дании боец...

Иначе я Гамлета не представляю. Недурно он дрался на мечах, не на рапирах, нет, а на мечах. Ловко приколол Полония. Это боец. И кругом не те придворные шаркуны из танцзала!.. Все окружающие Гамлета, все — это:

Ряд норманнов удалых,
Как в масках, в шлемах пудовых
С своей тяжелой алебардой».

Такие же, как и Гамлет.

И Розенкранц с Гильденштерном, неумело берущие от Гамлета грубыми ручищами флейту, конечно, не умеют на ней играть. И у королевы короткое платье и грубые ноги, а на голове корона, которую привезли из какого-то набега предки и по ее образцу выковали дома из полпуда золота такую же для короля. И Гамлет, и Гораций, и стража в первом акте в волчьих и медвежьих мехах сверх лат... У короля великолепный грабленный где-то, может - быть, византийский или римский трон, привезенный удальцами вместе с короной... Пятном он стоит в королевской зале, потому что эта зала не короля, и король не король, а викинг, атаман пиратов. В зале, кроме очага — ни куска камня. Все постройки из потемневшего векового дуба, грубо, на веки сколоченные. Приемная зала, где трон — потолок с толстыми матицами, подпертыми резными бревнами, мебель — дубовые скамьи и непод'емно толстые табуреты дубовые.

Оленя ранили стрелой...

И наши Гамлеты таращатся чуть не на венский стул в своих туфельках и трико и бросают эту героическую фразу:

Оленя ранили стрелой...

Мой Гамлет в лосиновых сапожищах и в тюленьей, шерстью вверх, куртке, с размаху, безотчетным порывом прыгает тигром на табурет дубовый, который не опрокинешь, и в тон этого прыжка гремят слова зверски-злорадно, вслед удирающему королю в пурпурной, тоже ограбленной где-то мантии,—слова:

Оленя ранили стрелой!

Никаких трико. Никаких туфель. Никаких шпор.

На корабле шпоры не носят!

Меч с длинной, крестом, рукоятью, чтобы обеими руками рубануть. Алебарды — эти морские топоры, при абордаже рубящие и канаты и человека с головы до пояса... Обеими руками... В свалке не до фехтования. Только руби... А для этого мечи и тяжелые алебарды для двух рук.

...Как в масках в шлемах пудовых.

А у молодых из-под них кудри, как лен светлые. Север. И во всем север, дикий север дикого серого моря. Я удивляюсь, почему у Шекспира при короле не было шута? Ведь был же шут — «бедный Иорик». Нужен и живой такой же Иорик. Может быть и арапчик, вывезенный из дальних стран вместе с добычей, и обезьяна в клетке. Опять флейта? Дудка, а не флейта! Дудками и барабанами встречают Фортинбраса.

Все это львы да леопарды.
Орлы, медведи, ястреба.....

... а не шаркуны придворные, танцующие менуэт вокруг мечтателя, неврастеника и кисейной барышни Офелии, как раз ему «под кадрель». Нет, это—

Первый в Дании боец!

Удалой и лукавый, разбойник морской, как все остальные окружающие, начиная с короля и кончая могильщиком.

Единственно «светлый луч в зверином мраке» — Офелия — чистая душа, не выдержавшая ужаса окружающего ее, когда открылись ее глаза. Всю дикую мерзость придворных интриг и преступлений дал Шекспир, а мы изобразили изящный королевский двор — лоск изобразили мы! Изобразить надо все эти мерзости в стиле полудикого варварства, хитрость хищного зверя в каждом лице, грубую ложь и дикую силу, среди которых затравливаемый зверь — Гамлет, «первый в Дании боец», полный благородных порывов, борется притворством и хитростью, с таким же орудием врага, обычным тогда орудием войны удалых северян, где сила и хитрость — оружие...

А у нас—неврастеник в трусиках! И это:

Первый в Дании боец!

ГЛАВА X

В МОСКВЕ

Театр А. А. Бренко. Встреча в Кремле. Пушкинский театр в парке. Тургенев в театре. А. Н. Островский и Бурлак. Московские литераторы. Мое первое стихотворение в «Будильнике». Как оно написано. Скворцовы номера.

В Москве артистка Малого театра А. А. Бренко, жена известного присяжного поверенного и лучшего в то время музыкального критика, работавшего в «Русских Ведомостях», О. Я. Левенсона, открыла в помещении Солодовниковского пассажа первый русский частный театр в Москве.

До того времени столица в отношении театров жила по регламенту Екатерины II, запрещавшему, во избежание конкуренции императорским театрам, на всех других сценах «пляски, пение, представление комедиантов и скоморохов».

А. А. Бренко выхлопотала после долгих трудов первый частный театр в Москве, благодаря содействию графа И. И. Воронцова-Дашкова, который, поздравляя г-жу Бренко с разрешением, сказал ей:

— История русского театра и нам с вами отведет одну страничку.

Может-быть, в будущем, а пока что-то мало писали об этом крупнейшем факте театральной русской истории.

А. А. Бренко ставила в Солодовническом театре пьесы целиком и в костюмах, называя все-таки на афише: «сцены из пьес». Театр ломился от публики.

Труппа была до того в Москве невиданная. П. А. Стрепетова получала 500 руб. за выход, М. И. Писарев—900 руб. в месяц, Понизовский, Немирова-Ральф, Рыбчинская, Глама-Мещерская, Градов-Соколов и пр. и пр. Потом Бурлак. Он попал случайно.

Градов-Соколов в какой-то пьесе «обыграл» Писарева. Последний обозлился и предложил Бренко выписать Андреева-Бурлака, о котором уже шла слава.

— С Градовым играть не могу. Это балаган какой-то. Не могу, — возмущался Писарев выходками актера.

С огромным успехом дебютировал Бурлак в Москве и сразу занял первое место на сцене.

К этому времени Бренко уже в доме Малкиеля на Тверской выстроила свой знаменитый Пушкинский театр.

Самуил Малкиель разжился на подрядах во время турецкой войны и благополучно вышел сух из воды, хотя во всеуслышание говорили о том, что обувь была недоброкачественная, и про его другой новый дом на углу Тверской и Козицкого пер., как раз против Пушкинского театра, говорили, что этот дом выстроен из бумажных подметок. Дом этот впоследствии был под клубом, а затем его приобрел петербургский богач Елисеев, сломал до основания и выстроил свой знаменитый.—«Дворец колбасы».



Закончив пензенский сезон 1880/81 годов, я приехал в конце поста в Москву для ангажемента. В пасхальную заутреню я в первый раз отправился в Кремль. Пробился к соборам... Народ заполнил площадь...

Все ждут, когда колокола
Могучие грянут за Иваном
Безлунной полночью в ответ,
И засверкают над туманом
Колосья гаснущих ракет.

Тюкнули, первой трелью перед боем, часы на Спасской башне, и в тот же миг заглохли под могучим ударом Ивановского колокола... Все в Кремле гудело—и медь, и воздух, и ухали пушки с Тайницкой башни и змейками бежали по стенам и куполам живые огоньки пороховых ниток, зажигая плошки и стаканчики. Мерцающие огоньки их озаряли клубящиеся дымки, а над ними хлопали, взрывались и рассыпались колосья гаснущих ракет... На темном фоне Москвы сверкали всеми цветами церкви и колокольни от бенгальских огней, и, казалось, двигались от их живого, огненного дыма... Пропадали во мраке и снова, освещенные новой вспышкой, вырастали и сверкали и колыхались...

Я стоял у крыльца Архангельского собора; я знал, что там собираются в этот час знаменитости московской сцены и некоторые писатели. Им нет места в Успенском соборе, туда входят только одетые в парадные мундиры высших рангов власти предержащие...

Но и те из заслуженных артистов, которые бы имели право, и даже по рангу, обязаны бы были быть в Успенском — все-таки никогда не меняли этих стоптанных каменных плит вековечного крыльца на огни и золото парада.

Самарин, Шумский, Садовский, Горбунов, всегда приезжающие на эту ночь сюда из Петербурга, а посредине их А. Н. Островский и Н. А. Чаев... Дальше, отдельной группой, художники — Маковский, Неврев, Суриков и Пукирев, головой всех выше певец Хохлов в своей обычной позе Демона со скрещенными на груди руками... Со многими я был еще знаком с артистического кружка, но сознавал, что здесь мне еще очень рано занимать место близко к светилам... Я издали любовался этим созвездием. Вдруг вижу, ковыляет серединой площади старый приятель Андреев-Бурлак с молодой красивой дамой под руку. Я пошел навстречу

и поклонился. Бурлак оставил руку дамы и положительно бросился ко мне:

— Христос воскресе! Откуда пришел?

— Из Пензы.

— Где служишь?

— Нигде еще.

— Ладно, устроим, — и представил меня даме.

— Актер Гиляровский, —мой старый товарищ и друг... Анна Алексеевна Бренко.

И, пожав руку, она сказала:

— Вы чужой в Москве? Пойдемте к нам разговляться.

Поговорили и пошли в Петровские линии, в квартиру Бренко.

Там уже были Писарев, Стрепетова, Красовские и много всяких знаменитостей, недосягаемых для меня в то время.

И я в моем скромном пиджаке и смазных сапогах, был принят как свой, и тут же получил ангажемент от хозяйки дома в Пушкинский театр.

— Сто рублей довольно вам в месяц? — спросила меня Анна Алексеевна.

Я был счастлив.

К рассвету гости разошлись, а Бурлак привез меня в свою хорошенькую квартирку в Пушкинском театре.

— У меня три комнаты, живу один и буду рад, если поселишься со мной, — предложил мне Бурлак.

Я, конечно, согласился.

— Ну, так завтра и переезжай.

— Я уже переехал, — ответил я, и поселился у Бурлака.

***

И вот я служу у Бренко. — Бурлак режиссер и полный властитель, несмотря на свою любовь к выпивке, умел вести театр и был, когда надо для пользы дела, ловким дипломатом.

Понадобилась новая пьеса. Бренко обратилась к А. А. Потехину, который и дал ей «Выгодное предприятие», но с тем, чтобы его дочь, артистка-любительница, была взята на сцену. Условие было принято, г-же Потехиной дали роль Аксюши в «Лесе», которая у нее шла очень плохо, чему способствовала и ее картавость. После Аксюши начали воздерживаться давать роли Потехиной, а она все требовала — и непременно героинь.

А. А. Потехин пожаловался А. Н. Островскому и попросил его повлиять на Бренко. А. Н. Островский посылает письмо и просит А. А. Бренко приехать к нему.

Догадываясь в чем дело, А. А. посылает Бурлака. Тот приезжает. Островский встречает его сухо.

— Э... Э... Что это... дочь почтенного драматурга обходите?.. Потрудитесь ей давать роли.

— Мы ей даем, Александр Николаевич, — отвечает Бурлак.

— Что даете? Героинь давайте...

— Вот и на-днях ей роль готовим дать... «Грозу» вашу ставим, так ей постановили дать Катерину.

— Катерину? Кому? Потехиной? Нет, уж вы от этого избавьте. Кому хотите, да не ей. Ведь она 36 букв русской азбуки не выговаривает!

Бурлак хохотал, рассказывая труппе разговор с Островским.

Так отделались от Потехиной, которая впоследствии в Малом театре, перейдя на старух, сделалась прекрасной актрисой.

А. Н. Островский любил Бурлака, хотя он безбожно перевирал роли. Играли «Лес». В директорской ложе сидел Островский. Во время сцены Несчастливцева и Счастливцева, когда на реплику первого должен быть выход, — артиста опоздали выпустить. Писарев сконфузился, злится и не

знает, что делать. Бурлак подбегает к нему с папироской в зубах и, хлопая его по плечу, фамильярно говорит одно слово:

— Пренебреги.

Замешательство скрыто, публика ничего не замечает, а Островский после спектакля потребовал в ложу пьесу и вставил в сцену слово «пренебреги».

А Бурлаку сказал:

— Хорошо вы играете «Лес». Только это «Лес» не мой. Я этого не писал... А хорошо!

В присутствии А. Н. Островского, в гостиной А. А. Бренко, В. Н. прочел как-то рассказ Мармеладова. Впечатление произвел огромное, но наотрез отказался читать его со сцены.

— Боюсь, прямо боюсь, — об'яснил он свой отказ.

Наконец, бенефис Бурлака. А. А. Бренко без его ведома поставила в афише: «В. Н. Андреев-Бурлак прочтет рассказ Мармеладова» — и показала ему афишу. Вскипятился Бурлак:

— Я ухожу! К чорту и бенефис и театр. Ухожу!

И вдруг опустился в кресло и, старый моряк, видавший виды,—разрыдался.

Его долго уговаривали Островский, Бренко, Писарев, Глама и другие. Наконец, он пришел в себя, согласился читать, но говорил:

— Боюсь я его читать!

Однако прочел великолепно, и успех имел грандиозный. С этого бенефиса и начал читать рассказ Мармеладова.

На лето Бренко сняла у казны старый деревянный Петровский театр, много лет стоявший в забросе. Это огромное здание, похожее на Большой театр, но только без колонн, находилось на незастроенной площади парка, справа от аллеи, ведущей от шоссе, где теперь последняя станция

трамвая к Мавритании. Бренко его отремонтировала, обнесла забором часть парка, и устроила сад с рестораном. Вся труппа Пушкинского театра играла здесь лето 1881 года. Я поселился в театре на правах управляющего и, кроме того, играл в нескольких пьесах. Так, в «Царе Борисе» неизменно атамана Хлопку, а по болезни Валентинова — Петра в «Лесе»; Несчастливцева играл М. И. Писарева, Аркашку — Андреев-Бурлак и Аксюшу — Глама-Мещерская. Как-то я был свободен и стоял у кассы. Шел «Лес». Вдруг ко мне подлетает муж Бренко, О. А. Левенсон, и говорит:

— Сейчас войдет И. С. Тургенев, проводите его, пожалуйста, в нашу директорскую ложу.

Второй акт только что начался. В дверях показалась высокая фигура маститого писателя. С ним рядом шел красивый брюнет с седыми висками, в золотых очках. Я веду их в коридор:

— Иван Сергеевич, пожалуйте сюда в директорскую ложу.

Он благодарит, жмет руку. Его спутник называет себя.

— Дмитриев.

Оба прошли в ложу — я в партер. А там уже шопот:— Тургенев в театре...

В антракт Тургенев выглянул из ложи, а вся публика встала и обнажила головы. Он молча раскланялся, и исчез за занавеской, больше не показывался и уехал перед самым концом последнего акта незаметно. Дмитриев остался, мы пошли в сад. Пришел Андреев-Бурлак с редактором «Будильника» Н. П. Кичеевым, и мы сели ужинать вчетвером. Поговорили о спектакле, о Тургеневе, и вдруг Бурлак начал собеседникам рекомендовать меня, как ходивешго в народ, как в Саратове провожали меня на войну и вдруг обратился к Кичееву:

— Николай Петрович, а он, кроме того, поэт, возьми его под свое покровительство. У него и сейчас в кармане новые стихи; он мне сегодня читал их.

От неожиданности я растерялся.

— Не стесняйся, давай, читай.

Я вынул стихи, написанные несколько дней назад, и по просьбе Кичеева прочел их.

Кичеев взял их у меня, спрятал в бумажник, сказав:

— Прекрасные стихи, напечатаем.

А Дмитриев попросил меня прочесть еще раз, очень расхвалил и дал мне свою карточку: «Андрей Михайлович Дмитриев (Барон Галкин), Б. Дмитровка, нумера Бучумова».

— Завтра я весь вечер дома, рад буду, если зайдете.

Я был в восторге—«Барон Галкин!» Я читал прекрасные рассказы «Барона Галкина», а его «Падшая» произвела на меня впечатление неотразимое. Она была переведена за границей, а наша критика за эту повесть назвала его «Русский Золя», жаль только, что это было после его смерти.

Бывший студент, высланный из Петербурга за беспорядки 1862 года и участие в революционных кружках, А. М., вернувшись из долгой ссылки, существовал литературной работой.

На другой день я засиделся у Дмитриева далеко за полночь. Он и его жена, Анна Михайловна, такая же прекрасная и добрая, как он сам, приняли меня приветливо... Кое-что я рассказал им из моих скитаний, взяв слово хранить это в тайне: тогда я очень боялся моего прошлого.

— Вы должны писать! Обязаны! Вы столько видели, такое богатейшее прошлое, какого ни у одного писателя не было. Пишите, а я готов помочь вам печатать. А нас навещайте почаще.

Прошла неделя со дня этой встречи. В субботу, тогда по субботам спектаклей не было, мы репетировали «Царя

Бориса», так как приехал В. В. Чарский, который должен был чередоваться с М. И. Писаревым.

Вдруг вваливается Бурлак, — он только что окончил сцену с Киреевым и Борисовским.

— Пойдем-ка в буфет. Угощай коньяком. Видел?

И он мне подал завтрашний номер «Будильника» от 30 августа 1881 г., еще пахнущий свежей краской. А в нем мои стихи и подписаны «Вл. Г—ий».

Это был самый потрясающий момент в моей богатейшей приключениями и событиями жизни. Это мое торжество из торжеств. А тут еще Бурлак сказал, что Кичеев просит присылать для «Будильника» и стихов, и прозы еще. Я ликовал. И в самом деле думалось: я еще так недавно, беспаспортный бродяга, ночевавший зимой в ночлежках и летом под лодкой, да в степных бурьянах, сотни раз бывший на границе той или другой погибели и вдруг...

И нюхаю, нюхаю свежую типографскую краску, и смотрю не насмотрюсь на мои, мои, ведь, напечатанные строки...

Итак, я начал с Волги, Дона и Разина.

Разина Стеньки товарищи славные
Волгой владали до моря широкого.....



Стихотворение это, открывшее мне дверь в литературу, написано было так:

На углу Моховой и Воздвиженки были знаменитые в то время «Скворцовы нумера», занимавшие огромный дом, выходивший на обе эти улицы и, кроме того, высокий надворный флигель, тоже состоящий из сотни номеров, более мелких. Все номера сдавались помесячно, и квартиранты жили в нем десятками лет: родились, выростали, старились. И никогда никого добродушный хозяин - старик

Скворцов не выселял за неплатеж. Другой жилец чуть не год ходит без должности, а потом получит место, и снова живет, снова платит. Старик Скворцов говаривал:

— Со всяким бывает. Надо человеку перевернуться дать.

В надворном флигеле жили служащие, старушки на пенсии с моськами и болонками и мелкие актеры казенных театров. В главном же доме тоже десятилетиями квартировали учителя, профессора, адвокаты, более крупные служащие и чиновники. Так, помню, там жил профессор-гинеколог Шатерников, известный детский врач В. Ф. Томас, сотрудник «Русских Ведомостей», доктор В. А. Воробьев. Тихие были номера. Жили скромно. Кто готовил на керосинке, кто брал готовые очень дешевые и очень хорошие обеды из кухни при номерах.

А многие флигельные питались чайком и закусками.

Вот в третьем этаже этого флигеля и остановилась приехавшая из Пензы молодая артистка Е. О. Дубровина-Баум в ожидании поступления на зимний сезон.

15 июля я решил отпраздновать мои имянины у нее. Этот день я не был занят и сказал А. А. Бренко, что на спектакле не буду.

Закупив закусок, сластей и бутылку Автандиловского розоватого кахетинского, я в 8 часов вечера был в Скворцовых номерах, в крошечной комнате с одним окном, где уже за только что поданным самоваром сидела Е. О. и ее подруга, начинающая артистка Бронская.

Обрадовались, что я свои имянины справляю у них, а когда я развязал кулек, то уж радости и конца не было. Пили, ели, наслаждались, и даже по глотку вина выпили, хотя оно не понравилось.

Да, надо сказать, что я купил вино для себя. Дам вообще я никогда не угощал вином, это было моим всегдашним и неизменным правилом...

Два раза менял самовар, и болтали, болтали без умолку. Вспоминали с Дубровиной-Баум Пензу, первый дебют, Далматова, Свободину, ее подругу М. И. М., только что кончившую 8 классов гимназии. Е. О. читала монологи из пьес и стихи, — прекрасно читала... Читал и я отрывки своей поэмы, написанной еще тогда на Волге «Бурлаки», и невольно с них перешел на рассказы из своей бродяжной жизни, поразив моих слушательниц, не знавших, как и никто почти, моего прошлого.

А Бронская прекрасно прочитала Лермонтовское:

«Тучки небесные, вечные странники...»

И несколько раз задумчиво повторяла первый куплет, как только смолкал разговор...

И все трое мы повторяли почему-то:

«Тучки небесные, вечные странники...»

Пробило полночь... Мы сидели у открытого окна и говорили.

А меня так и преследовали «тучки небесные, вечные странники».

— Напишите стихи на память,—начали меня просить мои собеседницы.

— Вот бумага, карандаш... Пишите... А мы помолчим...

Они отошли, сели на диван и замолчали...

Я расположился на окне, но не знал, что писать, в голове Лермонтовский мотив мешался с воспоминаниями о бродяжной Волге...

«Тучки небесные, вечные странники. .»

Написал я в начале страницы.

Потом отделил это чертой и начал:

«Все то мне грезится Волга широкая...»

Эти стихи и были напечатаны в «Будильнике».

ГЛАВА XI.

РЕПОРТЕРСТВО

Н. И. Пастухов. Репортерская работа. Всероссийская выставка. Мать Ходынки. Сад Эрмитаж и Лентовский. Сгоревшие рабочие. В Орехове-Зуеве. Князь В. А. Долгоруков Редактор в секретном отделении. Разбойник Чуркин. Поездка в Гуслицы. Смерть Скобелева. Пирушка у Лентовского. Провалившийся поезд. В министерском вагоне. На месте катастрофы. Почему она «Кукуевская». Две недели среди трупов. В имении Тургенева. Поэт Полонский. Полет в воздушном шаре. Гимнастическое общество. Савва и Сергей Морозовы. Опасное знакомство.

Осенью 1881 года после летнего сезона Бренко, я окончательно бросил сцену и отдался литературе. Писал стихи и мелочи в журналах и заметки в «Русской Газете», пока меня не ухватил Пастухов в только что открывшийся «Московский Листок».

Репортерскую школу я прошел у Пастухова суровую. Он был репортер, каких до него не было, и прославил свою газету быстротой сведений о происшествиях.

В 1881 году я бросил работу в «Русской газете» Смирнова и Желтова и окончательно перешел в «Листок». Пастухов сразу оценил мои способности, о которых я и не думал, и в первые же месяцы сделал из меня своего лучшего помощника. Он не отпускал меня от себя, с ним я носился по Москве, он возил меня по трактирам, где собирал всякие слухи, с ним я ездил за Москву на любимую им рыбную ловлю, а по утрам должен был являться к нему

в Денежный переулок пить семейный чай. И я увлекся работой, живой и интересной, требующей сметки, смелости и неутомимости. Эта работа как раз была по мне.

***

1882 год. Первый год моей газетной работы; по нем можно видеть всю суть того дела, которому я посвятил себя на много лет. С этого года я стал настоящим москвичем. Москва была в этом году особенная, благодаря открывшейся Всероссийской художественной выставке, внесшей в патриархальную столицу столько оживления и суеты. Для дебютирующего репортера при требовательной редакции это была лучшая школа, отразившаяся на всей будущей моей деятельности.

— Будь как вор на ярмарке! Репортерское дело такое,—говаривал мне Пастухов.

Сил, здоровья и выносливости у меня было на семерых. Усталости я не знал. Пешком пробегал иногда от Сокольников до Хамовников, с убийства на разбой, а иногда на пожар, если не успевал попасть на пожарный обоз. Трамвая тогда не было, ползала кое-где злополучная конка, которую я при экстренных случаях легко пешком перегонял, а извозчики-ваньки на дохлых клячах черепашили еще тише. Лихачи, конечно, были не по карману и только изредка в экстреннейших случаях я позволял себе эту роскошь.

Помню, увидал пожар за Бутырской заставой. Огонь полыхает с колокольню вышиной, дым, как из Везувия; Тверская часть на своих пегих красавцах промчалась далеко впереди меня... Нанимаю за два рубля лихача, лечу... А там уж все кончилось, у заставы сгорел сарай с сеном... Ну, и в убыток сработал: пожаришко всего на пятнадцать строк, на семьдесят пять копеек, а два рубля лихачу отдал! Пастухов, друживший со всеми начальствующими, познако-

мил меня с обер-полицмейстером Козловым, который выдал мне за своей подписью и печатью приказание полиции сообщать мне подробности происшествий, а бранд-майор на своей карточке написал следующее: «корреспонденту Гиляровскому разрешаю ездить на пожарных обозах. Полковник Потехин».

И я пользовался этим правом во всю, и если не успевал попасть на пожарный двор во время выезда, то прямо на ходу прыгал на багры где-нибудь на повороте. Меня знали все бранд-мейстеры и пожарные, и я, памятуя мою однодневную службу в Ярославской пожарной команде и Воронеж, лазил по крышам, работал с топорниками, а затем уже, изучив на практике пожарное дело, помогал и бранд-майору. Помню—во время страшного летнего пожара в Зарядье я спас от гибели обер-полицмейстера Козлова, чуть не провалившегося в подгорелый потолок, рухнувший через минуту после того, как я отшвырнул Козлова от опасного места и едва выскочил за ним сам. Козлов уехал, опалив свои огромные красивые усы, домой, а в это время дали сбор частей на огромный пожар в Рогожской и часть команд отрядили из Зарядья туда.

— Гиляровский, пожалуйста, поезжайте, помогите там Вишневскому, а я буду здесь с Алексеевым,—послал меня Потехин.

Но я не мог бывать на всех пожарах, потому что имел частые командировки из Москвы, и меня стал заменять учитель чистописания А. А. Брайковский, страстный любитель пожаров, который потом и занял мое место, когда я ушел из «Листка» в «Русские Ведомости». Брайковский поселился на Пречистенке рядом с пожарным депо и провел с каланчи веревку к себе в квартиру, и часовой при всяком начинающемся пожаре давал ему звонок вместе со звонком к бранд-мейстеру. Так до конца своей жизни

Брайковский был репортером и активным помощником бранд-майора. Он кроме пожаров ни о чем не писал.



Когда еще Брайковский, только что поступивший, стал моим помощником, я, приезжая на пожары и заставая его там, всегда уступал ему право писать заметку, потому что у меня заработок был и так очень хороший.

Кроме меня в газете были еще репортеры и иногда приходилось нам встречаться на происшествиях. В таких случаях право на гонорар оставалось за тем, кто раньше сообщит в редакцию или кто первый явился.

Помню такой случай.

В номерах Андреева на Рождественском бульваре убийство и самоубийство. Офицер застрелил женщину и застрелился сам. Оба трупа лежали рядом, посреди комнаты, в которую вход был через две двери, одна у одного коридора, другая у другого.

Узнаю. Влетаю в одну дверь, и в тот же момент входит в другую дверь другой наш репортер Н. С. Иогансон. Ну, одновременно вошли, смотрим друг на друга и молчим... Между нами лежат два трупа. Заметка строк на полтораста.

— Ты напишешь?—спрашивает меня Иогансон.

— Вместе вошли, как судьба,—отвечаю я, вынимая пятак и хлопая о стол.

— Орел или решка?

— Орел!—угадывает Иогансон.

— Ну пиши, твое счастье.

Мы протянули через трупы руки друг другу, распрощались и я ушел.

В этом году к обычной репортерской работе прибавилась еще Всероссийская художественно-промышленная вы-

ставка, открывшаяся на Ходынке, после которой и до сего времени остались глубокие рвы, колодцы и рытвины, создавшие через много лет ужасы Ходынской катастрофы...

А тогда громадное пространство на Ходынке сияло причудливыми павильонами и огромным главным домом, от которого была проведена ветка железной дороги до товарной станции Москвы — Брестской. И на выставку

Быстро купцы потянулись станицами
Немцев ползут миллионы
Рвутся издатели с жадными лицами
Мчатся писак эскадроны.
Все это мечется, возится, носится
Точно пред пиршеством свадьбы
С уст же у каждого так вот и просится
Только — сорвать бы, сорвать бы...

Россия хлынула на выставку, из-за границы понаехали. У входа в праздничные дни давка. Коренные москвичи возмущаются, что приходится входить поодиночке сквозь невиданную дотоле здесь контрольную машину, турникет, которая, поворачиваясь, потрескивает. Разыгрываются такие сцены:

— Я, Сидор Мартыныч, не пролезу... Ишь в какое узилище!—заявляет толстая купчиха такому же мужу, и обращается к контролеру, суя ему в руку двугривенный:

— Нельзя ли без машины пройтить?

Выставка открылась 20 мая. Еще задолго до открытия она была главной темой всех московских разговоров. Театры, кроме Эрмитажа, открывшегося 2 мая, пустовали в ожидании открытия выставки. Даже дебют Волгиной в Малом театре прошел при пустом зале, а Семейный сад Федотова описали за долги.

Пастухов при своем «Московском Листке» начал выпускать ради выставки, в виде бесплатного приложения к

газете, иллюстрированный журнал «Колокольчик», а редактор «Русского Курьера» Ланин открыл на выставке павильон «шипучих Ланинских вод», и тут же в розницу продавал свой «Русский Курьер».

Кислощейная газета, — как называл ее Пастухов, помещая в «Колокольчике» каррикатуры на Ланина и только расхваливая в иллюстрациях и тексте выставочный ресторан Лопашова. А о том, что на выставке, сверкая роскошными павильонами, представлено более пятидесяти мануфактурных фирм и столько же павильонов «произведений заводской обработки по металлургии»—«Колокольчик» ни слова. Пастухов на купцов всегда был сердит.

***

И вот целый день пылишься на выставке, а вечер отдыхаешь в саду Эрмитажа Лентовского, который забил выставку своим успехом: на выставке,— стоившей только правительству, не считая расходов фабрикантов, более двух миллионов рублей, — сборов было за три месяца около 200.000 рублей, а в Эрмитаже за то же самое время 300.000 рублей.

***

Трудный был этот год, год моей первой ученической работы. На мне лежала обязанность вести хронику происшествий,—должен знать все, что случилось в городе и окрестностях и не прозевать ни одного убийства, ни одного большого пожара или крушения поезда. У меня везде были знакомства, свои люди, сообщавшие мне все, что случилось: сторожа на вокзалах, писцы в полиции, обитатели трущоб. Всем, конечно, я платил. Целые дни на выставке я проводил, потому что здесь узнаешь все городские новости.

Из Эрмитажа я попал на такое происшествие, которое положило основу моей будущей известности, как короля репортеров.

***

— Московский маг и чародей.

Кто-то бросил летучее слово, указывая на статную фигуру М. В. Лентовского, в своей чесучовой поддевке и высоких сапогах мчавшегося по саду.

Слово это подхватили газеты, и это имя осталось за ним навсегда.

Над входом в театр Эрмитаж начертано было:

— Сатира и Мораль.

Это была оперетка Лентовского, оперетка не такая, как была до него и после него.

У него в оперетке тогда играли С. А. Бельская, О. О. Садовская, Зорина, Рюбан (псевдоним его сестры А. В. Лентовской, артистки Малого театра), Правдин, Родон, Давыдов, Ферер — певец Большого театра...

И публика первых представлений Малого и Большого театра, не признававшая оперетки и фарса, наполняла бенефисы своих любимцев.

Лентовским любовались, его появление в саду привлекало все взгляды много лет, его гордая стремительная фигура поражала энергией, и никто не знал, что прячась от ламп Сименса и Гальске и ослепительных свеч Яблочкова, в кустах, за кассой, каждый день, поочереди, дежурят три черных ворона, три коршуна, терзающие сердце Прометея...

Это были ростовщики—Давыдов, Грачев и Кашин.

Они, поочередно, день один, день другой и день третий, забирали сполна сборы в кассе.

Как-то одного из них он увидал в компании своих знакомых ужинавшим в саду, среди публики. Сверкнул

глазами. Прошел мимо. В театр ожидался «всесильный» генерал-губернатор князь Долгоруков. Лентовский торопился его встретить. Возвращаясь обратно, он ищет глазами ростовщика, но стол уже опустел, а ростовщик разгуливает по берегу пруда с регалией в зубах.

— Ты зачем здесь? Тебе сказано сидеть в кустах за кассой и не показывать своей морды в публике!..

Тот ответил что-то резкое и через минуту летел вверх ногами в пруд.

— Жуковский! Оболенский!—крикнул Лентовский своим помощникам,—не пускать эту сволочь дальше кассы, они ходят сюда меня грабить, а не гулять...

И швырнул франта-ростовщика в пруд.

Весь мокрый, в тине, без цилиндра, который так и остался плавать в пруде, обиженный богач бросился прямо в театр, в ложу Долгорукова, на балах которого бывал, как почетный благотворитель... За ним бежал по саду толстый пристав Капени, служака из кантонистов, и догнал его, когда тот уже отворил дверь в губернаторскую ложу.

— Это что такое? — удивился Долгоруков, но подоспевший Лентовский об'яснил ему, как все было.

Ростовщик выл и жаловался.

— В каком вы виде?.. Капени, отправьте его просушиться...—приказал Долгоруков приставу, и старый солдат исполнил приказание по-полицейски:—он продержал ростовщика до утра в застенке участка и просохшего, утром, отпустил домой.

И эти важные члены благотворительных обществ, домовладельцы и помещики, как дворовые собаки пробирались сквозь контроль в кусты за кассой и караулили сборы...

А сборы были огромные.

И расходы все-таки превышали их.

Уж очень широк был размах Лентовского. Только маг и волшебник мог волшебный эдем создать из развалин...

Когда-то здесь было разрушенное барское владение с вековым парком и огромным прудом и развалинами дворца...

Потом француз Борель, ресторатор, устроил там немудрые гулянья с рестораном, эстрадой и небольшой цирковой ареной для гимнастов. Дело это не прививалось, велось с хлеба на квас.

Налетел как-то сюда Лентовский. Осмотрел. На другой день привез с собой архитектора, кажется, Чичагова. Встал в позу Петра I и, как Петр I, гордо сказал:

— «Здесь будет город заложен...»

Стоит посреди владения Лентовский и говорит, говорит, размахивает руками, будто рисует что-то... То чертит палкой на песке...

— Так... Так...

— «И запируем на просторе...»

***

И вырос Эрмитаж. Там, где теперь лепятся по задворкам убогие домишки между Божедомским переулком и Самотекой, засверкали огни электричества и ослепительных фейерверков,—загремел оркестр из знаменитых музыкантов.

— Сад Эрмитаж.

Головка московской публики. Гремит музыка перед началом спектакля. На огромной высоте среди ажура белых мачт и рей летают и крутятся акробаты, над прудом протянут канат для русского Блондена, средина огромной площадки вокруг цветника с фонтаном, за столиками постоянные посетители Эрмитажа... Столики приходится записывать заранее... Вот редактор «Листка» Пастухов со

своими сотрудниками... Рядом за двумя составленными столами члены Московской английской колонии, прямые, натянутые, с неподвижными головами... Там гудит и чокается, кто шампанским, кто квасом, компания из Таганки, уже зарядившаяся где-то заранее... На углу против стильного входа сидит в одиночестве огромный полковник с аршинными черными усами. Он заложил ногу на ногу, курит сигару и ловко бросает кольца дыма на носок своего огромного лакового сапога...

— Душечка, Николай Ильич, как это вы ловко,—замечает ему, улыбаясь, одна из трех проходящих шикарных кокоток.

Полицмейстер Огарев милостиво улыбается и продолжает свое занятие...

А кругом, как рыба в аквариуме, мотается публика в ожидании представления... Среди них художники, артисты, певцы—всем им вход бесплатный.

Антон Чехов с братом Николаем, художником, работающим у Лентовского вместе с Шехтелем, стоят у тира и любуются одним своим приятелем, который без промаха сшибает гипсовые фигурки и гасит пулькой красные огоньки фигур...

Грянул в театре увертюру оркестр, и все хлынули в театр...

Серафима Бельская, Зорина, Лентовская, Волынская, Родон, Давыдов...

Прекрасные голоса, изящные манеры... Ни признака шаржа, а публика хохочет, весела и радостна...

Сатира и Мораль.

В антракте все движутся в фантастический театр, так восторженно описанный тогда Антоном Чеховым. Там, где чуть не вчера стояли развалины старинных палат, поросшие травой и кустарником, мрачные и страшные при свете

луны, теперь блеск разноцветного электричества,— картина фантастическая... Кругом ложи в расщелинах стен среди дикого винограда и хмеля, перед ними столики под шелковыми, выписанными из Китая, зонтиками... А среди развалин —сцена, где идет представление... Откуда-то из-под земли гудит оркестр, а сверху из-за развалин плывет густой колокольный звон... Над украшением Эрмитажа и его театров старались декораторы - знаменитости: Карл Вальц, Гельцер, Левот, выписанный из Парижа, Наврозов, Шишкин, Шехтель, Николай Чехов, Бочаров, Фальк...

Аплодисментам и восторгам нет конца...

И всюду мелькает белая поддевка Лентовского, а за ним его ад'ютанты, отставной полковник Жуковский, старик князь Оболенский, важный и исполнительный, и не менее важный молодой и изящный барин Безобразов, тот самый, впоследствии блестящий придворный чин, друг великих князей и представитель царя в дальне-восточной авантюре, кончившейся злополучной японской войной.

И тогда уж он бывал в петербургских сферах, но всегда нуждался и из-за этого был на посылках у Лентовского.

— Жуковский, закажи ужин. Скажи Буданову, что Пастухова сегодня кормлю,—он знает его вкус, битки с луком, белуга в рассоле и растегай к селянке...

— А ты, князь, опять за уборными не смотришь?.. Посмотри, в павильоне что!..

Остается на берегу пруда вдвоем с Безобразовым.

— Так завтра, значит, ты едешь в Париж... Посмотри, там нет ли хороших балерин... Тебе приказ написан, все подробно. Деньги у Сергея Иваныча. На телеграммы денег не жалей...

— Слушаю, Михаил Валентинович.

***

А утром в Эрмитаже на площадке перед театром можно видеть то ползающую по песку, то вскакивающую, то размахивающую руками и снова ползущую вереницу хористов и статистов... И впереди ползет и вскакивает в белой поддевке сам Лентовский... Он репетирует какую-то народную сцену в оперетке и учит статистов.

Лентовского рвут все на части... Он всякому нужен, всюду сам, все к нему... То за распоряжением, то с просьбами... И великие, и малые, и начальство, и сторожа, и первые персонажи, и выходные... Лаконически отвечает на вопросы, решает коротко и сразу... После сверкающей бриллиантами Зориной, на которую накричал Лентовский, к нему подходит молоденькая хористочка и дрожит.

— Вам что?..

— М... м... мм...

— Вам что?!.

— Михаил Контромарович, дайте мне Валентиночку...

— Князь, дай ей Валентиночку... Дай две контромарки, небось, с кавалером. — И снова на кого-то кричит.

Таков был Лентовский, таков Эрмитаж в первый год своей славы.

Я сидел за Пастуховским столом. Ужинали. Сам толстяк буфетчик, знаменитый кулинар С. И. Буданов, прислуживал своему другу Пастухову. Иногда забегал Лентовский, присаживался и снова исчезал.

Вдруг перед нами предстал елейного вида пожилой человечек в долгополом сюртуке, в купеческом картузе, тогда модном, с суконным козырьком.

— Николаю Ивановичу почтение-с.

— А, сухой именинник! Ты бы вчера приходил, да угощал...

— Дело не ушло - с, Николай Иванович.

— Ну, садись, Исакий Парамоныч, уж я тебя угощу.

— Не могу, дома ожидают. Пожалуйте ко мне на минутку.

Пастухов встал, и они пошли по саду. Минут через десять Пастухов вернулся и сказал:

— Ну, вы доедайте, запишите ужин на меня... Гиляй, пойдем со мной к Парамонычу. Зовет в пеструшки перекинуться, в стукалочку, вчерашние именины справляет...

Мы уходим. В аллее присели на скамейку.

— Сейчас я получил сведение, что в Орехове-Зуеве, на Морозовской фабрике был вчера пожар, сгорели в казарме люди, а хозяева и полиция заминают дело, чтоб не отвечать и не платить пострадавшим. Вали сейчас на поезд, разузнай досконально все, перепиши поименно погибших и пострадавших... да смотри, чтоб точно все. Ну да ты сделаешь... вот тебе деньги и никому ни слова...

Он мне сунул пачку и добавил:

— Да ты переоденься, как на Хитров ходишь... день-два пробудь, не телеграфируй и не пиши, все разнюхай... Ну, счастливо... И крепко пожал руку.

В картузе, в пиджачишке и стоптанных сапогах с первым поездом я прибыл в Орехово-Зуево и прямо в трактир, где молча закусил и пошел по фабрике.

Вот и место пожарища, сгорел спальный корпус № 8, верхний этаж. Казарма огромная о 17 окон, выстроенная так же, как и все остальные казармы, которые я осмотрел во всех подробностях, чтобы потом из рассказов очевидцев понять картину бедствия.

Казарма деревянная. Лестниц наружных мало, где одна, где две, да они и бесполезны, потому что окна забиты наглухо.

— Чтобы ребятишки не падали, — пояснили мне.

Таковы были казармы, а бараки еще теснее. Сами фабричные корпуса и даже самые громадные прядильни снабжены были лишь старыми деревянными лестницами, то одна, то две, а то и ни одной. Спальные корпуса состояли из тесных «коморок», набитых семьями, а сзади темные чуланы, в которых летом спали от «мухоты».

Осмотрев, я долго ходил вокруг сгоревшего здания, где все время толпился народ, хотя его все время разгоняли два полицейских сторожа.

Я пробыл на фабрике двое суток; днем толкался в народе, становился в очередь, будто наниматься или получать расчет, а когда доходила очередь до меня, то исчезал. В очередях добыл массу сведений, но говорили с осторожкой: чуть кто подойдет — смолкают, конторские сыщики следили во всю.

И все-таки мне удалось восстановить картину бедствия.

***

В полночь 28 мая в спальном корпусе № 8, где находились денные рабочие с семьями и семьи находившихся на работе ночной смены, вспыхнул пожар и быстро охватил все здание. Кое-кто успел выскочить через выходы, другие стали бить окна, ломать рамы и прыгать из окон второго этажа. Новые рамы, крепко забитые, без топора выбить было нельзя. Нашлась одна лестница, стали ее подставлять к окнам, спасли женщину с ребенком и обгорелую отправили в больницу. Это была работница Сорокина; ее муж, тоже спасенный сыном, только что вернувшимся со смены, обгорел, обезображенный до нельзя. Дочь их, Марфу, 11 лет, так и не нашли,—еще обломки и пепел не раскопаны. Говорили, что там есть сгоревшие. Рабочие выбрасывали детей, а сами прыгали в окна. Вот как мне рассказывала жена рабочего Кулакова:

— Спали мы в чулане сзади казармы и, проснувшись в 12 часу, пошли на смену. Только что я вышла, вижу в окне третьей каморки вверху огонь и валит дым. Выбежал муж, и мы бросились вверх за своими вещами. Только что прошли через кухню в коридор, а там огонь.. «Спасайтесь, горим», крики... Начал народ метаться, а уж каморки и коридор, все в огне; как я выбежала на двор, не помню, а муж скамьей раму вышиб и выскочил в окно... Народ лезет в окна, падает, кричит, казарма пылает... Сразу загорелся корпус и к утру весь второй этаж представлял из себя развалины, под которыми погребены тела сгоревших...

В субботу найдены были обуглившиеся трупы. Женщина обгорела с двумя детьми,—это жена сторожа, только что разрешившаяся от бремени, еще два ребенка, дети солдата Иванова, который сам лежал в больнице...

В грудах обломков и пепла найдено было 11 трупов. Детей клали в один гроб по нескольку. Похороны представляли печальную картину: в телегах везли их на Мызинское кладбище. Кладбищ в Орехове-Зуеве было два: одно Ореховское, почетное , а другое Мызинское, для остальных. Оно находилось в полуверсте от церкви в небольшом сосновом лесу на песчаном кургане. Там при мне похоронили 16 умерших в больнице и 11 найденных на пожарище.

Рабочие были в панике. Накануне моего приезда, 31 мая, в понедельник, в казарме № 5 кто-то крикнул «пожар», и произошел переполох. В день моего приезда в казармах окна порасковыряли сами рабочие и приготовили веревки для спасения.

Когда привозили на кладбище гроба из больницы, строжайше было запрещено говорить, что это жертвы пожара. Происшедшую катастрофу покрывали непроницаемой завесой.

Перед от'ездом в Москву, когда я разузнал все и даже добыл список пострадавших и погибших, я попробовал повидать официальных лиц. Обратился к больничному врачу, которого я поймал на улице, но и он оказался хранителем тайны и отказался отвечать на вопросы.

— Скажите, по крайней мере, доктор, сколько у вас в больнице обгорелых? — спрашивал я, хотя список их у меня был в кармане.

— Ничего-с, ничего не могу вам сказать, обратитесь в контору или к полицейскому надзирателю.

— Их двадцать девять, я знаю, но как их здоровье?

— Ничего-с, ничего не могу вам сказать, обратитесь в контору.

— Но скажите, хоть сколько умерло, ведь это же не секрет.

— Ничего-с, ничего...—и, не кончив речи, быстро ретировался.

Думаю, рисканем. Пошел разыскивать самого квартального. Оказывается, он был на вокзале. Иду туда и встречаю по дороге упитанного полицейского типа.

— Скажите, какая, по вашему, причина пожара?

— Поджог! — ответил он как-то сразу, а потом, посмотрев на мой костюм, добавил строго:

— А ты кто такой за человек есть?

— Человек, брат, я московский, а ежели спрашиваешь, так.. могу тебе и карточку с удостоверением показать.

— А, здравствуйте! Значит, оттуда? — и подмигнул.

— Значит, оттуда. Вторые сутки здесь каталажусь... Все узнал. Так поджог?

— Поджог, лестницы керосином были облиты.

— А кто видал?

— Там уже есть такие, найдутся, а то расходы-то какие будут фабрике, ежели не докажут поджога... Ну, а как ваш полковник поживает.

— Какой?

— Как какой? Известно, ваш начальник, полковник Муравьев... Ведь вы из сыскного?

— Вроде того, еще пострашнее... Вот глядите.

И, захотев поозорничать, я вынул из кармана книжку с моей карточкой, с печатным бланком корреспондента «Московского Листка» и показал ему.

В лице изменился и затараторил.

— Вот оно что, ну ловко вы меня поддели... нет, что уж... только, пожалуйста, меня не пропишите, как будто мы с вами не видались, сделайте милость, сами понимаете, дело подначальное, а у меня семья, дети, пожалейте.

— Даю вам слово, что я о вас не упомяну, только ответьте на мои некоторые вопросы.

Мы побеседовали, я от него узнал всю подноготную жизнь фабрики, и далеко не в пользу хозяев говорил он.

***

Вернулся я с вокзала домой ночью, написал корреспонденцию, подписал ее своим старым псевдонимом «Проезжий корнет» и привез Н. И. Пастухову рано утром к чаю.

Пастухов увел меня в кабинет, прослушал корреспонденцию, сказал «ладно», потом засмеялся.

— Корнет! Так корнету и поверят, — зачеркнул и подписал: «Свой человек».

— Пусть у себя поищут, а то эти подлецы-купцы узнают и пакостить будут, посмотрим, как они завтра завертятся, как караси на сковородке, пузатые... Вот рабочие так обрадуются, читать газету взасос будут, а там сами нас завалят корреспонденциями про свои беспорядки.

Через два дня прихожу утром к Пастухову, а тот в волнении.

— Сегодня к двенадцати князь[1]) вызывает, купцы нажаловались, беда будет, а ты приходи в четыре часа к Тестову, я от князя прямо туда. Ехать боюсь!

***

В левом зале от входа, посредине, между двумя плюшевыми диванами стоял стол, который днем никто из посетителей Тестовского трактира занимать не смел.

— Это стол Николая Ивановича, никак нельзя,—отказывали белорубашечники всякому, кто этого не знал.

К трем часам дня я и сотрудник «Московского Листка» Герзон сидели за столом вдвоем и закусывали перед обедом. Входит Пастухов, сияющий.

— Что вы, черти, водку с селедкой лопаете, что не спросили как следует. Кузьма, уху из стерлядки, растегайчик пополамный, чтобы стерлядка с осетринкой и печеночка налимья, потом котлеты пожарские, а там блинчики с вареньем. А пока закуску: икорки, балычка, ветчинки — все как следует. Да лампопо по-горбуновски, из Трехгорного пива.

— Ну, вот прихожу я к под'езду, к дежурному, князь завтракает. Я скорей на задний двор, вхожу к начальнику секретного отделения Хотинскому; ну, человек, конечно, свой, приятель, наш сотрудник, спрашиваю его: «Павел Михайлович, зачем меня его сиятельство требует? Очень сердит?»

— Вчера Морозовы ореховские приезжали оба, и Викула и Тимофей, говорят, ваша газета бунт на фабрике сделала, обе фабрики шумят. Ваш «Листок» читают по трак-

---

[1]) Князь В. А. Долгоруков, московский генерал-губернатор.

тирам, собираются толпами, на кладбище, там тоже читают. Князь рассердился, корреспондента, говорит, арестовать и выслать.

— Ну, я ему: что же делать, Павел Михайлович, в долгу не останусь, научите.

— А вот что: князь будет кричать и топать, а вы ему только одно — виноват, ваше сиятельство. А потом спросит, кто такой корреспондент. А теперь я вас спрашиваю от себя: кто вам писал?

— А я ему говорю, хороший сотрудник, за правду ручаюсь.

— Ну, вот, говорит, это и скверно, что все правда. Не правда, так ничего бы и не было. Написал опровержение и шабаш. Ну, да все равно, корреспондента мы пожалеем. Когда князь спросит, кто писал, скажите, что вы сами слышали на бирже разговоры о пожаре, о том, что люди сгорели, а тут в редакцию двое молодых людей пришли с фабрики, вы им поверили и напечатали. Он, ведь, этих фабрикантов сам не любит. Ну, идите.

— Иду. Зовет к себе в кабинет. Вхожу. Владимир Андреевич встает с кресла в шелковом халате, идет ко мне с газетой и сердито показывает отмеченную красным карандашом корреспонденцию.

— Как вы смеете, ваша газета рабочих взбунтовала.

— Виноват, ваше сиятельство,—кланяюсь ему,—виноват, виноват.

— Что мне в вашей вине, я верю, что вас тоже подвели. Кто писал? Нигилист какой-нибудь?

— Я рассказал ему, как меня научил Хотинский. Князь улыбнулся.

— Написано все верно, прощаю вас на этот раз, только если такие корреспонденции будут поступать, так вы посы-

лайте их на просмотр к Хотинскому... Я еще не знаю, чем дело фабрики кончится, может быть, беспорядками, главное насчет штрафов огорчило купцов; ступайте!

— Я от него опять к Павлу Михайловичу, а тот говорит:

— Ну, заварили вы кашу. Сейчас один из моих агентов вернулся... Рабочие никак не успокоятся, а фабрикантам в копеечку влетит... Приехал сам прокурор судебной палаты на место... Сам ведет строжайшее следствие... За укрывательство кое-кто из властей арестован, потребовал перестройки казармы и улучшения быта рабочих, сам говорил с рабочими, и это только успокоило их. Дело будет разбираться во Владимирском суде.

— Ну, заварил ты кашу, Гиляй, сидеть бы тебе в Пересыльной, если бы не Павел Михайлович.

***

«Московский Листок» сразу увеличил розницу и подписку. Все фабрики подписались, а мне он заплатил двести рублей за поездку, оригинал взял из типографии, уничтожил его, а в книгу сотрудников гонорар не записал: поди узнай, кто писал!

Таков был Николай Иванович Пастухов [1]).

***

Вскоре Пастухов из-за утреннего чая позвал меня к себе в кабинет.

— Гляди.

На столе лежала толстенная кипа бумаги с надписью на синей обложке М. У. П. «Дело о разбойнике Чуркине».

---

1) Года через три, в 1885 году, во время первой большой стачки у Морозовых—я в это время работал в «Русских Ведомостях»—в редакцию прислали описание стачки, в котором не раз упоминалось о сгоревших рабочих, и прямо цитировались слова из моей корреспонденции, но ни строчки не напечатали «Русские Ведомости»— было запрещено.

— Вчера мне исправник Афанасьев дал. Был я у него в уездном полицейском управлении, а он мне его по секрету и дал. Тут за несколько лет собраны протоколы и вся переписка о разбойнике Чуркине. Я буду о нем роман писать. Тут все его похождения, а ты с'езди в Гуслицы и сделай описание местностей, где он орудовал. Разузнай, где он бывал, трактиры опиши, дороги, притоны... В Запонорье у него домишко был, подробнее собери сведения. Я тебе к становому карточку от исправника дам, к нему и поедешь.

— Карточку, пожалуй, я исправничью на всякий случай возьму, а к становому не поеду, у меня приятель в Ильинском погосте есть, трактирщик, на охоту езжал с ним.

— Ну это лучше, больше узнаешь.

На другой день я был в селе Ильинском погосте у Давыда Богданова, старого трактирщика. Но его не было дома, уехал в Москву дня на три. А тут подвернулся старый приятель, Егорьевский кустарь, страстный охотник и позвал меня на охоту, в свой лесной глухой хутор, где я и пробыл трое суток, откуда и вернулся в Ильинский погост к Давыдову. Встречаю его сына Василия, только что приехавшего. Он служил писарем в Москве в Окружном штабе. Малый развитой, мой приятель, охотились вместе. Он сразу поражает меня новостью:

— Скобелев умер... Вот, читайте.

Подал мне последнюю газету и рассказал о том, что говорят в столице, что будто Скобелева отравили.

Тут уж было не до Чуркина. Я поехал прямо на поезд в Егорьевск, решив вернуться в Гуслицы при первом свободном дне.

Я приехал в Москву вечером, а днем прах Скобелева был отправлен в его Рязанское имение.

В Москве я бросился на исследования из простого любопытства, так как писать, конечно, ничего было нельзя.

Говорили много и, конечно, шопотом, что он отравлен немцами, что будто в ресторане — не помню в каком — ему послала отравленный бокал с шампанским какая-то компания иностранцев, предложившая тост за его здоровье... Наконец, уж совсем шопотом, с оглядкой, мне передавал один либерал, что его отравило правительство, которое боялось, что во время коронации, которая будет через год, вместо Александра III, обязательно об'явят царем и коронуют Михаила II, Скобелева, что пропаганда ведется тайно и что войска, боготворящие Скобелева, совершат этот переворот в самый день коронации, что все уж готово. Этот вариант я слыхал и потом.

А на самом деле вышло гораздо проще.

Умер он не в своем отделении гостиницы Дюссо, где останавливался, приезжая в Москву, как писали все газеты, а в номерах «Англия». На углу Петровки и Столешникова переулка существовала гостиница «Англия» с номерами на улицу и во двор. Двое ворот вели во двор, одни из Столешникова переулка, а другие с Петровки, рядом с извозчичьим трактиром. Во дворе были флигеля с номерами. Один из них двухэтажный сплошь был населен содержанками и девицами легкого поведения, шикарно одевавшимися. Это были, главным образом, иностранки и немки из Риги.

Большой номер, шикарно обставленный в нижнем этаже этого флигеля, занимала блондинка Ванда, огромная прекрасно сложенная немка, которую знала вся кутящая Москва.

И там на дворе от очевидцев я узнал, что рано утром 25 июня к дворнику прибежала испуганная Ванда и сказала, что у нее в номере скоропостижно умер офицер. Одним из первых вбежал в номер парикмахер И. А. Андреев, задние двери квартиры которого как раз против дверей флигеля. На стуле, перед столом, устанвленном винами и фруктами,

полулежал без признаков жизни Скобелев. Его сразу узнал Андреев. Ванда молчала, сперва не хотела его называть.

В это время явился пристав Замойский, сразу всех выгнал и приказал жильцам:

— Сидеть в своем номере и носа в коридор не показывать!

Полиция разогнала народ со двора, явилась карета с завешенными стеклами и в один момент тело Скобелева было увезено к Дюссо, а в 12 часов дня в комнатах, украшенных цветами и пальмами, высшие московские власти уже присутствовали на панихиде.

* *
*

28 июня мы небольшой компанией ужинали у Лентовского в его большом садовом кабинете. На турецком диване мертвецки спал трагик Анатолий Любский, напившийся с горя. В три часа, с почтовым поездом он должен был уехать в Курск на гастроли, взял билет, да засиделся в буфете, и поезд ушел без него. Он прямо с вокзала приехал к Лентовскому, напился вдребезги и уснул на диване.

Мы сели ужинать, когда уже начало светать. Ужинали свои: из чужих был только приятель Лентовского, управляющий Московско-Курской железной дорогой К. И. Шестаков.

Ужин великолепный, сам Буданов по обыкновению хлопотал, вина прекрасные. Молча пили и закусывали, перебрасываясь словами, а потом, конечно, разговор пошел о Скобелеве. Сплетни так и сплетались. Молчали только двое — я и Лентовский.

Повидимому, эти разговоры ему надоели. Он звякнул кулачищем по столу и рявкнул:

— Довольно сплетен. Все это вранье. Никто Скобелева не отравлял. Был пьян и кончил разрывом сердца. Просто

перегнал. Это может быть и со мной и с вами. Об отраве речи нет. Я видел двух врачей, вскрывавших его, — говорят, сердце настолько изношено, что удивительно, как он еще жил.

И скомандовал:

— Встать! Почтим память покойного стаканом шампанского. Он любил выпить!

Встали и почтили.

— Еще 24-го Михаил Дмитриевич был у меня в Эрмитаже в своем белом кителе. С ним был его ад'ютант и эта Ванда. На рассвете они вдвоем уехали к ней... Не будет она травить человека в своей квартире. Вот и все... Разговоры прекратить!

Все замолчали — лишь пьяный Любский что-то бормотал во сне на турецком диване. Лентовский закончил:

— А эту стерву Ванду я приказал не пускать в сад...

И еще раз треснул кулаком так, что Любский вскочил и подсел к нам. Проснулся Любский, когда уже стало совсем светло и мы пресытились шампанским, а Лентовский своим неизменным «Бенедиктином», который пил не из ликерных рюмочек, а из лафитного стакана.

— Осадить пора, Миша, теперь не дурно бы по рюмочке холодной водочки и селяночки по-московски, да покислее,— предложил Любский.

Явился буфетчик.

— Серега, сооруди-ка нам похмельную селяночку на сковороде из живой стерлядки, а то шампанское в горло не лезет.

— Можно, а пока вот вам дам водочки со льда и трезвиловки, икорки ачуевской тертой с сардинкой, с лучком и с лимончиком, как рукой снимет.

Жадно все набросились после холодной водки и тертой икры с сардинкой на дымящуюся селянку. Отворили окна,

подняли шторы, солнце золотило верхушки деревьев и приятный холодок освежал нас. Вдруг вбежал Михайла, любимец Лентовского, старший официант и прямо к Шестакову.

— Вас курьер с вокзала спрашивает, Константин Иванович, несчастье на дороге.

Сразу отрезвел Шестаков.

— Что такое? Зови сюда! Нет, лучше я сам выйду.

Через минуту вернулся.

— Извините, ухожу, — схватил шапку, бледный весь.

— Что такое, Костя? — спросил Лентовский.

— Несчастье, под Орлом страшное крушение, почтовый поезд провалился под землю. Прощайте.

И пока он жал всем руки, я сорвал с вешалки шапку и пальто, по пути схватил со стола у двери какую-то бутылку запасного вина и, незамеченный, исчез.

У под'езда на Божедомке в числе извозчиков увидал лихача мальчугана «Птичку», дремавшего на козлах своей дорогой запряжки.

— Птичка, на Курский вокзал, вали!

— Три рубля, — ответил он спросонья.

— Вали.

Минут через двадцать я отпустил вспененного рысака, не доезжая до вокзала, где на под'езде увидал толпу разного начальства и воротами пробежал на двор к платформе со стороны рельс.

У платформы стоял готовый поезд с двумя вагонами третьего класса впереди и тремя зеркальными министерскими сзади.

Я залез под вагон соседнего пустого состава и наблюдал за платформой, по которой металось разное начальство, а старик Сергей Иванович Игнатов с седыми баками, начальник станции, служивший с первого дня открытия дороги, говорил двум инженерам:

— Константин Иванович сейчас приедет. Около Мценска... говорят, весь поезд... погиб и все... телеграмма ужасная... — слышались отрывистые фразы Игнатова.

— Идет, идет, — прошу садиться.

Ну, решил я, — просят садиться, будем садиться.

Я вскочил прямо с полотна на подножку второго министерского вагона, где на счастье была незаперта дверь, и нырнул прямо в уборную. Едва я успел захлопнуть дверь, как послышались голоса входящих в вагон.

Через минуту свисток паровоза и поезд двинулся и помчался, громыхая на стрелках... Вот мы уже за городом... поезд мчится с безумной скоростью, меня бросает на лакированной крышке... я снял с себя неразлучный пояс из сыромятного калмыцкого ремня и так привернул ручку двери, что никаким ключем не отопрешь.

Остановились в Серпухове, набрали наскоро воды, полетели опять. Кто-то подошел к двери, рванул ручку и, успокоившись, — «занято» — ушел. Потом еще остановка, опять воду берут, опять на следующем перегоне проба отворить дверь... А вот и Тула, набрали воды, мчимся. Кто-то снова пробует вертеть ручку и ругаясь уходит. Через минуту слышу голоса:

— Посмотри, не испортился ли запор.

Слышу металлический звук кондукторского ключа и издаю громкое недовольное рычание и начальственным тоном спрашиваю:

— Кто там?

— Виноват, ваше превосходительство, — и потом тот же голос отвечает,—нет, занято.—И меня уж больше никто не беспокоил. Я ехал ничего не видя сквозь запертое матовое стекло, а опустить его не решался. Страшно хотелось пить после «трезвиловки» и селянки, и как я обрадовался, вынув из кармана пальто бутылку... Оказался «Шато-ля Роз». А

не будь этой бутылки, при томящей жажде я был бы вынужден выдать свое присутствие, что было бы весьма рискованно.

Во время происшествий начальство не любит корреспондентов.

Вот, наконец, Скуратово, берут воду... у самого окна слышу разговор:

— За Чернью, около Бастыева. Всю ночь был такой ливень, такой ливень... Вырвало всю насыпь, и поезд рухнул.

А потом голоса слились и ушли.

После бешеной езды поезд быстро останавливается. Слышу шаги выходящих и разговоры:

— Сейчас, тут рядом, ваше превосходительство, извольте видеть, где народ.

Я развязал ремень и, когда голоса стихли, вышел на площадку и соскользнул на полотно через левую дверь.

***

Это место стало гуляньем: из Москвы и Петербурга вскоре приехали: Львов-Кочетков, из «Московских Ведомостей», А. Д. Курепин, из «Нового Времени», Н. П. Кичеев из «Новостей» Нотовича, и много, много разных корреспондентов разных газет и публики из ближайших городов и имений.

Ширь, даль, зелень. По обе стороны этого многолюдного экстренного лагеря кипела жизнь, вагоны всех классов от товарных до министерских, населенные всяким людом, начиная от прокурора палаты и разных инженер-генералов до рабочих депо и землекопов. Город на колесах.

А еще дальше вокруг кольцо войск охраны и толпы гуляющих зевак, с'ехавшихся сюда, как на зрелище.

Это двести девяносто шестая верста от Москвы... место без названия. И в первой телеграмме, посланной мной в га-

зету в день прибытия, я задумался над названием местности. Я спросил, как называется эта ближайшая деревня?

— «Кукуевка», — ответили мне, и я телеграфировал о катастрофе под деревней Кукуевкой. Отсюда и пошло, «Кукуевская катастрофа», «Кукуевский овраг», и «Кукуевцы», — последнее об инженерах.

— Кукушка, прокукуй мне про Кукуй, — сострил кто-то в «Будильнике».

Вспоминаю момент приезда: впереди шел К. И. Карташев, за ним инженеры, служащие и рабочие... Огромный глубокий овраг пересекает узкая, сажень до двадцати вышины, насыпь полотна дороги, прорванная на большом пространстве, заваленная обломками вагонов. На том и другом краю образовавшейся пропасти полувисят готовые рухнуть разбитые вагоны. На дне насыпи была узкая, аршина в полтора диаметром, чугунная труба — причина катастрофы. Страшный ночной ливень 29 июня 1882 года, давший море воды, вырвал эту трубу, вымыл землю и образовал огромную подземную пещеру в насыпи, в глубину которой и рухнул поезд... Два колена трубы, пудов по двести каждая, виднелись на дне долины в полуверсте от насыпи, такова была сила потока...

Оторвался паровоз и первый вагон, оторвались три вагона в хвосте, а вся середина поезда, разбитого вдребезги, так как машинист, во время крушения растерявшись, дал контр-пар, разбивший вагоны, рухнула вместе с людьми на дно пещеры, где их и залило наплывшей жидкой глиной и засыпало землей, перемешанной тоже с обломками вагонов и трупами погибших людей.

Четырнадцать дней я посылал с нарочным и по телеграфу сведения о каждом шаге работы... и все это печаталось в «Листке», который первый поместил мою большую телеграмму о катастрофе и который шел в это время на расхват.

Все другие газеты опоздали. На третий день ко мне приехал с деньгами от Н. И. Пастухова наш сотрудник А. М. Дмитриев, «Барон Галкин».

— Телеграфируй о каждой мелочи, деньгами не стесняйся, — писал мне Н. И. Пастухов, и я честно исполнил его требование.

С момента начала раскопок от рассвета до полуночи я не отходил от рабочих. Четырнадцать дней! С 8 июля, когда московский оптик Пристлей поставил электрическое освещение, я присутствовал на работах ночью, дремал, сидя на обломках, и меня будили при каждом показавшемся из земли трупе.

Денег на расходы не жалел.

Я пропах весь трупным запахом и более полугода потом страдал галлюцинацией обоняния и окончательно не мог есть мясо.

Первый раз я это явление почувствовал так: уже в конце раскопок я как-то поднялся на верх и встретил среди публики моего знакомого педагога — писателя Е. М. Гаршина, брата Всеволода Гаршина. Он увидел меня и ужаснулся. Действительно, — обросший волосами, нечесанный и не мытый больше недели, с облупившимся от жары загоревшим до черна лицом я был страшен.

— Ты ужасен, поедем к нам, это рядом, поедем! Вот мои лошади. Вымоемся, передохнем, — стал он меня уговаривать.

В этот день экстренного ожидать было нечего: на девятой сажени сверху, на всем пространстве раскапывания пещеры был толстый слой глины, который тщетно снимали и даже думали, что ниже уже ничего нет. Но на самом деле, под этим слоем оказалось целое кладбище.

Я провел Гаршина по работам, показал ему внизу, далеко под откосом, морг, вырытый в земле, куда складыва-

лись трупы, здесь их раздевали, обмывали, признавали, а потом хоронили.

Запах был невыносимый... Как раз в это время, когда мы вошли, в морге находился прокурор Московской судебной палаты С. С. Гончаров, высокий, энглизированный, с бритым породистым лицом, красиво бросавший в глаз монокль, нагибаясь над трупом. Он энергично вел следствие и сам работал день и ночь.

Это тот самый С. С. Гончаров, который безбоязненно открыл хищения в Скопинском банке, несмотря на чинимые Петербургом препятствия, потому что пайщиками банка были и министры и великие князья.

Про него тогда на суде и песенку сложили:

Много в Скопине воров
Погубил их Гончаров.

На суде в качестве репортера от Петербургской газеты присутствовал Антон Чехов, писавший прекрасные отчеты.

***

Не выдержал ароматов морга Е. М. Гаршин, и мы помчались на его паре в пролетке.

Я захватил с собой новую розовую ситцевую рубаху и нанковые штаны, которые «укупил» мне накануне во Мценске мой стременной Вася, малый из деревни Кукуевки, отвозивший на телеграф мои телеграммы и неотступно состоявший при мне во все время для особых поручений.

На мой вопрос, к кому мы едем, Гаршин мне ответил, что гостит он у знакомых, что мы поедем к нему в садовую беседку, выкупаемся в пруде, и никто нас беспокоить не будет.

Проехали верст пять полями. Я надышаться не мог после запахов морга и подземного пребывания в раскопках, поливаемых карболкой.

Мы под'ехали к парку, обнесенному не то рвом, не то изгородью, не помню сейчас. Остановились, отпустили лошадей, перебрались через ров и очутились в роскошном вековом парке у огромного пруда. Тишина и безлюдье.

— Ну-с, теперь купаться.

Душистое мыло и одеколон, присланные мне из Москвы, пошли в дело. Через полчаса я стоял перед Гаршиным в розовой мужицкой рубахе, подпоясанной моим калмыцким ремнем с серебряными бляшками, в новых, лилового цвета,— вкус моего Васьки,— нанковых штанах и чисто вымытых сапогах с лакированными голенищами, от которых я так страдал в жару на Кукуевке при непрерывном солнцепеке.

Старое белье я засунул в дупло дерева.

— Ну, теперь пойдем, — позвал меня Е. М. Гаршин.

Прошли десятка два шагов.

На полянке, с которой был виден другой конец пруда, стоял мольберт, а за ним сидел в белом пиджаке высокий, величественный старец, с седой бородой и писал картину. Я видел только часть его профиля.

— Яков Петрович!

— А, Евгений Михайлович! Я слышал, кто-то купается.

Не отрываясь от работы, говорил старик.

— Я да и не один. Вот мой старый друг, поэт Гиляровский.

Старец обернулся и ласково, ласково улыбнулся.

— Очень рад, очень рад. Где-то я на-днях видел вашу фамилию, ну, вот недавно, недавно...

— А́ корреспонденция из Кукуевки, — вмешался Гаршин, — как раз вчера мы с вами читали... я его оттуда и привез.

— Так это вы? Мы все зачитываемся вашими корреспонденциями, какой ужас. В других газетах ничего нет. Нам ежедневно привозят «Листок» из Мценска. Очень, очень

рад... Ну, идите к Жозефине Антоновне, и я сейчас приду к обеду, очень рад, очень...

Мы быстро пошли.

— Кто этот славный старик, уж очень знакомое лицо? — спрашиваю я.

— Да Яков Петрович Полонский, поэт Полонский, я гощу у него лето, Иван Сергеевич не приехал, хотя собирался... А вот Яков Петрович и его семья, здесь.

— Какой Иван Сергеевич, — спрашиваю я.

— Да Тургенев, ведь это его имение, Спасское-Лутовиново.

Я окончательно ошалел, да так ошалел, что ничего не видя, ничего не понимая, просидел за обедом, за чаем, в Тургеневских покоях, ошалелым гулял по парку, гулял по селу, ничего не соображая.

Во время обеда, за которым я даже словом не обмолвился при детях о Кукуевке, что поняли и оценили после Полонские — я вовсе не мог есть мяса первый раз в жизни и долго потом в Москве не ел его.

Уже после обеда, без детей, я отвечал на вопросы, потом осматривал имение и слушал рассказы Е. М. Гаршина о Тургеневе, о жизни в Спасском, мне показали дом и все реликвии.

В памяти у меня портрет вельможи, проколотый в груди, — это сюжет повести «Три портрета». Помню еще библиотеку с биллиардом и портретом поэта Тютчева в ней, помню кабинет Тургенева с вольтеровским креслом и маленькую комнату с изящной красного дерева, крытой синим шелком, мебелью, в которой год назад, когда Иван Сергеевич в последний раз был в своем имении, гостила Мария Гавриловна Савина, и в память этого Иван Сергеевич эту комнату назвал Савинской. Это было при Якове Петровиче, который прошлое лето проводил с ними здесь.

Смутно помнится после ужасов Кукуевки все то, что в другое время не забылось бы. Единственное, что поразило меня навеки-вечные, так этот столетний сад, какого я ни до, ни после, никогда и нигде не видел, какого я и представить себе не мог. Одно можно сказать: если Тургенев, описывая природу русских усадеб, был в этом неподражаемо велик — так это благодаря этому саду, в котором он вырос и которым он весь проникся.

За вечерним чаем я поблагодарил хозяев и стал прощаться, но Яков Петрович и Жозефина Антоновна и слышать об этом не хотели:

— Поживите у нас, отдохните.

Единственно, что я мог выговорить — это отпустить меня на рассвете.

После ужина меня уложили в маленькой гостиной с дверью на садовую террасу, с кожаной мебелью красного дерева, инкрустированной бронзой. Постель мне была постлана на широчайшем мягком диване «Самосоне», описанном Тургеневым в «Накануне».

А над «Самосоном» висел большой портрет отца Тургенева.

С восходом солнца я навсегда покинул Спасское-Лутовиново.

***

Впоследствии я бывал на «пятницах» Полонского в Петербурге и года через три, когда я уже был женат и жил на Мясницкой в гостинице «Рояль», возвращаясь домой с женой к обеду, я получил от швейцара карточку «Яков Петрович Полонский».

И швейцар сказал, что приходил старик на костылях и очень жалел, что не застал меня.

Спустя несколько лет я хоронил Я. П. Полонского, командированный «Русскими Ведомостями» в Рязань.

***

В те времена, когда Лентовский блистал своим Эрмитажем на Самотеке, в Каретном ряду, где теперь сад и театр Эрмитаж, существовала, как значилось в «Полицейских Ведомостях»:

«Свалка чистого снега на пустопорожней земле Мошнина».

Зимой сюда свозили со дворов и улиц «чистый», цвета халвы, снег, тут же таял, и все это, изрытое ямами и оврагами пустопорожнее место покрывалось мусором, среди которого густо росли бурьян, чертополох и лопухи, и паслись козы.

Публика узнала о существовании этого места из афиш в сентябре 1882 года, об'явивших, что «воздухоплаватель Берг сегодня 3 сентября в 7 часов вечера совершит полет на воздушном шаре с пустопорожнего места Мошнина в Каретном ряду. За вход 30 копеек, сидячее место — 1 рубль».

Разгородили в двух местах забор, поставили в проходе билетные кассы и контроль; полезла публика и сплошь забила пустырь, разгороженный канатами, «сидячие рублевые места», над которыми колыхался небольшой серый шар, наполненный гретым воздухом.

Я был командирован редакцией описать полет. Был серый ветреный вечер.

— Пузырь полетит... — волновалась серая Москва, глядя на скверный аэростат из серой материи, покачивавшийся на ветру.

Я пробился к самому шару. Вдали играл оркестр. Десяток пожарных и рабочих удерживали шар, который жестоко трепало ветром. Волновался владелец шара, старичок, немец Берг, — исчез его помощник Степанов, с которым он должен был лететь. Его ужас был неописуем, когда прибежавший посланный из номеров сказал, что Степанов вдребезги

пьян и велел передать, что ему своя голова дорога и что на такой тряпке он не полетит. Берг в отчаянии закричал:

— Кто кочит летайт, иди...

— Я, — шепнул я на ухо старику среди общего молчания и шагнул в корзину. Берг просиял, ухватился за меня обеими руками, может быть боялся, что я уйду, и сам стал рядом со мной.

Публика загудела. Это была не обычная корзина аэростата, какие я видел на картинках, а низенькая, круглая, аршина полтора в диаметре и аршин вверх, плетушка из досок от бочек и веревок. Сесть не на что, загородка по колено. Берг дал знак, крикнул «пускай» и не успел я опомниться, как шар рванулся сначала в сторону, потом вверх, потом вбок, брошенный ветром, причем низом корзины чуть-чуть не ударился в трубу дома — и закрутился... Москва тоже крутилась и проваливалась подо мной.

Мы попали в куски низко висевшей тучи. Сыро, гадко, ничего не видно. Пропали из глаз и строения, и гудевшая толпа. Наши разговоры, мало понятные, велись на чорт знает каком языке и не по-русски и не по-немецки.

Кругом висел серый туман непроглядной тучи. Наконец, внизу замелькали огоньки, Воробьевы горы и поля, прорезанные Москва-рекой. Тишина была полнейшая, шар перестал крутиться и плыл прямо. Мы опять попали в тучу. Берг, увидав у меня табакерку, очень обрадовался и вынюхал у меня чуть не половину. Опять прорвалась туча, открылось небо, звезда, горизонт, а под нами бежали поля, перелески, деревни... Москвы не было видно, она была с той стороны, где были тучи. Вот фонари и огоньки железнодорожной станции и полотно Казанской дороги, я узнал Люберцы, шар стал опускаться и опустился на картофельное поле, где еще был народ.

Мы благополучно сели, крестьяне помогли удержать шар, народ сбегался все больше и больше и с радостью помогал свертывать шар. Опоздав ко всем поездам, я вернулся на другой день и был зверски встречен Н. И. Пастуховым: оказалось, что известия о полете в «Листке» не было.

Это за всю мою репортерскую деятельность был единый случай такого упущения.

***

Еще служа у Бренко, я хорошо познакомился и подружился с М. И. Писаревым и А. Я. Гламой-Мещерской, бывал у них постоянно и запросто, и там впервые увидал многих литературных знаменитостей. У них часто бывал С. А. Юрьев, В. М. Лавров, В. А. Гольцев, еще совсем молодой А. И. Южин и весь кружок «Русской Мысли».

Тогда же я отделал мою поэму «Бурлаки», которую напечатал в «Москве» у Кланга для картины того же названия, — приложение к журналу.

И роскошная обстановка, и избранное общество, и московские трущобы, где часто я бывал, — все это у меня перемешивалось, и все создавало интереснейшую, полную, разнообразную жизнь.

И все это у меня выходило очень просто, все уживалось как-то, несмотря на то, что я состоял репортером «Московского Листка», дружил с Пастуховым и его компанией. И в будущем так всегда было, я печатался одновременно в «Русской Мысли» и в «Наблюдателе», в «Русских Ведомостях» и «Новом Времени»... И мне, одному только мне, это не ставилось в вину, да я и сам не признавал в этом никакой вины, и даже разговоров об этом не бывало. Только как-то у Лаврова Сергей Андреевич Юрьев сказал мне:

— Надо вам, Владимир Алексеевич, в другую компанию перебраться.

И я перебил его:

— Нигде столько не заработаешь, и нигде не отведут столько места для статей, — а пишу я что хочу, меня никто не черкает. Да и любопытная работа.

И раз навсегда этот разговор кончился.

**
*

В Москве существовала школа гимнастики и фехтования, основанная стариком Пуаре, после него она перешла к А. И. Постникову и Т. П. Тарасову. Первый знаменитый гимнаст и конькобежец, второй — солдат образцового учебного батальона, Тарас Тарасов, на вид вроде моего дядьки Китаева, только повыше и потолще. Это непобедимый московский боец на штыках и эспадронах.

Я случайно забрел в этот зал в то время, когда Тарасов вгонял в седьмой пот гренадерского поручика, бравшего уроки штыкового боя. Познакомился с Постниковым и О. И. Селецким, любителем фехтования. Когда Тарасов отпустил своего ученика, я предложил ему пофехтовать. Надели нагрудники, маски и заработали штыками. Тарасов сначала неглижировавший, бился как с учеником, но получил неожиданную пару ударов, спохватился, и бой пошел во всю, и кончился, конечно, победой Тарасова, но которую он за победу и не счел. Когда же я ему сказал, что я учился в полку у Ермилова, он сразу ожил.

— Конопатый такой? Чернявый? Федором звать. Он в Нежинском полку, на вторительную службу пошел.

— Да, у него три нашивки.

— Мы вместе в учебном полку были... Хороший боец. Ну вот теперь я понимаю, что вы такой.

Постников удивился моим гимнастическим трюкам. Я, конечно, умолчал о цирке и хорошо сделал.

Я продолжал заходить в школу, увлекся эспадронами, на которых Тарасов сперва бил меня, как хотел.

А тем временем из маленькой школы вышло дело. О. И. Селецкий, служивший в конторе пароходства Бр. Каменских, собрал нас, посетителей школы и предложил нам подписать выработанный им устав Русского гимнастического общества.

И хорошо, что я промолчал о цирке: в уставе параграф, воспрещающий быть членом общества лицам, выступавшим за вознаграждение на аренах.

Устав разрешили. Кроме небольшой кучки нас, гимнастов и фехтовальщиков, набрали и мертвых душ и в списке первых учредителей общества появились члены из разных знакомых Селецкого, в том числе его хозяева Бр. Каменские и другие разные московские купцы, в том числе, еще молодые тогда дети Тимофея Саввича Морозова, Савва и Сергей, записанные только для того, чтобы они помогли деньгами на организацию дела. Обратился Селецкий к ним с просьбой дать заимообразно обществу тысячу рублей на оборудование зала. О разговоре с Саввой нам Селецкий так передавал:

«Сидим с Саввой в директорском кабинете в отцовском кресле. Посмотрел в напечатанном списке членов свою фамилию и говорит: «очень, очень-с хорошо-с... очень-с рад-с... успеха желаю-с...» Я ему о тысяче рублей заимообразно... Как кипятком его ошпарил! Он откинулся к спинке кресла, поднял обе руки против головы, ладонями наружу, как на иконах молящихся святых изображают, закатив вверх свои калмыцкие глаза и елейно зашептал.

— Не могу-с! И не говорите-с об этом-с. Все, что хотите, но я принципиально дал себе слово не давать взаймы денег. Принципиально-с.

Встал и протянул мне руку. Так молча и расстались. Выхожу из кабинета в коридор, встречаю Сергея Тимо-

феевича, рассказываю сцену с братом. Он покачал головой и говорит:

— Сейчас я не могу... А вы заходите завтра в эти часы ко мне. Впрочем, нет, пойдемте.

Завел меня в другой кабинет, попросил подождать и тотчас же вернулся и подает увесистый конверт.

— Здесь тысяча... Желаю успеха.

Я предлагаю написать вексель или расписку.

— Ничего не надо. Делом интересуюсь... Будут в обществе деньги — и без векселя отдадите...»

И Селецкий вынул из конверта десять сотенных.

Оборудовали на Страстном бульваре в доме Редлих прекрасный зал и дело пошло. Лет через пять возвратили Сергею 500 р., а в 1896 году, я, будучи председателем Совета общества, отвез ему и остальные 500 р., получив в этом расписку, которая и поныне у меня.

В числе членов учредителей был и Антон Чехов, плативший взнос и не занимавшийся. Моя первая встреча с ним была в зале; он пришел с Селецким в то время, когда мы бились с Тарасовым на эспадронах. Тут нас и познакомили. Я и внимания не обратил, с кем меня познакомил Селецкий, потом уже Чехов мне сам напомнил.

Впоследствии на наше Гимнастическое общество обратила свое благосклонное внимание полиция. Начальник охранного отделения Бердяев сказал председателю общества при встрече на скачках.

— Школа гимнастов! Знаем мы, что знаем. В Риме тоже была школа Спартака... Нет, у нас это не пройдет.

Гимнастические классы тогда у нас были по вторникам, четвергам и субботам от восьми до десяти вечера. В числе помощников Постникова и Тарасова был великолепный молодой гимнаст П. И. Постников, впоследствии известный хирург. В числе учеников находились два брата Дуровы,

Анатолий и Владимир. Уж отсюда они пошли в цирк и стали входить в славу с первых дней появления на арене.

⁂

Я усердно работал в обществе и продолжал писать в «Листке», а также сотрудничал в «Осколках», в «Будильнике» и в «Развлечении».

В «Русском Сатирическом Листке» Полушина напечатал по его заказу описание Гуслиц, хотя сатирического в этом ничего не было.

Настал 1882 год. К коронации Александра III готовились усиленно. Шли обыски, аресты. Пастухов мне как-то сказал:

— Ты вот у меня работаешь и с красными дружишь... Мне сказывали уж... Не заступись я за тебя — выслали бы...

Я понял намек на компанию «Русской Мысли», на М. И. Писарева, около которого собрались неугодные полиции люди, но внимания на это не обратил. Благодаря Пастухову уж, что-ли, меня не трогали. Так прошло время до апреля.

ГЛАВА XII.

С БУРЛАКОМ НА ВОЛГЕ

Артистическое турне по Волге. Губа смеется. Обрыдло. Рискованная встреча. Завтрак у полицмейстера. Серебряная ложка. Бурлак хохочет.

Весной 1883 года Бурлак пришел ко мне и пригласил меня поступить в организованное им товарищество для летней поездки по Волге.

Труппа была великолепная. Глама-Мещерская, Свободина-Барышева, Очкина, Рютчи, Козловская, Писарев, Андреев-Бурлак, Ильков, Шмитов, Васильев и суфлер Корнев. Труппа единогласно избрала режиссером и распорядителем Андреева-Бурлака, а меня его помощником. Репертуар такой: «Лес», «Не в свои сани не садись», «Кручина», «На хуторе», «Горькая судьбина», «Иудушка», «В царстве скуки», водевили и, кроме того, Андреев-Бурлак читал «Записки сумасшедшего» и «Рассказ Мармеладова».

***

Это был 1883 год — вторая половина апреля. Москва почти на военном положении, обыски, аресты — готовятся к коронации Александра III, которая назначена на 14 мая. Гостиницы переполняются всевозможными приезжими, частные дома и квартиры снимаются под разные посольства и депутации.

22 апреля труппа выехала в Ярославль, где при полных сборах сыграла весь свой репертуар.

Последние два спектакля, как было и далее во всех городах, я не играл, а выехал в Кострому, готовить театр.

Вот Тверицы, где я нанялся в бурлаки... Вот здесь я расстался с Костыгой... Вот тюремные здания белильного завода.

Меня провожали актеры, приветствовали платками и шляпами с берега, а я преважно с капитанского мостика отмахивался им новенькой панамой, а в голову лезло:

Белый пудель шаговит, шаговит.....

Любовался чудным видом Ярославля, лучшим из видов на Волге.

Скрылся Ярославль. Пошли тальники, сакмы да ухвостья. Голова кругом идет от воспоминаний.

Всю Волгу я проехал со всеми удобствами пассажира I-го класса, но почти всегда один. Труппа обыкновенно приезжала после меня, я был передовым. Кроме подготовки театра к спектаклю, в городах я делал визиты в редакцию местной газеты. Прием мне всюду был прекрасный, во-первых, все симпатизировали нашему турне, во-вторых, в редакциях встречали меня, как столичного литератора и поэта, — я в эти два года печатал массу стихотворений в целом ряде журналов и газет — «Будильник», «Осколки», «Москва», «Развлечение».

Кроме статей о нашем театре, прямо надо говорить, реклам, я давал в газеты, по просьбам редакций, стихи и наброски.

Никогда я не писал так азартно, как в это лето на пароходе. Из меня, простите за выражение, перли стихи. И ничего удивительного; еду в первый раз в жизни в первом классе по тем местам, где разбойничали и тянули лямку мои

друзья Репка и Костыга, где мы с Орловым выгребали в камышах... где... Довольно.

В конце-концов я рад был, что ехал один, а не с труппой.

Не проболтаешься.

Ехал и молчал, молчал, как убитый.

— Нашел — молчи, украл — молчи, потерял — молчи.

Этот завет я блюл строго и только благодаря этому я теперь имею счастье писать эти строки.

Я молчал, и все мои переживания прошлого выходили в строках и успокаивали меня, вполне вознаграждая за вечное молчание.

Под шум пароходных колес, под крики чаек да под грохот бури низовой писал я и отдыхал.

Тогда на пароходе я написал кусочки моего Стеньки Разина, вылившегося потом в поэму и в драму, написал кусочки воспоминаний о бродяжной жизни, которую вы уже прочли выше. Писал и переживал.

Через борт водой холодной
Плещут беляки
Ветер свщет, Волга стонет
Буря нам с руки.

Да, я молчал. Десятки лет молчал.

Только два человека знали кое-что из моего прошлого... Кое-что.

Но эти люди были особые: Вася Васильев — народник, друг народовольцев, счастливо удравший во-время. А не удалось бы ему удрать, так процесс был бы не 193, а 194-х. (Васильев—псевдоним. Его настоящая фамилия Шведевенгер. Но в паспорте — Васильев).

Вася умел молчать как никто, конспиратор по натуре и привычке.

Другой Вася, Андреев-Бурлак, был рыцарь, рыцарь слова.

Оба знали и молчали.

Только знаменитая историческая губа Андреева-Бурлака выражала понятное мне его настроение. Об этой губе поэт Минаев сказал:

Москва славна Тверскою
Фискалом М. Н. К.[1])
И нижнею губою
Актера Бурлака.

Бурлака никто не видал смеющимся, — у него смеялись только глаза и нижняя губа.

Бывало в нашей компании идет разговор о разных обстоятельствах, о которых я мог бы рассказать многое, а я молчу, смотрю на Бурлака. А у того губа смеется и так смеется, что я не удержусь и в ответ сам улыбнусь... И мы только двое понимаем друг друга. Он умел молчать.

***

А испытаний ему было не мало. Помню случай в Астрахани, когда мы уже закончили нашу блестящую поездку. Труппа уехала обратно в Москву, а мы с Бурлаком и Ильковым решили проехать в Баку, а потом через Кавказ домой, попутно устраивая дивертисменты.

Андреев-Бурлак читал «Записки сумасшедшего», «Рассказ Мармеладова», и свои сочинения, Ильков — сцены из народного быта, а я стихи.

Три дня прогуляли мы в Астрахани, а потом были в Баку, Тифлисе, Владикавказе, хорошо заработали, а деньги привез домой только скупердяй Ильков.

Проводив своих, я и Бурлак в Астрахани загуляли во всю. Между прочим подружились с крупным купцом Мочаловым, у которого были свои рыбные промыслы.

---

[1]) М. Н. Катков, редактор «Московских Ведомостей».

С тем самым Мочаловым, у которого десять лет тому назад околачивался на ватагах Орлов, а потом он...

А мы у него в притоне, где я прожил пять дней, и откуда бежал, обжирались до отвала Мочаловской икрой.

Об этом и кое-каких других Астраханских похождениях, конечно, и об Орлове, я рассказывал в минуты откровенности Бурлаку. Рассказал ему подробно, как пили водку и жрали Мочаловскую икру.

— Чего икру не жрешь,—спрашиваю Орлова.

— Обрыдла. Вобла ужовистее.

Я рассказал этот случай. Уж очень слова интересные. Бурлак даже записал их в книжку и в рассказ вставил. Но дело не в том.

На другой день после этого рассказа заявился к нам утром Мочалов и предложил поехать на ватагу.

— Юшки похлебать, да стерляжьей жарехи почавкать.

На крошечном собственном пароходике мы добрались до его промысла. Первым делом из садка вытащили огромнейшего икряного осетра, при нас же его взрезали, целую гору икры бросили на грохотку, протерли, и подали нам в медном луженом ведре, для закуски к водке, пока уху из стерлядей варили, да на угольях жареху стерляжью на вертелах, как шашлык из аршинных стерлядей, готовили.

Мочалов наложил нам по полной тарелке серой ароматной икры, подали подогретый калач и столовые ложки. Выпиваем. Икру я и Бурлак едим как кашу.

— И тогда также ложками хлебали?—спросил меня Бурлак, улыбаясь во всю губу.

— Только деревянными! — ответил я.

Пьем, чокаемся, а Мочалов, глядим, икры не ест, а ободрал воблу, предварительно помолотив ее о сапог, рвет пальцами и запихивает жирные волокна в рот.

— Что же ты икру?—спрашивает Бурлак.

— Обрыдла! Я только воблу... Гляди какая. Подледная!

— Так обрыдла? — говоришь.

Долго хохотали мы после.

А был случай, когда Бурлак до упаду хохотал. Этот случай был в Казани.

Казань Бурлаку свой город. Он уроженец Симбирска, был студентом Казанского университета, не кончил, поступил в пароходство, был капитаном парохода. «Бурлак» — отсюда его фамилия по сцене. Настоящая фамилия его Андреев. На Волге тогда капитанов Андреевых было три, и для отличия к фамилиям прибавляли название парохода. Были Андреев-Велизарий, Андреев-Ольга и Андреев-Бурлак. Потом он бросил капитанство и поступил на сцену.

Я знал капитана Андреева-Ольгу, здоровенного моряка с седыми баками. Его так и звали Ольга, и он 11 июля, на Ольгу, именины даже свои неуклонно и справлял.

10 мая труппа еще играла в Нижнем, а я с Андреевым-Бурлаком приехали в Казань устраивать уже снятый по телеграмме городской театр. Первый спектакль был 14 мая в день коронации Александра III.

Сидим мы вдвоем в номере и на целую неделю составляем афиши. Кроме нас играют в Казани еще две труппы, одна в Панаевском саду, а другая в Адмиралтейской слободке.

Составили афишу. На 14 мая «Горькая судьбина», дальше, «Светит, да не греет», а там «Кручина», «Иудушка», «Лес»...

— Ну, теперь едем к полицмейстеру. Николай Хрисанфович Мосолов, генерал, мой старый приятель. Едем!

— Едем.

А сам думаю: вдруг опять тот же полицмейстер, что меня завтраком угощал! И решил, что этого быть не может, так как полицмейстеры меняются часто. Под'езжаем

к полиции. Все знакомо, все прошлое мелькнуло ярко. Вот окно на крыше, под самой каланчей, из которого я удрал... Такая же фигура дремлющего пожарного у ворот. Все то же самое. Вошли через парадное крыльцо, а не через дежурку, как тогда. Доложили. Входим в кабинет. Знакомый медведь стоит с подносом, на котором лежат визитные карточки, и важная фигура в генеральском мундире приветливо спешит нам на встречу, протягивая обе руки Андрееву-Бурлаку. Обнялись. Расцеловались. Говорят на «ты». Ужас! Тот самый, который меня арестовал. Только уже не полковник, а генерал, поседевший и обрюзгший. Нас представили.

— Очень... Очень рад... Друзья моих друзей—мои друзья... Пойдемте закусить.

Я улыбнулся. Ну, думаю, друзья!

— Пока подпиши-ка афишу, Коля.

Сидим: Мосолов взял афишу и читает:

— 14-го «Горькая судьбина»... 14-го?! Это, Вася, неудобно, перемени, поставь что-нибудь другое... Ну, «Лес», что ли.

— Это почему?

— Да, знаешь, в день коронации и вдруг, горькая судьбина... Пусть она на второй, на третий день идет. Только не в первый.

— Ну, «Светит, да не греет», — с серьезным видом предлагает Бурлак — а губа смеется.

— Это хорошо. А там после, что хочешь, ставь.

Я переменил числа, и Мосолов подписал все афиши, а потом со стола взял пачку афиш, данных для подписи и показал афишу Панаевского театра, перечеркнутую красными чернилами.

— Каковы идиоты?!. Вдруг «Не в свои сани не садись»! Это в день коронации Александра III. Понимаешь, Александ-ра третьего!

— Почему же нельзя? Ведь «Не в свои сани...» такая уж скромная пьеса.

— А ты не догадался? Ведь Александр III коронуется... А разве его к царствованию готовили? Он занимает место умершего брата цесаревича Николая... Ну, понял?

— А ведь верно, что он не в свои сани садится.

Сделал Бурлак серьезную физиономию, а губа смеется...

— Ну вот видишь, ты не смекнул, а я додумался...

И в день коронации шло у нас «Светит, да не греет», а в Слободе «Ворона в павлиных перьях» и «Недоросль»...

Нарочно не придумаешь!

Мы прошли через две комнаты, где картины были завешены и мебель стояла в чехлах.

— По холостецкому закусим! Садитесь, господа.

В один миг были поставлены дня нас два прибора на накрытом для одного хозяина столе, появилась селедка, балык и зернистая икра в целом боченке. Налили по рюмке.

— Коля, ты ему стаканчик!.. Он рюмок не признает.

И Бурлак налил мне полный стаканчик, поданный для лафита. Мне захотелось поозорничать. Прошлый завтрак мелькнул передо мной до самых мелочей.

— Рюмками воробья причащать, — припомнил я сказанную в тот завтрак шутку.

— Иже вместий - вместит. Кушайте на здоровье... Еще холодненькой подадут.

— Это я в турецкую кампанию выучился. Спирт стаканами пили.

— Да, вы были на войне! В каких делах?

Я рассказал, Бурлак добавлял. Генерал с уважением посмотрел на георгиевскую ленточку в петлице, а меня так и подмывает поозорничать.

К соусу подали столовую ложку, ту самую, которую я тогда свернул.

— Кто это, генерал, вам так ложку изуродовал,—спросил я, и, не дождавшись ответа, раскрутил ее обратно.— Обомлел генерал.

— Второго вижу... Знаете, даже жаль, что вы ее раскрутили, я очень берегу эту память... Если бы вы знали...

— Так поправлю, — и я обратно скрутил ложку, как была.

Бурлак смеется.

— Он везде ложки крутит... Вот на пароходе тоже две скрутил...

— Н-да-с... Вы знаете историю этой ложки? Лет десять назад арестовали неизвестного агитатора с возмутительными прокламациями. Помнишь, это был 1874 год, когда они ходили народ бунтовать. Привели ко мне, вижу, птица крупная, призываю для допроса, а он шуточки, анекдотики, еще завтрака просит. Я его с собой за стол в кабинете усадил, да пригласил жандармского полковника. Так он всю водку и весь коньяк чайным стаканом вылакал. Я ему подливаю, думаю, проговорится. А он даже имени своего не назвал. Оказался медвежатником, должно быть, каналья, в Сибири медведей бить выучился, рассказывал обо всем, а потом спать попросился, да ночью и удрал. Разломал ручищами железную решетку в окне на чердаке, исковеркал всю и бежал. Вот это он ложку свернул... Таких мерзавцев я еще не видел. Пришлось бы мне отдуваться, да спасибо полковнику, дело затушил...

— Поймали его потом?—спрашиваю я.

— Как в воду канул. Потом, наверно, поймали... Наверное уж в Сибири, а то может быть и повесили. Опаснейший фрукт.

— А какой он на вид? Богатырь?—допытывался я.— А самому хотелось сказать, что решетки в окне были тонкие и подоконник гнилой.

— Какой богатырь. Так, обыкновенный человек... Ну, вроде вас... и рука такая же маленькая, как у вас...

Генерал пристально посмотрел на меня, как бы вспоминая.

Этим наш разговор и кончился. Я чувствовал, что старое забыто, и прощаясь, при выходе из кабинета, не мог не с'озорничать. Хлопая медведя по плечу, я все-таки сказал, как и тогда:

— Бедный Мишка, попал-таки в полицию!

Вернувшись в номер, я рассказал и прошлое и настоящее во всех подробностях Бурлаку, и он, валяясь по дивану, хохотал с полчаса и отпивался содовой.

Этой поездкой я закончил мою театральную карьеру, и сделался настоящим репортером.

1927 год. Картино.

СОДЕРЖАНИЕ



Цена 2 руб. 40 коп.

В переплете 2 р. 65 к.

С К Л А Д   И З Д А Н И Я

ТОРГОВЫЙ СЕКТОР

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА РСФСР

Москва, Центр. Богоявленский переулок, 4. Телеф. 2-65-31 и 5-50-80. Ленинград, Ленотгиз. Проспект 25-го Октября, 28. Телефон 5-34-18.